

КАЙСЫН КУЛИЕВ



ТАК РАСТЕТ И ДЕРЕВО

К. КУЛИЕВ

**ТАК
РАСТЕТ
И
ДЕРЕВО**





БИБЛИОТЕКА
«О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»

БАЙСЫН КУЛИЕВ

ТАК РАСТЕТ И ДЕРЕВО

Кулиев К.

K90 Так растет и дерево. М., «Современник», 1975.
463 с. 1 л. портр. (Библиотека «О времени и о себе»).

Национальный колорит в сочетании с глубоко философским осмыслением проблем времени и высокое художественное мастерство снискали заслуженную славу балкарскому поэту, лауреату Государственной премии РСФСР им. М. Горького Кайсыну Кулиеву.

В новой книге К. Кулиев выступает в несколько необычном для него жанре. «Так растет и дерево» — это не сборник стихов, а книга, подводящая итоги многолетним раздумьям поэта о законах творчества, о месте художника в обществе. К. Кулиева волнуют проблемы преемственности и развития художественных традиций. Читатель найдет в книге размышления о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Некрасове, Руставели, Горьком, Есенине, Тихонове, Бараташвили, Дудине, Чиковани, Кешокове, Кариме и других мастерах искусства прошлого и современности.

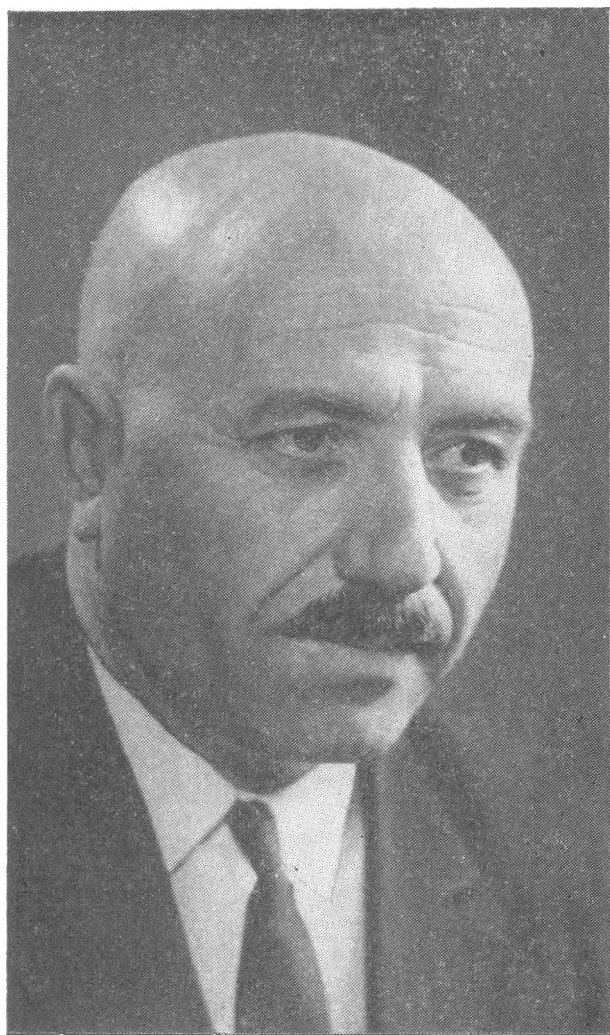
70202—091
К М106(03)—75 B3—35—13—74

8 PC

Новая книга известного советского поэта, лауреата государственных премий, Кайсына Кулиева «Так растет и дерево» — итог многолетних раздумий о законах творчества, о мастерстве и назначении поэта.

Традиции классиков — Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова, Горького и Есенина — осмыслены поэтом вдумчиво и интересно.

«Так растет и дерево» — книга о простоте и мудрости настоящей поэзии и о том, как незатейливо и емко ее истинное слово.



ОТ АВТОРА

Заметки, составившие эту книгу, писались в течение ряда лет. Автор, разумеется, далек от намерения выдавать себя за знатока литературы и непогрешимого судью, он сознает недостаточность собственных знаний. Ему, однако, показалось, что многолетняя работа в литературе дает право предложить читателям свои заметки о художественном творчестве. Дело в том, что преодолеть потребность высказать вслух свои мысли о нашем искусстве, какими бы скромными они, эти мысли, ни были, он не смог. Соблазн, как говорится, велик.

Название «Так растет и дерево» продиктовано убеждениями автора в том, что все подлинное в творчестве естественно, как дерево на склоне горы или камень у дороги. Мне чаще всего кажется, что поэзия создается простыми словами. Ее должны понимать все. В этом меня убеждают сама жизнь, мой скромный опыт и опыт больших поэтов. По мне — чем проще стих, тем он лучше. Так же просто растет и зеленеет дерево, идет дождь над полем и течет ручей. Неестественность и неточность так же плохи, как и многословие.

Поэты бывают разными, и каждый из них прав по-своему. И естественность у каждого своя. Она у Блока — одна, у Твардовского — другая. Любой из значительных художников, конечно, выражает свою эпоху, ее чаяния, стремления, радости и боль, свет и тень, противоречия и трагедию, но выражает все это своими способами и средствами. Этим каждый и интересен. Если нет индиви-

дуальных черт, значит, нет и художника. На Востоке говорят, что поэзия — золотая свирель в устах народа.

Поэзия рождена светом и добром. Она, наряду с музыкой, высшее явление культуры, опора и поддержка людей, которым не всегда живется легко и радостно. Поэзия дорога только тем, кто любит жизнь, кому на земле мило и близко все хорошее, живое, человеческое. Равнодушных она не интересует — тех, кому ни о чем не говорят созревание колоса и белизна облака, лицо матери и звезды над отчим домом, радость и страдания других. По моему мнению, поэзия живет и самым необходимым, как хлеб, и самым высоким, как звезды. Поэзия вместе с мальчиками должна бегать босой по лужам и думать вместе с мудрецами о сущности человеческой жизни и вселенной. Поэзия может быть и скорбной матерью, сидящей у изголовья сраженного сына, и девушкой, легкой походкой проходящей мимо наших окон майским утром. Она бывает цветением вишни и грозовой молнией, улыбкой ребенка и стоном побежденного полководца. Поэзия всюду — в облаках над Казбеком и в огороде моей матери, где желтел подсолнух и росла морковь. Она многолика, как мир, и прекрасна, как земля. Поэзия земли не умрет. Мы верим в это и в наш атомный век. С этой верой писал свою книгу и я.

Я занимался не кропотливым, спокойным и беспристрастным анализом произведений того или другого художника. Этого я не умею делать, ибо я — не ученый-литературовед. Я только старался выразить собственное восприятие искусства, передать свои ощущения, волнения и радость от встреч с поэзией. Тешу себя надеждой, что моя скромная работа может представлять определенный интерес для читателей. Поэзия как музыка, как живопись, как и все прекрасное, несет радость, помогает лучше понять мир. Знать и любить ее — счастье. Об этом я и попытался сказать. Хотя поэту лучше писать стихи, чем рассуждать о них, но иногда необходимо и поговорить о деле, которому посвятил жизнь. Не у меня одного такая потребность. С этими мыслями я склонялся над рукописью, которой посвятил много дней. И теперь говорю:

— Салам-алейкум, читатель, мир и счастье тебе, мой друг!

1

СВЕТ
ДОБРА

МАСШТАБОМ СТОЛЕТИЙ

Странное чувство охватывает, когда думаешь о столетней годовщине со дня рождения Ленина. Ведь люди привыкли с понятиями «сто лет», «столетие», «век» связывать представление о прошлом, нередко очень далеком, а Владимир Ильич всегда остается для нас живым, близким, сегодняшним человеком, и непривычно думать, что со дня его рождения минуло столетие.

Но тут же приходит и другая мысль. Ведь столетиями, веками мы, как масштабом, измеряем колоссальные отрезки времени, целые эпохи в жизни человечества; а величие дела Ленина и его личности таковы, что подобным масштабом их и надо измерять. Прошел век, пройдет еще много веков, а Ленин всегда будет жив и всегда будет близок людям как их современник.

Думаешь еще и о том, что близится последняя четверть XX века — века великого и сложного, полного драматических конфликтов и бессмертных побед человеческого разума, века вслыханных трагедий и захватывающих реальных надежд. Именно наше столетие с его грандиозностью могло породить гигантскую фигуру Ленина, вождя величайшей в истории революции, давшей человечеству надежду на лучшее будущее и волю к переделке настоящего. Как завершится наше столетие, какими будут последующие — все это неразрывно будет связано с именем и делом Ленина.

Поэзия со времен своего возникновения воспевала ге-

роев, борцов за правду и счастье людей. По преимуществу это был эпос: образы героев были грандиозны и относились ко всему человечеству в целом. Они, как правило, были чужды лиризму. Сегодня же все происходящее в мире относится к каждому человеку, непосредственно влияет на его судьбу, на строй его мыслей и души. Особенно остро чувствуют это поэты. В скольких проникновенных лирических произведениях создан образ Ленина — величайшего из героев! И свою скромную «Горскую поэму о Ленине», о которой я хочу рассказать, я считаю тоже во многом лирическим произведением, ибо я писал ее не только о Ленине, но и о своем народе, и о себе.

Когда я писал о Ленине, я старался идти от жизни, от реальности, и поэтому поэма моя не может в чем-то не перекликаться с другими произведениями на ленинскую тему, авторы которых стремились воссоздать черты реального облика Владимира Ильича. Естественно и другое: ни в самой поэме, ни в том, что я говорю сейчас, нет и не может быть сколь-нибудь полного, всестороннего охвата такой личности, как Ленин...

Рассказ о том, как возникла у меня мысль написать о Ленине, я начну издалека.

Мой отец — крестьянин из Чегемского ущелья Шува Кулиев — умер, когда мне было два года. Мать рассказывала, что перед смертью его больше всего мучил вопрос, что будет со мною. И сама она, оставшаяся вдовой на нашей скупой, каменистой земле, больше всего беспокоилась о том, как она сумеет вырастить нас, накормить, одеть, поставить на ноги. А ведь надо было еще нас учить. Сможет ли она, неграмотная горская крестьянка, сделать это?

Отец мой и его родичи были не только пахарями и пастухами, но и охотниками, замечательными стрелками. Не скажу, что они были самыми бедными в ауле: скота и хлеба у них было столько, чтобы жить без всякой нужды; но богатыми они никогда не были. И когда до наших ущелий дошла весть о том, что царь свергнут, что произошла революция, что вся земля отныне будет принадлежать тем, кто ее пашет, что скот и пастбища будут отданы крестьянам, они встретили эту весть как удар весеннего грома над высохшей землей. То, что они узнали, было ново, неслыханно, и о большем мечтать они не могли. Тогда-то впервые пришло в наш аул имя Ленина.

Впрочем, тут нужна небольшая поправка. В селении,

соседнем с нашим Верхним Чегемом, жил родственник моего отца, по имени Султан-Хамид. За несколько лет до революции он ушел в горы абреком, враждовал с горской аристократией, прятался.

Султан-Хамид стал одним из тех жителей Чегемских гор, до которых дошли идеи Ленина. Мой отец, как я уже говорил, не был революционером, но тем не менее и его увлекли эти идеи, понятные и близкие ему. Когда началась гражданская война — он пошел сражаться против денкинцев.

В 1919 году отец мой заболел тифом и умер. В аул пришли белоказаки. Они выгнали мою мать из дому, весь запас зерна высыпали лошадям, а некоторых мужчин аула избили до полусмерти шомполами. Моя мать, прижав меня к груди, долгие ночи в страхе просиживала у каменной сграды за аулом.

Все мое детство окрашено этими воспоминаниями.

Кончилась гражданская война, окончательно установилась в горах Советская власть, и в нашем ущелье впервые открылись школы. Моя старшая сестра пошла учиться. Постигнув школьную премудрость, она решила учить и меня азбуке. Мне было тогда шесть лет. Очень хорошо помню: в Чегеме был тогда снежный день, сестра пришла из школы, достала тетрадь, карандаш и сказала, что сейчас мы будем писать. С ее помощью я изображал на бумаге значки, из которых сложилось первое написанное моей рукой слово. Это было слово «Ленин». Откуда мне тогда было знать, какую роль имя и дело этого человека сыграет в судьбе моего народа и в моей собственной!

Позже, когда подрос, я понял, что этим именем была полна жизнь горцев. Ко мне пришли стихи моего любимого Кязима Мечиева о Ленине; этот замечательный и трагический поэт моего народа трудным, сложным, противоречивым путем шел к признанию революции, но его стихотворение о Ленине стало признанным достижением балкарской поэзии. Я прочел у него слова о том, что Ленин — это лучший человек мира. Я прочел и строчку, ставшую затем пословицей, утверждая, что к прошлому нет возврата, Кязим говорит: «На камень, который должен сорваться со скалы, не опирайся».

После смерти Владимира Ильича Саид Шахмурза — сейчас один из старейших поэтов Балкарии — написал стихи о нем. Это стихотворение стало одним из известней-

ших в Балкарии, — мы школьниками, помню, пели его. Там есть строчки, которые переводятся примерно так: «Красным знаменем лица людей озарив, открыв путь обездоленным и сиротам, ушел от нас сегодня Ленин».

Эти стихи относились и ко мне. Я ведь тоже был из числа сирот, о которых говорил Саид Шахмураза...

Мне пришлось испытать в жизни немало трудного и трагического. И все равно я считаю себя счастливым человеком. Всем, что я сумел сделать, написать, узнать, я обязан идеям Ленина, которые пришли к нам в горы с Советской властью.

Чем больше я узнавал о Ленине, тем больше поражал меня этот человек, создавший великую партию трудящихся, которая мудро и мужественно возглавила первую в истории человечества пролетарскую революцию и создала первое в мире государство рабочих и крестьян. Меня изумляли неслыханные масштабы личности Ленина-вождя, Ленина-мыслителя, Ленина-организатора и строителя. Это был человек, заключавший в себе целую эпоху, и какую! Я очень хорошо представлял себе, как трудно решиться писать о Ленине, какую огромную ответственность берет на себя человек, взявшийся за эту тему. Все же наступил момент, когда я понял, что не могу не написать о Ленине.

Произошло это в 1956 году. На фронте и когда я вернулся с войны, на мою долю выпали большие трудности — и в наиболее тяжкие моменты я вспоминал Ленина, обращаясь к его имени, к его мыслям, к его личности. И вот, когда мне предстояло через Москву ехать домой, в родные горы, я посетил квартиру Ленина в Кремле.

То, что я увидел, потрясло меня. Вождь революции, создатель Коммунистической партии и Советского государства, руководитель великой страны жил в трех небольших комнатках, обставленных самой скромной мебелью, спал на простой железной кровати, а в той же квартире, кроме Надежды Константиновны, жила еще и сестра Владимира Ильича со своим сыном!

Не меньшее впечатление произвел на меня ленинский кабинет в Совнаркоме. И вот что особенно меня тронуло. Я и раньше знал, что Владимир Ильич любил поэзию, в частности тех поэтов, которые особенно дороги мне, — например, Верхарна. Но как я был растроган, когда узнал, что в своем рабочем кабинете председатель Совнаркома

держал томик Тютчева! Ведь для меня имя Тютчева — святое имя. Он — из тех поэтов, к которым я с юности относился с обожанием, со стихами которых не расставался даже на фронте. Да, подумал я, не мог человек, подобный Ленину, не любить поэта, сказавшего: Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...

И тут же разглядел я книгу В. А. Жуковского. И снова подумал: как прекрасно, что глава правительства первого в мире пролетарского государства имел в рабочем кабинете книги тончайших лириков и при всей своей невероятной перегруженности, занятости, усталости находил несколько минут, чтобы раскрыть эти книги! О какой культуре, о каком высоком духе говорит все это!

Пленила меня еще одна деталь. В ленинской квартире я увидел шаль, которую подарила Владимиру Ильичу мать при их последнем свидании. Сын не расставался с материнским подарком. Это прекрасно; это многое говорит жителю гор, и мне в частности. В горах материнская шаль священна: когда кровники сходились в смертельном бою, стоило женщине бросить между ними шаль, как враги расходились друзьями. Ни один самый смелый и самый жестокий человек не смел переступить через материнскую шаль. Жалко, что этот святой закон не распространен во всем мире...

Вот о чем подумалось мне в ленинской квартире.

Я вышел оттуда очищенный, полный глубоко человеческих ощущений мыслей, веры. И тогда в моей душе зашевелилась, как что-то живое, тема моей горской поэмы... Первыми были, как можно догадаться, написаны не начальные ее главы, а — пятая, где речь идет о квартире Владимира Ильича:

Железная солдатская кровать.
Шаль на кровати. Ситцевые шторы.
А ум его миры умел объять
И должность высока была, как горы.

Я видел шали темную кайму —
В горах у нас такие носят шали,—
Мать подарила эту шаль ему
В час расставанья, в горький час печали.

В изгнание время медленно текло...
И от родных за тридесатой далью
Он, засыпая, чувствовал тепло
Родной души под материнской шалью.

И лучшая на целом свете мать
До сына снова не могла добраться,
И сыну больше не пришлось обнять
Родную мать и встречи с ней дожидаться...

Он жил, как все, кто, не жалея сил,
Хлеба растил, пускал чугун из домны,
Хотя всегда на целый мир светил
Своей душой, чьи помыслы огромны.

...Здесь, по Кремлю, подошвами стуча,
Он проходил походкою торопкой,
Надев пальто, у левого плеча
Защитанное аккуратной штопкой...

Я много думал о Ленине, старался понять его, как стараются понять горы и море, как стараются понять всякое великое явление на свете. Более всего потрясают меня необъятный размах его мысли, энергия и воля, прозорливость и неслыханный темперамент — все то, о чем точно и ярко сказал поэт:

Все стали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел...
...Он был — как выпад на рапире,
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И паяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути...

История России и русский народ создали эту небывалую личность как бы специально для выполнения великой миссии. Народ вложил в этого человека огромную часть себя, своей воли, мудрости и энергии. Такие люди являются редко — именно тогда, когда этого требует история; и целые века вкладывают в них свой опыт.

И в то же время в нем не было ничего от сверхчеловека: всякому школьнику в наше время известны его простота и скромность. И это поразительное сочетание я старался подчеркнуть в поэме:

Ни с чем нельзя сравнить его труды.
А сам он жил в квартире небогатой.
Ел хлеб, как все, — от белой лебеды
И отрубей сухой и горьковатый.

Да, правы были те художники и мыслители, которые утверждали, что все гениальное просто. Простота никогда не бывает и не может быть помехой глубине. На свете прекрасно только естественное.

Любой человек, знакомый с историей, представляет себе, как жили и как относились к своим персонам иные властители, для чего использовали свою власть. Мне хочется подчеркнуть одну очень простую истину: в каждой строчке Ленина, в каждом его деле, в поступке ясно видно, что лично для себя этот человек не искал ничего, не стремился ни к каким личным благам, ни к какому самоутверждению, ненавидел всяческое славословие, всяческое стремление возвеличить его. Ему органически чужда была поза. При жизни Ленина ни одна улица не была названа его именем; он никогда не позволил бы этого. Величайший вождь народных масс, который сочетал в себе мудрость философа, энергию и волю воина, который «управлял течением мыслей и только потому — страной», был настоящим русским интеллигентом, плотью от плоти народа, и жил он для него. Мне бесконечно близки простые и мудрые слова Александра Твардовского:

Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Что слава иных властителей перед этой — человеческой — славой! Что их убогие потуги перед бессмертием Ленина! Так думал я и так написал:

Цари и графы, ханы и князья,
Ценою человеческой печали,
Паркетами воцеленными скользья,
Вы только нищим золотом блистали.

Что вам народ, его печаль и труд.
Плоды и хлеб, добытые рабами!
Репейник и крапива прорастут
Над вашими забытыми гробами!..

Читая Ленина, его философские работы, его доклады, речи, выступления, я не нашел ни одного места, где бы он говорил, что народу легко жить, легко добывать свой хлеб, легко бороться и добиться свободы в большом или в малом. Он, как никто, знал, насколько противоречива и сложна жизнь, насколько порою трагична борьба. При всей своей устремленности вперед, при всей стремительности он был суровым реалистом, не терпевшим ни лжи, ни фаль-

ли. Выступая перед массами, он никогда не рисовал розовых картин, всегда правдиво говорил о трудностях, какими бы они ни были. Он знал, что самая горькая правда выше и полезнее самой сладкой лжи. Именно поэтому удалось ему создать мудрую партию пролетариата, сплотить массы вокруг нее, завоевать не только любовь и уважение народа, но и внушить ему веру в осуществимость идеалов коммунизма — самых высоких идеалов, за которые когда-либо боролось человечество.

Правдивость, точность, бесстрашие перед лицом истины — резко выраженные черты Ленина. Это необходимо знать художнику, берущемуся за воплощение его образа. И не только в ленинской теме. Правдивость и точность необходимы художнику так же, как необходимы вода и солнечные лучи брошенному в землю зерну.

Я глубоко уважаю тех писателей, которым удалось достойно воплотить в своих произведениях ленинский образ. Таких произведений немало, и на первом месте среди них для меня всегда стоял знаменитый очерк Максима Горького, очерк, в котором создан живой, выпуклый и впечатляющий образ великого вождя, простого, скромного и бесконечно обаятельного человека. Но тут же мне хотелось бы сказать, что некоторые литераторы брались и, к сожалению, сейчас нередко берутся писать о Ленине, недостаточно осознавая трудность задачи и свою моральную ответственность, — а может быть, даже и не имея на это права, ибо отсутствие дарования есть отсутствие права писать. Я считаю непозволительным и безнравственным прикрывать бездарность и беспомощность столь высокой темой. Я считаю безнравственными всяческие ухищрения и украшения, всякую игру в слова, когда речь идет о Ленине, с его простотой и естественностью. Какая совесть требуется здесь от автора!

Я отношусь к своей поэме как к весьма скромной вещи. Я не могу судить о ней, не могу сказать, удачна она или нет. Знаю только, что я не мог ее не написать и что она очень проста. Это не потому, что я не мог как-нибудь «закрутить» ее: ни тема моя, ни я в этом не нуждались. Я просто пытался сказать о том, как связана с Лениным судьба моего народа и моя собственная судьба, старался говорить тем языком, теми словами и образами, которые считал наиболее подходящими. Я не стремился создать эпическую вещь, а вел лирический разговор о Ленине, о

времени; только через себя, через судьбу моего народа я мог что-то выразить, что-то сказать новое о Ленине. Я писал о Ленине языком моей земли, где так естественны и камень у дороги, и чинара на склоне горы. А кроме прочего, я привык к естественности моей матери, крестьянки. Когда я писал «Горскую поэму», она еще была жива. Я читал ей строфы поэмы; мне не только важно было, чтобы она поняла мои слова, как все другие люди, — мне было бы очень неловко перед ней, если бы я допустил какую-либо «красивость». И работая над своими вещами, я часто вижу лицо, глаза, руки, скупые движения и походку моей матери. Это спасает меня от многих соблазнов.

Сейчас я, возможно, написал бы о Ленине иначе, ибо стал более зрелым и опытным человеком — само время углубляет наши знания и взгляды. Но десять с лишним лет назад мне необходимо было написать именно такую вещь, как «Горская поэма о Ленине».

Все лучшее на свете для меня
В поэзии души — открытом храме —
Всей теплотой сердечного огня
Я сравниваю с гордыми горами.

Что слишком часто я пишу о них,
Меня мой критик судит однобоко.
Товарищ Ленин, думаю, мой стих
Не заслужил подобного упрека...

Пусть упрекают. За перо берусь —
Толпятся горы у стихотворенья.
Мне вот сейчас, пожалуй, лишь Эльбрус
Один бы пригодился для сравненья!

Всегда видна с заоблачных вершин,
Как сердце друга, дальняя равнина.
А всё, что Ленин на земле свершил,
Для всех веков великая вершина.

О мой Эльбрус! Ты и высок и бел.
Таких вершин в Европе не отыщешь.
Но Ленин выше в развороте дел,
И мысль его снегов Эльбруса чище.

За мир познания я в него влюблен.
Его идеи ревностный служитель.
А он был прост, сердечен и умен.
Внимателен и мягок, как учитель.

Он был в дерзанье революций смел,
Народы за собою поднимая.

И он умом мира объять умел
И был задумчив, как поэт, мечтая.

Он больше всех для радости людской
На свете сделал и оставил свету —
И в горести и в радости простой
Зовёт вперед. Иной дороги нету!

Как вешним травам на лугах расти,
Шуметь деревьям, зелению блистая,—
Так ленинскому знамени цвести
Над всей землею, гибели не зная!

1969

ДВА ГОЛОСА

1

Человек впервые сказал:

— Мне хорошо!

Это было истоком и началом всех песен о радости, о благе жить. Человек в свой счастливый час смотрел на синеву неба и слушал шум реки. Зеленела трава. Сияли звезды. Так родилась поэзия веры в жизнь.

Человек впервые сказал:

— Мне больно!

Это было истоком и началом всех песен горя.

Человек смотрел на тучи над своим жилищем. Трава не зеленела. Звезды не сияли. Так родилась трагическая поэзия.

А потому поэзия — порождение искренности, без которой работа поэта мертва. Драгоценная вещь искренность. Открытость человеческого сердца прекрасна. Как голос сердца и совести, поэзия всегда откровенна. Иной она не может быть. Если же порой называют поэзией то, что ею не является, то в этом нет ее вины.

Теплый ветер ранней весны незаметно прилетает на поля и огороды. Он несет им цветение. Он полон жизни. Он летит над морем и кажется мне синим. Пролетает над снежными вершинами и кажется мне белым. Он пробирается через зеленую кипаровую рощу и кажется зеленым. Он похож на поэзию. Они оба служат жизни. Не увяданию, а цветению. Когда искусство говорит об увядании, оно это делает не потому, что это ему нравится, нет. Оно вынужде-

но это делать именно потому, что верно жизни. Летит весенний теплый ветер над улочкой селения или над ширью городской площади. Он касается баптика на косичке маленькой школьницы и потной рубахи крестьянина на виноградушке. Теплый дождь приходит на поля и огороды, как добрая весть. Его язык хорошо понимают пахари и садоводы. Как горы посылают на равнины свои реки, так приходит к людям и поэзия. Она посланница жизни.

На свете есть два ветра. Ветер с Белой горы — радость, ветер с Черной горы — горе. Живут на свете два ветра, сменяя и ненавидя друг друга. Из дома, куда ворвался один из них, исчезает другой. Они в постоянной схватке. В поэзии мы слышим голоса обоих. Кто-то из мыслителей сказал, что все лучшие создания человечества дышат печалью. Возможно, он и прав. Но все же в лучших созданиях мировых художников немало и света. Творчество не может обойтись без радости, как и сама жизнь. В мире нет людей, которые бы никогда не знали радости. К ней стремится человек всегда. Так же ждет дерево весны, зелени, тепла. Радость всегда остается высшим благом для всех живущих. Но пока существует Черный ветер — посланец горя, — жизнь не избавится от печали. Кроме войн и других бедствий, на свете есть болезни, старость и смерть. От них-то — ну, хотя бы от старости и смерти — никто человека не избавит, не спасет. В силу этого, видимо, в поэзии люди всегда будут слышать два основных голоса — голос радости и голос горя, как голос жизни и голос смерти. Но жизнь непобедима и не имеет конца. Для человека нет большего блага, чем жить. Поэзия служит жизни, благоговая ее.

Ныне каждый школьник знает, в какое время жил Пушкин, как был затравлен и убит тридцати семи лет от роду. Все же в его поэзии много света. Почему это так? Да потому, думается мне, что одной из главных целей искусства является радость, стремление к ней, борьба за нее. Пушкин умел шагать легкой походкой поэта. Фантастическую силу и легкость давало ему, главным образом, несокрушимое жизнелюбие, великий оптимизм. Недаром Александр Блок сказал: «Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая...»

Пушкинская вера в жизнь была порождена верой в будущее своего народа, в его могучие творческие силы,

в мощь России, что вышла с победой из войны с крупнейшим завоевателем — Наполеоном, в суровой борьбе отстояла себя. Он был великим поэтом великого народа. В этом, мне кажется, главный секрет того, что создания Пушкина дышат не только печалью. Он знал, что николаи и бенкендорфы пройдут, как проходит мрачный сон, приснившийся перед весенним рассветом, а разум, воля, энергия, благородство и мужество русского народа, его гений и порыв к свободе — останутся. Народный поэт жил мыслями и чувствами народа, был проникнут его мудростью и верой не в пример императору Николаю и шефу жандармов Бенкендорфу. Это привело к гибели Пушкина — национального гения России, ставшего гордостью и совестью русского народа.

Не юный лицеист, не начинающий поэт, беспечный, не думающий о действительности, а зрелый мастер, уже познавший вкус хлеба изгнания, написал знаменитую «Вакхическую песню» — гимн радости и мудрости жизни. Поэт верил, что за тучами всегда есть солнце, знал непобедимость разума и светлых начал жизни и пел им гимн. Он знал, что в свой час солнце выходит из тумана — и уже согреты поле, дорога, дворы, играющие дети, колосья, камни и деревья. Он понимал, что дорогая его сердцу свобода бессмертна, как земля, как сама жизнь. Вот почему он, обращая строки своего гимна к будущему, восклицал:

Подыдем стаканы, содвинем их разом!
 Да здравствуют Музы, да здравствует разум!
 Ты, солнце святое, гори!
 Как эта лампада бледнеет
 Пред ясным восходом зари,
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет
 Пред солнцем бессмертным ума.
 Да здравствуют Музы, да здравствует разум!

Это один из самых прекрасных гимнов в мире, спетых Радости, Разуму, Свету. Это — мощная песнь в честь и во славу жизни.

Художник не должен позволять победить себя горю, как бы трудно ему ни приходилось. Образцом для нас и в этом остается Пушкин. Хлебоборобы и настухи тоже живут, сохраняя свою испытанную терпеливость, свою веру в смысл труда, в смысл жизни. Девизом могучего Бетховена было: «Через горе — к радости!», — а Гете призывал: «Через могилы — вперед».

Пройдя через войну, через ее горе и разрушения, через все другие испытания, я понял, как прекрасна и незаменима человеческая стойкость. Не зря так ценили ее жители гор, жизнь которых была трудна и постоянно требовала твердости и мужества. Мои земляки — чегемские крестьяне, — помню, говорили: «Как бы ни были злы волки, не они нас, а мы их одолеем». Я противник всего слащавого в поэзии, не терплю лакировки, но также ненавижу слово, которое пытается отрицать смысл жизни и отнимать у человека надежду, заставляет опускать руки. Как только художник перестает верить в жизнь, в ее смысл, он творчески умирает, так как уже не слышит биение тех подземных ключей, которые питают его поэзию, не видит зелени деревьев и травы; ему ни о чем уже не говорят созревание колоса и сияние звезд над его домом, он не слышит звона наковальни и шума мельничных жерновов, смеха детей и плача матери, у которой умер ребенок. Писать тогда ему не о чем, да и нет смысла писать.

Мыслитель, сказавший, что все лучшие создания человечества дышат печалью, наверное, имел право сказать так. Но даже те немногие примеры, которые я привел здесь, доказывают ограниченность этого суждения. Никто не вправе лишить художника возможности говорить о радости, равно как и о боли. Я знаю, что в творениях того же Пушкина достаточно грусти, боли и горечи, много трагического. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

Знаю, Пушкин не раз горько жаловался на жизнь. Но ничто не могло его разуверить в том, что жизнь — лучший дар и благо для человека, что есть солнце над землей и разум на свете.

Пушкин воспел человеческую радость во многих, очень многих строках. «Печаль моя светла...» Это было сказано в мировой поэзии впервые. Мне помнятся кажущиеся безысходными строки: «И всюду страсти роковые и от судеб защиты нет». Но у него же есть и эти вот, пронизанные светом раннего утра строки: «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой».

А как много света, чистоты и доброты в стихах, обращенных к Мери. Перечитывая их, не только удивляешься легкости, поэтичности, художественной прелести, но и сам

становишься счастливым, равным Пушкину, ньющему за Мери.

Повторять их, эти строки, — наслаждение:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери,
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери.
Ни ненастных дней
Пусть не ведает Мери.

Такие добрые песни могут рождаться только в очень светлом сердце. Вспомним еще и такие строки лучшего поэта России:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем..
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То радостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как, дай вам бог, любимой быть другим.

Кажется, что эти стихи выводила рука доброго бога — так они прекрасны, так много в них благородства. Кажется, что они созданы в лучший и счастливейший час мира.

Один из центральных мотивов поэзии Пушкина — желание добра людям, другу, товарищу, любимой женщине и просто труженику. И эта душевная полнота была связана с верой поэта в жизнь, в творческие силы людей, родного народа и человечества. Только так. Я уверен в этом. Человек, потерявший надежду и любовь к земле, если даже он и родился гением, не мог бы написать стихи такой чистоты:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего
 Ничто не мучит, не тревожит,
 И сердце вновь горит и любит от того,
 Что не любить оно не может.

Лишь сердце, которое не может не любить и которое остается плененным земной красотой, способно на песни, нужные людям, как хлеб и жилье. И в этом смысле уроки Пушкина непреходящи. Свою непобедимую веру в жизнь и будущее он выразил к концу жизни с великим достоинством:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал.

Тут Пушкин четко определил и свои заслуги перед Родиной и ее культурой, и то главное, что несет в себе большая поэзия. Здесь четко выражена позиция истинного художника. Эти великие стихи были одновременно эпитафией самому Пушкину и завещанием всем грядущим поэтам.

3

Ни одного значительного явления искусства, не порожденного самой жизнью, не обусловленного историей, конечно, не бывает.

Мрачная тень ложится порой на душу от поэзии Эмиля Верхарна. Когда читаешь его, иногда становится страшно, кажется, что рушатся стены твоего дома. Но и его творчество, разумеется, порождено действительностью, временем, когда распаталась относительная стабильность жизни и над землей встали тени будущих невиданных войн и разрушений.

О, час, которому и слушать и внимать
 Крушение мощных царств, когда стальная рать
 Деяний вековых ложится горьким прахом!
 О толпы, яростью взметенные и страхом!
 Железо лязгает, и золото звенит,
 Удары молота о мрамор стен и плит,
 Фронтоны гордые, что славою новиты,
 На землю рушатся, и головы отбиты
 У статуй, и в домах ломают сундуки,
 Насилуют и жгут, и сжаты кулаки,
 И зубы стиснуты, рыданья, вопли, стоны,
 И груды мертвых тел — здесь девушки и жены.
 В зрачках — отчаянье, в зубах — волос клочки

Из бороды, плеча мохнатого, руки...
И пламя надо всем, играющее яро
И вскинутое ввысь безумием пожара!

Мощное творчество Верхарна, при всем его трагизме, является поэзией жизни, а не смерти. Поэзия всегда окраплена живой водой, она — вечнозеленое дерево, дающее детям тень и приют птицам. Поэтами жизни становятся не сладкопевцы, а те, кто до конца верен правде. Песня мощного, сурового Верхарна порой становится тихой и задумчивой: ведь художник в обычной своей жизни не остается постоянно в одном настроении:

Я на тебя смотрю, но взгляд
Ты от меня отводишь,
Чтоб целиком я мог отдаться власти слов,
Вот этих добрых и простых стихов.

Или:

О, как глаза твои нежны и как блестящи,
Когда рассвета луч, неверный и скользкий,
Дробится в голубых прудах!
Я слышу шелест крыл, я слушаю родник.

Эти стихи тоже написал Эмиль Верхарн. Как много в них нежности и любви к жизни и миру — к женщине, рассвету, роднику. Грозные его стихи о разрушениях и гибели тоже продиктованы любовью к жизни, болью за людей, причастностью к их горю и страданиям. Большая боль рождается во имя большой радости. Только в душе равнодушного не родится ничего. Он похож на сухую смоковницу.

А каким трагизмом пронизана поэзия Александра Блока, автора «Страшного мира», «Возмездия», «Ямбов». Но мы также знаем, что его творчество освещено еще и светом надежды. Боль и надежда диктовали ему одинаково прекрасные произведения. Он сказал:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь — мир прекрасен.

Это одно из лучших подтверждений правильности той мысли, что конечной целью искусства является радость, что все крупные художники, даже самые трагические, стремились не к отрицанию жизни, а к ее утверждению. То же было и у Блока — одного из самых трагических поэтов века. Вот стихотворение 1914 года, которое так часто цитируют:

О, я хочу безумно жить:
 Все сущее — увековечить,
 Безличное — косчеловечить,
 Несбывшееся — воплотить!

Пусть душист жизни сон тяжелый,
 Пусть задыхаюсь в этом сне. —
 Быть может, юноша веселый
 В Грядущем скажет обо мне:

— Простим угрюмство — разве это
 Сокрытый двигатель его?
 Он весь — дитя добра и света,
 Он весь — свободы торжество!

Поэт, хорошо знавший, что значат боль и страдание, хочет, чтобы в будущем отметили не угрюмство, к которому он был причастен поневоле, а сказали, что он любил свет и добро, был рожден для них. Мне кажется, что почти каждый большой художник носил в душе свет, который был так дорог Блоку. Каждый ли крупный поэт сумел преодолеть душевный мрак — это другой вопрос. А приведенные стихи Блока кажутся мне уникальными в мировой поэзии — так поразительно выражена в них тоска поэта по радости, по свету и добру. Стихотворение это одинаково удивляет художественным совершенством, откровенностью, предельной искренностью и ясностью. Среди шедевров Александра Блока есть одно стихотворение, в котором так сильно ощущается рассвет, пробирающийся, словно фазан с розовой шеей, среди стволов сосен севера. Я говорю о «Сольвейг». Это мне кажется самым светлым и самым счастливым стихотворением поэта.

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
 Улыбнулась пришедшей весне!

Жил я в бедной и темной избушке моей
 Много дней, меж камней, без огней.

Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул —
 Я топор широко размахнул!

Я смеюсь и крушу вековую сосну,
 Я встречаю невесту-весну!

Пусть над новой избой
 Будет свод голубой —

Полно соснам скрывать синеву!
 Это небо — твое!

Это небо — мое!
Пусть недаром я гордым сиыву!

Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,

Надо мной распростершей красу.
Ты пришла и светло,

Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!..

Поэт, написавший такие стихи, не мог не любить земную радость, не стремиться к ней, не благословлять и не желать ее для себя и для других. И Сергей Есенин, невыразимо прекрасный лирик, несмотря на все трагические коллизии его жизни и поэзии, тоже был «дитя добра и света». Все лучшие лирики мира несомненно были преданы жизни, людям, природе, всему доброму.

4

Федерико Гарсиа Лорка брат Есенину. Не похож на него по стилю, по приемам, но брат. Основной тон его поэзии — трагический. Но как горят в ней звезды, как цветут деревья, как шуршат колосья, как светит луна, сверкает вода, падает на апельсиновые рощи свет раннего солнца! Как он остро чувствует боль женщины и печаль срубленного дерева, смех ребенка и наступление сумерек! В трагическом творчестве Лорки все равно конечная победа остается за светом, а не за мраком, хотя их борьба жестока, требует жертв, рождает боль и горечь. Поэзия Лорки полна невыразимой нежности к земле и людям. Он тоже был «дитя добра и света». Потому и расстреляли его фашисты перед рассветом у дороги, ведущей в его родную Гранаду. Палачи, казнившие поэтов, становятся прахом, а песни убиенных певцов остаются с людьми и служат им.

Одну из своих книг я назвал «Раненый камень». Горевать — вовсе не значит потерять стойкость. И потому я утверждаю, что нет на свете ничего лучше, чем радость. Она не может погибнуть. Искусство создается для людей, а человек хочет счастья так же, как птица — летать.

Может быть, когда-то в мире было полное спокойствие и барды слагали только радостные гимны? Нет. Вспомним опять Александра Блока: «И вечный бой! Покой нам толь-

ко снится...» К этому мне хочется добавить: и в вечном бою земля и люди на ней никогда не оставались без радости. Крестьяне, если даже днем сражались, ночью пахали свое поле, матери кормили детей грудью, и никогда не умирали колыбельные песни. Люди среди всех бедствий выжимали радость из скал, высекали из камня. И она была дорога, как дерево, которое уцелело в небывалую бурю и снова зазеленело, приютило птиц и опять бросает в зной тень на дорогу.

«Настоящее слово стоит скакуна», — говорили наши крестьяне. Слово — одно из чудес света. Я причисляю себя к тем, кто с горячим уважением относится к слову. Оно — моя работа, моя жизнь, моя судьба. Мне дороги слово радости и слово боли. Но я отвергаю слово, призывающее человека отказаться от труда, от созидания, от жизни, отвергаю слово, пугающее человека. Такое слово античеловечно. Живущий должен опираться на слово, как раненый на дерево.

Слово должно быть опорой и утешением человека, светом его души. Должно не отнимать, а даровать надежду, должно стать поддержкой, быть необходимым, как плуг для хлебороба. Такой является народная поэзия всюду — на всех языках.

Поэзия прекрасна и вечна, как колосья и звезды. Она создается для жизни и служит людям.

Человек говорит:

— Мне хорошо!

Поэзия отвечает:

— Я с тобой!

Человек стонет:

— Мне больно!

Поэзия отзывается:

— Я с тобой!

КНИГА

Ни дед мой, ни отец никогда не держали в руках книги. Они хорошо умели пахать клочок своей земли, пасти скот, охотиться на туров в горах, очень любили оружие, были меткими стрелками. А что касается книги... Не их вина, что они не знали грамоты и книги для них просто не существовало. Такой была жизнь горцев. Им было не до книг. Тогда грамотный человек в нашем народе был явлением редким. Не знаю, как бы мой отец отнесся к своему сноvidению, если бы ему, еще живому, приснилось, что сын вырос, стал грамотным человеком, занимается литературой и живет в городе. Но мой отец умер уверенный, что я проживу в Чегеме горцем, как и он. Я с малых лет и пачал учиться крестьянскому делу — пас овец, косил сено, погонял волов, ездил на ослике по дрова, выводил коня из конюшни, седлал и садился без помощи старших. Меня готовили к тому, чем до конца жизни должен заниматься в горах крестьянин. Книг тогда я даже не видел и не думал о них. Откуда мне, мальчику, было знать о том, что придет время и все будет не так, как думали мои родители, что вся моя жизнь окажется связанной с книгой!

Но однажды солнечным днем к нам пришел родственник моей матери. Его звали Баттал. Он был коммунистом и занимал какую-то должность в ауле. Родич сказал моей маме, что Советская власть открывает в нашем селении школу, где будут учиться дети, и он сегодня же поведет меня туда. У нас до этого никогда не было школы, и мать не

знала к добру это или нет. Она не соглашалась. Баттал уговаривал ее долго, объяснял, что это воля новой власти, которая, горячо желая добра и блага освобожденному ею от угнетения народу, открыла школу, мол, пришло такое время, когда детям необходимо учиться, иначе будет плохо, а учеба принесет ее сыну счастье. После долгих колебаний мать согласилась. Я же просто не знал, что все это вообще значит. Единственное, что мне было известно — нужно слушаться старших. Этому учили меня дома постоянно — нужно слушаться старших. И я покорно пошел с Батталом.

На склонах желтели чинары и орехи. Был ясный теплый день. Оказалось, что школой называли небольшой домик возле аулсовета, крытый красной черепицей. Я не раз проходил мимо него. Мы зашли в этот дом. По одну сторону за длинным столом сидит группа мальчиков, а по другую — молодой мужчина. Он усадил меня на скамейку с ребятами, спросил мое имя и фамилию. Он что-то говорил, но я его не слушал и не понимал, зачем меня привели сюда. Баттал ушел. Мне хотелось выбежать на улицу, играть там или же сесть на ослика и поехать в лес по дрова с ребятами.

Самым маленьким среди учеников оказался я. Были парни, которые казались мне совсем взрослыми. Школа в ауле, как я говорил, открылась впервые, и был создан пока единственный класс — первый. Грамотных-то детей не было. Поэтому первоклассниками стали мальчики разных возрастов. В тот день, о котором идет речь, старшие стали шалить и драться. Утихомирить их учителю было трудно. Они меня не трогали, но невольно задевали. Должно быть, они сделали мне больно, я заплакал. Учитель перегнулся через длинный, узкий стол, поднял меня со скамейки и пересадил к себе. Потом ему все же удалось заставить замолчать непослушных.

Когда стало относительно тихо, учитель положил на стол передо мной что-то желтое. Я решил, что это коробка с конфетами.

— Ну, открой, открой! — сказал учитель. Я молчал. Кроме робости, правда, еще был у меня свой план.

— Я отнесу это маме, — пролепетал я с трудом.

— Ну, конечно. Только сначала открой. Не бойся!

Мне не хотелось открывать коробки — боялся, что ребята увидят конфеты и отнимут их у меня.

— Какой же ты нерешительный парень! — мягко упрекнул меня учитель и сам открыл желтую «коробку». О, как я был удивлен и разочарован — там не оказалось конфет! Зато в желтой «коробке» я увидел то, чего не видел никогда — странные знаки и изображения коров, лошадей, осликов, домиков — точно таких, какие я видел каждый день. Я стал рассматривать, подумал: «Как же попали сюда наши коровы и ослики?»

— Это наша корова Аккаш! — обрадовался я. — Ее моя мама доит каждое утро, каждый вечер. Как она попала в эту коробку?

— А вот так и попала. Хорошие дяди хотели обрадовать тебя. Это раз. Второе — перед тобой лежит вовсе не коробка, как ты говоришь, а книга. Понял? Кни-га! — медленно, по слогам произнес учитель.

Я, конечно, ничего не понял. Молчал.

— По ней, — продолжал учитель, — ты будешь учить буквы, научишься читать и писать. Знаешь, как это хорошо! Потом у тебя самого будет много книг, которые так же интересны, как наши сказки, а может быть, еще интереснее! Ты сказки знаешь? Мама рассказывает их тебе?

— Знаю. И мама рассказывает, и старик Адемей, и мальчики, и я тоже.

— Ну, расскажи какую-нибудь. Только самую короткую.

Я рассказал сказочку о медведе, волке и лисе, которые жили в одной пещере, о том, как лиса хотела перехитрить всех, но сама попала в беду.

— Молодец, Кайсынчик! Ты действительно знаешь сказки, — похвалил учитель, ласково погладив меня по голове.

Когда он сказал мне «это книга», я действительно не понял его. Ни у нас дома, ни у соседей не было никаких книг, и я их не видел никогда. Мне, правда, приходилось слышать слово «китаб» (книга). Но я никак не представлял себе, что это может быть. Мулла обычно, как говорили взрослые, по китабу узнавал какие-то тайны, предсказывал судьбу. Это называлось «Китаб ачхап», что буквально значит — открывать или раскрывать книгу. Так говорили чегемские крестьяне. Именно в этой связи я и слышал слово «китаб». И вот это нечто таинственное, до тех пор не виданное и непонятное, теперь лежало передо мной.

Я даже не ведал, что оно не имеет отношения к Китабу, по которому гадал мулла.

Это была моя первая книга, мой первый букварь. О, какая это была великая книга, книга книг для меня! По ней я постиг грамоту — чудо из чудес на свете, научился читать и писать. Сейчас я, прикрыв глаза, вспоминая тот солнечный сентябрьский день в горах, когда летела белая паутина, которую балкарцы называют слюнями оленя, вижу маленького Кайсына с обритой головой, в залатанном мамой беспыльке серого цвета, не понимавшего, какую радость принесет ему его первая книга, которая казалась ему коробкой с конфетами.

Я сижу в своей рабочей комнате, где сотни мудрых и великих книг, открывших мне необъятный мир человеческой мысли, ума, фантазии, таланта — весь трепет человеческого сердца. Я счастлив этим. Как прав был учитель Мисост, сорок восемь лет назад сказавший мне, что у меня будет много книг. Я, сын чегемского крестьянина, ни разу не державшего в руках книги, хорошо знаю, что значит она, ставшая для человека одним из самых удивительных его открытий.

Путь к такой радости открыл мне букварь, полученный мною из рук скромного сельского учителя в тот день, когда в Чегемском ущелье желтели деревья, а в воздухе носились белые олени слюни. Милый и добрый, скромный и умный учитель Мисост! Ты и тогда знал, что книги принесут мне радость и счастье. Тебя уже давно нет, но я помню тебя и благодарю! Как терпеливо, на совесть делал ты свое дело! Я обязан тебе очень многим. Пусть земля, в которой ты лежишь, будет тебе пухом. На твоём примере я каждый раз убеждаюсь, что добрые дела никогда не пропадают. Твои слова, учитель, запали в наши души, как семена в землю, и дали свои всходы.

Если бы даже я не знал и не читал никаких других книг, кроме «Дон-Кихота», «Евгения Онегина», «Мертвых душ», «Героя нашего времени», «Хаджи-Мурата», а еще Чехова, и тогда считал бы большим, ничем не заменимым счастьем для себя то, что я узнал грамоту. А ведь сегодня я знаком с мировой поэзией от Гомера до Лорки, от Саади до Есенина! В ней же вся совесть человечества, все самое сокровенное и трепетное, что имеет жизнь.

Книга вместила весь мир со всей его бессмертной красотой и бедами, всю радость и все страдания людей. В ней навсегда закреплены мудрость и мужество человека, его подвиги и открытия. Книга на своем долгом пути побеждала все темные силы, неся знания и свет. Ее сжигали на кострах те, кто ненавидел разум и свет человеческой души, — инквизиторы и гитлеровцы. Но она продолжала жить, не умирая, подобно огню и хлебу, совести и таланту. Безумцы в борьбе с книгой никогда не могли достичь цели и никогда не смогут — она непобедима и бессмертна, как жизнь.

1970

2

СВЕТ
БРАТСТВА

СВЕТ БРАТСТВА

Когда мы говорим о русском народе — «старший брат», это говорится не ради красного словца. Эти точные слова полны для нас, горцев Кавказа, глубочайшего смысла, в них содержится ничем не заменимая высокая суть чувства братства народов нашей великой родины, которая одала каждого из нас своей материнской любовью и окружила всех нас материнской заботой. Под сенью этой любви и заботы живем и делаем свое дело все мы. На каком бы языке ни говорили наши матери, все равно у нас одни заботы, одни цели и стремления, ибо мы — советские люди, которых Октябрь, Ленин, Советская власть, партия сделали братьями, единой семьей. Это одно из самых прекрасных явлений в нашей жизни, в нашей судьбе, в этом наша сила, моцъ, песокрушимость и счастье. Это я особенно хорошо понимаю и остро ощущаю, как сын немногочисленного горского народа. Без помощи и поддержки моего старшего брата меня не будет, меня сокрушат, раздавят и уничтожат мои враги. Русский народ — один из величайших народов мира — для нас, горцев Кавказа, как и для всех народов страны, зажег тот негасимый Прометеев огонь, который навсегда согрел нас и озарил нашу жизнь. Мы приобщились к русской культуре — одному из самых удивительных духовных достижений человечества, а через нее мы узнали и мировую культуру. Без этого блага братства и взаимного духовного обогащения мы бы по-прежнему блуждали во мраке.

Какую б славу без него стяжал
Я на забитом одноухом муле?
В какой обиде дедовский кинжал
Старинной местью обогрил в ауле?

Так я и жил бы, тяжесть скал кляня,
И тлел душой, как уголь у жаровен,
И Лермонтов не встретил бы меня,
И для меня б не ликовал Бетховен...

Мы навеки связали свою судьбу с судьбой русского народа. Мы делили с ним горький хлеб дней испытаний и радость праздников, мы опирались и опираемся на крепкое и надежное плечо старшего брата и знаем, что он не даст нас в обиду. У нас взаимное уважение и взаимная любовь, как у истинных братьев. У нас общий хлеб и общая судьба. Если мы достигли многого в росте своей эконимки и национальной культуры, то этим мы обязаны повседневной помощи могучего русского народа, силы которого неисчерпаемы. Неблагодарность за добро — удел несчастных людей. А мы, советские горцы, помним все сделанное для нас Россией, навсегда благодарны ей и считаем себя счастливыми людьми. Мы благодарны России за бессмертное слово Пушкина и за удивившие мир мудрость и художественную мощь Льва Толстого, за прекрасное искусство Чайковского и великую мысль Ленина, которые стали и нашим национальным достоянием и нашим неоценимым сокровищем, нашей духовной мощью.

Большим благом стали для нас школы, которые в первые же годы Советской власти открылись в наших ущельях, школы, о которых прежде только могли мечтать лучшие представители всех горских народов — те одиночки, которым удавалось стать грамотными или получить образование. Во вновь открывшихся школах самоотверженно работали энтузиасты — русские учителя, неся в горские аулы свет знания, чудо из чудес — грамоту и просвещение. Мы не забываем и не можем забыть об их благородном деле. Одним из таких русских учителей был Борис Игнатьевич, работавший в моем родном Чегемском ущелье. У него мальчиком учился и я, как и многие мои земляки-сверстники.

Я, горский мальчик, не умевший «хлеб»
Произносить как следует по-русски,
Вдруг понял сам: без дружбы мир неладит,
Жизнь не полна, а все дороги — узки.

Борис Игнатьевич, мой учитель! Вы
Мне подарили Лермонтова слово.
Я вижу очерк Вашей головы,
Снег седины, спадающей сурово,

Улыбку глаз под чеховским пенсне,
Когда вы так внимательно глядели,
Наверно, вспомнив о своей весне,
На дождь в окне и горные метели.

Вы в молодости не видали гор.
Вас Ленин к нам послал с великой повестью
Для счастья горцев. Горцам с этих пор
Вы свет души оставили с любовью.

Сегодня, в день Первого мая, в счастливый праздник весны, в наших горных ущельях и долинах снова, как впервые, цветет алыча, своей белизной удивляя и радуя детей и стариков, зеленеют трава и деревья, школьники в красных галстуках по улицам и площадям городов и аулов несут белые веточки алычи и зеленые веточки кизила, приветствуя весну, солнце, тепло на земле, свою радость, свое счастье, свое будущее, и на них с мудрой улыбкой смотрят старики аксакалы, желая им счастливого будущего.

И я, один из горских литераторов, приветствую русский народ, прекрасную Россию — родину Пушкина и Ленина — нашу общую Родину, наше общее благо и счастье, я приветствую вас, наши братья, в день праздника дружбы и братства народов, приветствую от имени всех детей гор, всех тружеников, всех мастеров, всех певцов нашей высокой земли и от всей души благодарю за свет братства.

Свое скромное первомайское слово с Красной площади — величайшей площади мира — мне хочется закончить стихами, обращенными к благородному русскому учителю Борису Игнатьевичу, весь свой мудрый опыт, знания, доброту и свет души отдавшему детям горцев. Моя благодарность ему — это наша благодарность русскому народу:

Мне в сердце запали уроки,
Когда я впервые постиг
Зовущий, как мир, и широкий
Чарующий русский язык.

И русских поэтов стихи я
Читал, задыхаясь от слез,—
Меня обступала Россия
Сплошным хороводом берез.

Сквозь годы, лишения, старость
Всегда мне маячит с тех пор
Мятежный, стремительный Парус,
Метящий в бескрайний простор.

Учитель мой добрый и милый,
Прости мне бывшие грехи,
Я вместо цветов неумело
Принес тебе эти стихи.

1970

ПРИЗНАНИЕ

1

У меня были горькие дни. Я обращался к Пушкину и находил в нем утешение и поддержку. Я переживал радостные часы. И опять шел к нему. И праздник мой стал несравненным. Когда я нуждался в мужестве и вере в жизнь, снова черпал их в великом поэте. В тяжкий час я чувствовал на своем плече его руку, в которой были твердость отцовской и нежность материнской руки. Пушкин оставался для меня бесстрашным героем и все понимающим мудрецом, источником света и энергии, прозорливости и человечности. В нем сосредоточилось все прекрасное, что может пестить в себе человек. Я думаю, что такими именно и бывают редчайшие гении, образцы человеческого типа. Чем старше я становился и чем больше приходилось пережить, тем лучше понимал я его, тем больше любил. В нем для меня как бы заключался весь мир. Мне каждый раз было страшно даже попытаться писать о нем.

А все же пишу. И это лишь потому, что сегодня мне хочется, чтобы в огромное море написанного и сказанного о Пушкине прибежал и мой ручеек, рожденный у чистейших снегов Кавказских гор, которым он удивился еще юношей и полюбил. Как бы ни был мал мой ручеек, он чист чистотой ледников Чегемских гор. Мало меня беспокоит мысль о том, что он потеряется в обширных морских волнах. Об этом нет у меня заботы. Пусть потеряется! Зато он вырвался с высот тех вершин, на которые когда-то

благоговейно смотрел Пушкин и, должно быть, глядя на них, еще лучше постигал ничтожество бенкендорфов и дантесов. Пусть мчится ручеек к морю. Ведь в самом деле ни одна настоящая речушка никогда не думает о том, что ее еще до моря поглотят воды больших рек, и весело делает свое дело — течет!

За добро и радость полагается благодарить. Пусть эти строки будут моей сердечной благодарностью великому поэту за безмерную радость и бесценное благо, которые он так щедро дал мне, сыну чегемского скотовода. Три десятилетия читаю я Пушкина. Каждый раз как бы заново открывается мне мир его книг, и снова, как впервые, вхожу я в огромный мир необъятных мыслей, образов и звуков, вхожу, как в ущелья гор, где все прекрасно, все удивляет. И каждый раз потрясенно думаю: «Боже мой! Могло же так случиться, что я не знал бы русского языка, не только как мой дед и отец, но и как лучший поэт Балкарии, ее классик Кязим Мечиев, и Пушкин не открылся бы мне. Как бы я был обкраден, куда беднее была бы моя жизнь!»

Эти строки — не статья, а признание в любви к одному из самых удивительных явлений во всемирной культуре, необыкновенному художнику, чуду жизни, давшему мне так много света и радости. Еще мальчиком, когда русский язык был мне недоступен, я прочел в балкарском переводе «Узника». Это была моя первая встреча с русской поэзией. Как ни тронула мою душу судьба молодого орла, попавшего в неволю, тогда в древнем ауле, затерянном в Чегемском ущелье, почти отрезанном от остального мира горами и скалами, я еще не мог знать, что придет время и поэзия того языка, на котором написано стихотворение о плененном орле и человеке за решеткой, откроет для меня необъятный и невиданный моими предками мир, принесет столько радости. Сегодня я благодарен судьбе, что так случилось.

Я уверен, что подобные же чувства переживал и азербайджанский поэт Фатали Ахундов, окунувшись в мир русской поэзии. А когда погиб Пушкин, Ахундов написал о нем трагическую поэму, горький реквием. Это было стоном и рыданием гор над гибелью гениального сына России. Этот стон, как эхо, повторялся в ущельях и долинах Кавказа. Это эхо мы слышим и сегодня. Пролитая кровь поэта была чиста, как его совесть и душа. Этой чистейшей кровью обогрилась белизна снегов горячо любимой и воспе-

той им земли, на которой столкнулись чистота поэзии и нечистоплотность антинародной политики Николая и Нессельроде, честность гения и бесчестие жандармской власти. Зевс велел приковать Прометея к кавказской скале за его подвиг во имя добра. Пушкина же сперва пытались приковать к казенщине, сделать официальным певцом. А когда это не удалось, царь, Бенкендорф, Нессельроде и все их окружение направили пистолет бездельника Дантеса на великого поэта России. Он им был враждебен всем своим существом, всей сутью своего деяния. Это и понятно. Поэзия и тирания всегда оставались врагами. Поэзия есть голос свободы и совести, она всегда была на стороне не угнетателей, а угнетенных, тружеников и мастеров земли. Пушкин был, говоря на восточный манер, золотой трубою свободы, свирелью совести и человечности. Весь созданный из света, он был задуман именно как образец.

2

Случилось чудо — от него пошла великая естественность, ясность и высшая простота русской поэзии. Еще звучали в ушах читающих людей России державинские оды, когда Пушкин написал стихи неслыханной непосредственности. Мне хочется произнести вслух хотя бы несколько строк:

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна,
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?

Это кажется невероятным! Так могли говорить между собой у печки зимним вечером крестьяне, живущие своей немудреной жизнью. А то, что так писал поэт высочайшего европейского образования, хорошо знавший не только Державина, но и Вольтера, Байрона — удивительно! Так естественно шелестит листва, идет снег и, наверное, слагаются народные песни. А как просто написан «Евгений Онегин»:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...

Полная прелести пушкинская простота никогда не перестанет вызывать удивление. Это высшая естественность, идущая от душевной щедрости и полноты, от богатства натуры и мысли. Она — высший урок для поэтов. Может быть, это только нам теперь так кажется, что Пушкин образец естественности и простоты, а в свое время и своим современникам он представлялся не таким? Думаю, что нет. Те, кому дано было понимать, поняли не только его величие, но и прелесть его естественности. Достаточно назвать имена хотя бы Жуковского, Вяземского, Белинского.

Люди, верно чувствующие жизнь и искусство, всегда утверждали, что все вычурное, неестественное — некрасиво. Это вопрос старый, как строки «Илиады», но он возникает каждый раз заново, принимая разные облики. Жаль, что, часто возвращаясь к нему, мы нередко забываем об опыте великих мастеров, наших учителей, плохо их читаем.

Отзывчивость, видимо, одно из самых необходимых свойств поэта. Это подтверждено и Пушкиным. Вспомним «Эхо». Он написал его потому, что сам был эхом своего времени. О том же говорит знаменитый «Памятник». Нас до сих пор приводят в трепет строки из него: «...в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Эти стихи известны всем, их цитировали бесчисленно много раз. Я тоже их привожу потому, что они от повторения не тускнеют и продолжают звучать для нас, как откровение. Они стали как бы заветным Пушкина поэтам. В старину на Востоке говорили, что молитва от повторения не тускнеет. Такой для всех поколений остается и поэзия русского гения. Что большего можно требовать от поэта, чем славить свободу и защищать тех, кто был обречен на мучения за любовь к воле или поплатился за нее жизнью, как декабристы! Поэт — совесть эпохи и голос народа. Вот о чем говорят творчество и личность Пушкина.

Служа добру и справедливости, передовым идеям эпохи и культуре, Пушкин поднялся на такую высоту творчества и мысли, откуда мог видеть очень далеко. С той высоты он видел не только прошлое и настоящее, но и смотрел в лицо будущего, к которому обращены и слова его «Па-

мятника». В нем поэт как бы подвел итог своей гигантской работе, своей честнейшей жизни великого художника и прежде всего счел необходимым сказать, что служил добру и свободе, подчеркнув это как главное в своей деятельности, за что он и будет любим народом. Так и случилось. Это Пушкин предвидел. Он хорошо знал, что этого именно и требует от художника его миссия. Честность и талант, бесстрашие и устремленность в будущее неразделимы. Художник не может не думать о будущем потому, что служит жизни и людям. Он верит в бесконечность жизни, как народные сказочники и дети. Он не спутник тем, кто говорит: «А после нас хоть потоп». Лучшее тому подтверждение опять Пушкин.

3

Нас удивляют масштабы его творчества, его разнообразие и обширность. Как поразительно он постигал Скупого Рыцаря, сердце которого представляется мне подобным куску угрюмой скалы, и юного поэта Ленского, чья душевная нежность и чистота напоминают цветок, раскрывшийся на рассвете. Пушкин с одинаково потрясающей силой мог выленить образ, изобразить душевный мир Татьяны, полный подлинно русской национальной красоты, очарования, и испанского гранда Дон-Жуана. В своей жизни я не раз возвращался к этой стороне поэзии великого поэта, часто думал о ней. Такая мощь, конечно, дается очень редким художникам. Это понятно. Бесконечно удивительна способность гения одинаково превосходно выражать самые разные, самые противоположные явления:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Какая выжженная суровость в этих строках! И рукой того же поэта написаны, из его же души вырвались стихи, проникнутые тончайшим лиризмом и большой нежностью:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Правы были восточные люди, сказавшие, что молитва от повторений не тускнеет. Действительно, пушкинские стихи остаются для нас всегда свежими, сколько бы раз

мы их ни читали. Мы каждый раз в течение всей жизни вот так же смотрим на звезды и зелень травы, как будто видим их впервые. Стихи Пушкина, как и все лучшее в поэзии любого народа, почти невозможно перевести на другой язык. Как переведешь дрожание зеленого листа или рдение розы! Недаром выдающийся польский поэт Юлиан Тувим жаловался, что, как он ни бился, ему не удалось перевести пушкинское «Я помню чудное мгновенье...» (Тувим, конечно, имел в виду не такой перевод, какие порой печатаются у нас).

У меня всегда вызывает удивление то, что «Гусара» и «Фонтан у Бахчисарайского дворца», например, написал один и тот же поэт. В одном из них — грубоватый юмор, в другом — тончайшая грусть, проникновенная лирика, раздумье, нежность. Разве дело только в том, что эти две вещи написаны в разное время? Нередко мы видим это у Пушкина и в произведениях, написанных в один период. Речь идет о широте диапазона. У нас нередко бывает и так, что поэт выбирает какую-нибудь тропинку и постоянно цепляется за нее. И это частенько называют оригинальностью, верностью своему миру и теме. А надо бы называть это ограниченностью и узостью. Крупный талант не боится решать разные задачи. Всем нам полезно почаще думать о широте и масштабности великих мастеров. Как непостижимо размещал Пушкин все краски в «Евгении Онегине» — радость и печаль, суровость и нежность, мудрость и веселый юмор, сатиру и грустное раздумье. Это грандиозное создание русской и мировой культуры кажется нам написанным так легко и так непринужденно, порой даже думаешь, что поэт работал как бы шутя. Но мы хорошо знаем, что над ним Пушкин трудился долго, упорно и кропотливо, много раз переписывая. Какой громадный труд он вложил в свое самое крупное создание, еще лучше понимаешь, когда видишь его черновики. Великий талант не освобождает художника от кропотливого труда. Свидетельство тому — опыт Пушкина. И в отношении трудолюбия его уроки незаменимы, он, казавшийся таким легким, был великим тружеником. И в то же время крылатым.

Пушкин любил радость. Недаром он так ликующе сказал:

Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

И грусть свою назвал светлой, «и ногу ножкой», как тонко подметила Анна Ахматова. Мне кажется, что одним из самых любимых им слов было слово «прелесть». Он часто ставил его и на полях книг. И сама поэзия Пушкина полна необыкновенной прелести и света. Конечно же, он — великий жизнелюб, ему было бесконечно дорого все живое — от одинокой березки у дороги до звезд над снежной равниной, от детской песенки до музыки Моцарта.

4

Нам, людям Востока, радостно не только оттого, что Пушкин навсегда закрепил в своих нестареющих произведениях целый мир восточных образов, красок и ритмов. Мы рады еще и тому, что он видел наши горы и белизну снегов их вершин, звезды над хребтами, сиявшие, как лучшие надежды в душе великого поэта. Его плечи, как и плечи Лермонтова, знали кавказскую бурку, сделанную терпеливыми руками горянок. Не увядая, живут образы Кавказа и кавказцев в его чудных созданиях, в его чудодейственные стихи вошли вечно белая вершина Казбека, суровое Дарьяльское ущелье с бурным Тереком, грохот обвала в теснине, сумерки на холмах Грузии, красота женщин наших, бедный пастух и нищий наездник. Все это закрепил в своих книгах поэт для всех народов и поколений. Где бы мы ни были на Кавказе, нам вспоминается Пушкин.

Восток вошел в поэзию русского гения с такой силой, что его невозможно представить себе без произведений о Востоке. От романтического «Бахчисарайского фонтана» до знойных и мудрых «Подражаний Корану» и до стихов, обращенных к калмычке, — все написанное национальным гением России проникнуто не только любовью к восточным народам, но и исполнено пониманием их судеб и сочувствия к ним. Это еще одно подтверждение широты интересов поэта, его человечности, гуманизма, внимания к жизни, истории и культуре других народов. Известно, с каким уважением он обращался к Саади и Хафизу, цитировал их в то время, когда мало кто о них знал в России.

Горы вечно дороги людям потому, что они одаривают радостью высоты. Той же радостью высоты веет от жизни, личности и поэзии Пушкина. И такой она останется, пока будет звучать русская речь. Она останется, как горы,

и всегда будет сиять людям, вселяя веру в жизнь и в человека. Поэзия Пушкина — это поэзия рассвета и утра. Человек прежде всего строитель. Пушкин тоже был создателем, великим творцом. Таким он и идет по земле с людьми. Он протягивает нам руку сквозь ливни годов.

Он наш друг и соратник, наш великий спутник, образец и учитель для поэтов, радость и праздник нашей жизни. Мы пронесли его имя и книги через все фронты. Суть врагов человеческой радости не меняется оттого, что они ходят в разных одеждах и носят разные имена. И сегодня, когда потомки мучителей и убийц таких людей, как Пушкин, грозят спящим детям атомной смертью, наш Пушкин с нами. Он всюду, где идет бой между светом и тьмой, между человечностью и злобой, между культурой и варварством, между уважением к человеческой жизни и человеконенавистничеством. Непрестанно звучит его светлый гимн и боевой лозунг: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Прозорливый Пушкин смотрел вперед, он видел лицо будущего, желал людям счастья, где бы и в каком бы столетии они ни жили. Он верил в бессмертие жизни. Светом этой веры полна его великая поэзия. Поэтому он стал спутником и другом для многих поколений.

Эти строки я пишу не с целью растолковать произведения великого поэта. Толкователей хватает и без меня. Я лишь хотел сказать о моей любви к Пушкину, которая останется со мной до конца моих дней. Он — один из самых удивительных людей, из всех известных мне, одна из самых свободных душ на свете, волшебник и кудесник, украшение человеческого рода. Одно только его имя вселяет в мою душу радость.

УЧИТЕЛЬ ПУШКИНА

Молодой Пушкин писал о Жуковском:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...

Если Пушкин так высоко ценил его стихи и предсказывал им долговечность, то можно себе представить, каким мастером был Василий Андреевич Жуковский. Да, действительно, он в годы юности своего гениального ученика являлся первым среди русских поэтов, самым читаемым и прославленным из них. В 1812 году, когда Родина оказалась в опасности, Жуковский, решив, что в такой час каждый обязан быть в рядах защитников отчизны, ушел в ополчение. Тогда же он написал стихотворение «Певец во стане русских воинов», сразу же ставшее знаменитым и прославившее имя автора, который вскоре стал учителем своих молодых собратьев, непререкаемым для них авторитетом.

Жуковский обладал выдающимся талантом. Его огромные заслуги в создании нового русского стиха, новой русской поэзии, породившей мирового гения Пушкина, всегда отмечались и отмечаются с благодарностью. Белинский писал, что без Жуковского не было бы Пушкина. Роль этого удивительного человека в родной словесности была завидной. Русская школа поэтического перевода во всем ми-

ре признана непревзойденной. Ее первым великим классиком также стал Жуковский. Его гениальные переводы из крупнейших поэтов Европы удивляют нас и теперь. Насколько мне известно, знаменитого гетевского «Лесного царя» почти никто из русских поэтов после Жуковского в течение ста пятидесяти лет не переводил — так этот перевод прекрасен и совершенен.

Вчитаемся снова в строки хотя бы первой строфы «Лесного царя», чтобы вновь ощутить, как они замечательны, полны жизни и поэзии:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка припик,
Обняв, его держит и греет старик.

Той же редкой энергии, огромной выразительности полно и стихотворение «Ночной смотр» — перевод из австрийского автора Цедлица, которого знатоки называют второстепенным поэтом. И какое мощное произведение создал русский поэт на основе обыкновенных иноязычных стихов. Подумайте, как сильны вот эти строки:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встанет барабанщик;
И бьет он проворно тревогу.

И дальше:

...В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.

Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры,
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны;
И в двенадцать часов по ночам
Из гроба встанет полководец;
На нем сверх мундира сюртук,
Он с маленькой шляпой и шпагой,
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту,
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты,
И армия честь отдаст.

В этих стихах и сегодня мы ощущаем необыкновенную словесную мощь. По моему мнению, большая художествен-

ная сила заключена и в элегии Жуковского «Море». Вот ее начальные строки:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь смятенной любовью,
Тревожною думою наполнено ты.

Мне кажется, что стихотворение гениального лирика Тютчева о море идет от этих стихов Жуковского. Во всяком случае я ощущаю близость двух этих вещей. Вот первая строфа тютчевского шедевра:

Как хорошо ты, о море ночное —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

В своей знаменитой миниатюре «Воспоминание» Жуковский достиг высшей выразительности и афористичности. Давайте подумаем над значительностью этих строк:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

Смело можно сказать, что тут мы чувствуем краткость и глубину, равную лучшим четверостишиям Омара Хайяма. Подобные вещи доступны только очень крупным талантам.

Когда я начал выводить эти строки, даже не думал сказать о выдающемся поэтическом таланте и мастерстве одного из крупнейших русских поэтов первой половины прошлого столетия. Давно вызвали мой интерес и приковали мое внимание высокие человеческие качества Жуковского, редкие и драгоценные свойства его души. О них-то мне и хотелось написать. Знаменитый и прославленный Жуковский, считавшийся тогда лучшим поэтом великого русского языка, был обласкан двором и находился в зените своей славы, когда появился Пушкин, необыкновенный талант которого одним из первых оценил именно он. Жуковский не только не стал кичиться своей известностью, выставляя против нового таланта свою славу, а раньше всех пришел в восторг от своего юного собрата и сказал о нем: «Нам всем надобно соединиться, чтобы дать вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».

Это замечательно. Ведь зависть и себялюбие — одни из самых живучих человеческих свойств. Какое благородство и редчайшую прозорливость проявил прославленный поэт, без зависти и с радостью уступив место первого поэта России новому великому гению, юноше по существу. Ведь при появлении «Руслана и Людмилы» подарил Жуковский Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Да, такая щедрость и справедливость доступны действительно немногим. До конца жизни Пушкина Жуковский относился к нему с такой же любовью, разумеется, хорошо понимая, что это — национальный гений, гордость родной поэзии и всей русской культуры. Василий Андреевич Жуковский был редким человеком. В этом нет сомнения. Он, воспитатель наследника престола, ходатайствует за опального Пушкина, просит императора Александра о милостивом отношении к поэту — юноше, защищает его, говорит, что он — надежда русской поэзии.

Появляется Лермонтов, который разгневал уже нового самодержца, написав стихи на смерть Пушкина, которые царь оценил как призыв к революции. Ведь молодой поэт обвинял монарха и его окружение. И снова, несмотря на все, за Лермонтова хлопочет, заступает все тот же Жуковский. Он также был среди активных участников освобождения Тараса Шевченко из крепостной неволи. Удивительно! Ведь у него было другое отношение к монархии, он имел иные взгляды и на назначение искусства, чем те художники, которых ему приходилось защищать. Однако он поддерживал и отстаивал инакомыслящих больших поэтов, с которыми расходились его политические убеждения и эстетические воззрения. Так он любил все настоящее в поэзии.

Когда Пушкин был смертельно ранен, снова, как всегда, Жуковский оставался верным себе и своей дружбе с великим учеником. Он опять выказал обреченному гению свою редкую любовь и нежность, ни на час не покидал умирающего бога русской поэзии. Хотя его душили слезы, он держался мудро, делал все необходимое, даже сам писал и вывешивал бюллетени. В те трагические дни Жуковский показал большую выдержку, присутствие духа, мудрость.

Почему я пишу об этом сегодня — в наши бурные дни, в атомный, как говорится, и трудный век? Да потому, что

поучительно отношение Жуковского к своему гениальному ученику в его счастливые и несчастные дни! Какой это большой человеческий урок! Такие примеры и образцы не должны забываться. Разве в наши дни из сознания людей вытравлены убогие себялюбие и зависть? К сожалению, далеко не так! Ставить талант, выдающийся дар истинного творца выше своего себялюбия, гнать прочь зависть — в этом большая красота души и ума. Этим прекраснейшим качеством Жуковский обладал в высшей степени. Вот почему и вспомнил я о нем сегодня — в начале восьмидесятых годов двадцатого столетия. Мне дороги его доброта, душевная чистота и рыцарские поступки. Будем надеяться, что никакая атомная сила не убьет рыцаря в человеке. Я это говорю, хорошо зная, как много на свете людей — далеко не рыцарей.

Рыцарское отношение Жуковского и Пушкина друг к другу остается одним из самых светлых и поучительных уроков не только в истории одной русской, но и мировой поэзии. Думаю, что в эти апрельские дни, когда так сказочно цветут на моей земле абрикос и алыча, я не зря и не случайно в горах Кавказа вспомнил о Жуковском. Лучшие уроки лучших людей драгоценны, как все редкое в жизни. Быть учителем Пушкина, притом любимым, являлось большим счастьем. Жуковский, разумеется, хорошо это понимал и до конца оставался достойным своей редкой участи. Он был великим человеком.

А ПАРУС ВСЕ БЕЛЕЕТ...

1

Творчество всякого великого художника — это не только наиболее достоверное отражение его собственного душевного мира и чаяний современников, в нем не только резко выраженный облик эпохи. Оно также остается и завещанием будущим поколениям, как бы эмоциональным кодексом человеческой души, документом, который не тускнеет и столетиями продолжает вызывать большой интерес, волнуя сердца и воображение людей. Лермонтов — одно из удивительных явлений в литературе. Он погиб, не дожив до двадцати семи лет, но создал такие шедевры, которые дали ему право войти в пантеон великих писателей.

«Парус» и «Тамань» удивляли Чехова через десятилетия после смерти их автора. Вот что об этом сказано в воспоминаниях Бунина о Чехове: «Как восторженно говорил он о лермонтовском «Парусе»! — Это стоит всего Б. и Уренюса со всеми их потрохами», — сказал он однажды. И дальше Бунин свидетельствует: «Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!..»

Какого совершенства и естественности должно было достичь произведение, чтобы удивить Чехова! Ведь мудрая топкость его вкуса ни с чем не сравнима. Однако факт

остается фактом. Именно до такого художественного совершенства сумел подняться юноша Лермонтов. Удивительно! А как хорошо, что гигант мировой литературы Лев Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» выросла из лермонтовского «Бородина»!

Я позволил себе назвать творчество великих художников завещанием будущим поколениям. Что это значит? В чем суть завещания будущему таких поэтов, как Лермонтов? Прежде всего в том, что их творчество служило передовым идеям своего времени, добру, справедливости, свободе и борьбе за радость людей. А это всегда остается главной миссией поэта. Разве Пушкин завещал не то же самое поэтам в своем знаменитом «Памятнике»? Стихотворцы, изменявшие этому завету, изменяли самой сути искусства. И не их уделом было долголетие. Его не могут принести одни только красивые рифмы, хотя хорошая рифма — большое дело в поэзии. А все же сам кинжал важнее ножен, но и ножны должны быть под стать клинку. Звонких рифм у Бенедиктова, например, мне думается, было не меньше, чем у Лермонтова. А разве хоть в какой-нибудь мере можно равнять эти два явления в русской литературе, хотя за Бенедиктовым тоже надо признавать право на существование и место в родной поэзии. Не вредно вспомнить и то, что среди его современников находились люди, считавшие Бенедиктова выше самого Пушкина. Так тоже бывает.

У Лермонтова мы найдем всякие рифмы. Даже в его шедеврах встретим не очень изысканные созвучия. А кто думает об этом, читая его? В первой же строфе стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» находим рифму «блестит — говорит». Мне кажется, что ее нельзя считать самой хорошей. Но что это по сравнению с бесподобной глубиной и красотой всей вещи? Это одно из самых изумительных созданий всей мировой лирики, такая совершенная вещь, что в тот час, когда в предгорьях Кавказа рождалась она, должно быть, «и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой!» Невозможно отказать себе в удовольствии прочесть снова это чудо:

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
 Спит земля в сиянье голубом...
 Что же мне так больно и так трудно?
 Жду ль чего? Жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
 И не жаль мне прошлого ничуть;
 Я ищу свободы и покоя!
 Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
 Я б желал навеки так заснуть,
 Чтоб в груди дремали жизни силы,
 Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю почь, весь день мой слух лелея,
 Про любовь мне сладкий голос пел,
 Надо мной чтоб, вечно зеленея,
 Темный дуб склонялся и шумел.

Эти стихи так дороги мне не только потому, что они родились вблизи родных мне вершин и блещит в них кремнистая горная дорога, по которой, может быть, проходил мой отец и прохожу сегодня я сам, глядя на облака, проплывающие над ней. Лермонтовский шедевр полон лунного света и человеческой боли, света вечности и порыва к свободе. Невыразимы и необъяснимы глубина раздумий и обаяние, пронизавшие эти великие стихи! Строка «и звезда с звездою говорит», полагаю, явилась одним из самых замечательных открытий в мировой лирике. Поэзия живет подобными открытиями, а не мишурой, не красивыми словами и не пустозвонными фразами. Когда читаешь эти стихи, как-то даже становится больно за тех, кто не знает русского языка и не может прочесть их в оригинале, появляется горячее желание, чтобы все люди читали такое чудо в подлиннике. Мы знаем: ни один перевод не в силах передать красоту и обаяние его оригинала.

Находились люди, которые считали это лермонтовское чудо пессимистичным произведением, умники, которые утверждали, что поэт в нем отказывается от активной деятельности и от жизни. Подобные авторы обычно пытаются

ся лезть в учителя к тем великим художникам, которые стали учителями человечества. Как можно заниматься литературой и не понимать, что в приведенном выше шедевре Лермонтова томится плененная душа одного из самых вольполюбивых художников, что в этих стихах живет дух протеста, желание вырваться на волю. И потому так много в них боли и тоски. Эти чувства у больших художников обычно выражаются не риторическими восклицаниями.

Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его завещание потомкам. Он завещал людям не сгибать спины перед бенкендорфами, служил лучшим человеческим идеалам, воплотил их в нестареющие художественные произведения. Он спутник и соратник многих поколений в их борьбе за лучшую жизнь. Лермонтов, как и Пушкин, Бетховен, Гете, был с нами и в нашей смертельной битве против фашизма.

2

Сегодня снова хочется вспомнить о том, что Лермонтов вошел в сердца соотечественников в дни национального траура своей родины — в дни гибели Пушкина, когда скорбели все передовые люди России, лишившиеся своего первого поэта, национального гения. Имя Лермонтова засверкало неожиданно, как молния, оно ворвалось в дома скорбящей страны так же внезапно, как ливень врывается в притихшие дворы. Мы знаем, каким событием стали сразу же стихи «На смерть поэта». Их автор потряс друзей Пушкина и привел в замешательство его врагов, вызвал ненависть всех тех, кто направлял на Пушкина дуло дантесовского пистолета. Враги его учителя стали врагами Лермонтова. Смелая борьба русской поэзии с душителями всего светлого и мучителями угнетенной родины и народа продолжалась. После гибели Лермонтова эстафета перешла к Белинскому, Некрасову, Чернышевскому, Добролюбову и другим бесстрашным деятелям родной литературы. Как бы трудно ни приходилось, все равно в исторической перспективе победа осталась за великой русской литературой.

Как удивительно, что гвардейский офицер, юноша бросил в лицо царя и его окружения такие действительно железные стихи, полные гнева, угроз и бесстрашия:

А вы, надменные потомки,
Известной подлостью прославленных отцов,

Пятаю рабскою поправшие обломки
 Игрою счастья обиженных родов!
 Вы, жадною толпой стоящие у трона,
 Свободы, Гения и Славы палачи!
 Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда — все молчи!..
 Но есть, есть божий суд, панерсники разврата!
 Есть грозный судия: он ждет;
 Он не доступен звону злата,
 И мысли и дела он знает наперед.
 Тогда напрасно вы прибегните к злословью:
 Оно вам не поможет вновь,
 И вы не смоее всей вашей черной кровью
 Поэта праведную кровь!

Редко какой поэт бросал в лицо тиранического строя стихи такой силы и откровенности, редко вызывали стихи в обществе такое волнение и тревогу, как это сделало стихотворение Лермонтова. Оно прозвучало не только голосом гнева и скорби, но и возмездия. Ясно было, что такой поэт мог появиться в России только после смелого и трагического восстания декабристов. И, конечно, царь и его окружение, пославшие в Пушкина пулю проходимца, стали думать о другой пуле. Она уже отливалась и через пять лет пробилась сердце второго великого поэта России, и он в горах Кавказа навсегда закрыл свои прозорливые и прекрасные глаза, похожие на небо его родины.

А знал ли сам молодой поэт, на что идет и какая трагическая участь вслед за Пушкиным может его ждать? Конечно. Иначе он не был бы Лермонтовым, так рано постигшим жизнь и так хорошо понявшим действительность, которая его окружала. Это доказано всей дальнейшей его короткой жизнью и могучим творчеством, тем, что он не сделал до конца дней ни одного шага назад, оставаясь верным себе и своему призванию, своей миссии наследника Пушкина, имя и честь которого так небывало смело защищал в дни его гибели. Он был из породы великих художников-героев. Жил, не сдаваясь, и умер, не сдаваясь. Когда передовые люди страны узнали стихотворение «На смерть поэта», они сразу же поняли, что пришел новый большой поэт. Но это также поняли царь и его окружение. Казалось, что Лермонтов появился как обвал.

Между юностью Пушкина и юностью Лермонтова легла Сенатская площадь 14 декабря, встала виселица с задущенными петлей декабристами, с багровым от крови снегом на улицах Петербурга, с горестной дорогой в Сибирь

и муками оставленных в живых повстанцев. Атмосфера эпохи подготовила появление стихов Лермонтова, и они не замедлили появиться. Лермонтов знал, на что шел. И тут возникает важнейший вопрос — о смелости и бесстрашии художника. Вспомним Александра Блока, так любившего Лермонтова: «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль...» Значит, жизнь — это непрестанный бой, борьба между добром и злом. Только в каждую эпоху зло имеет конкретных носителей. Вечный бой! И в этом вечном бою художнику порой бесстрашие необходимо так же, как и талант. Это потому, что он становится выразителем чаяний и стремлений угнетенного большинства, рупором народной свободы, в нем, как в лучшем их выразителе, сосредотачиваются лучшие качества и свойства передовых людей. Ему приходится браться в бой, забывая об опасности, о страхе гибели. Иначе он не был бы верен своему назначению.

Бесстрашие и совесть. Вот чем были вооружены великие художники всех трудных эпох от Данте до Ромена Роллана, когда надо было заступаться за народ, за униженного человека, защищать их от произвола, бороться за их права. Но как это трудно, какой дорогой ценой приходится платить! Пушкин и Лермонтов были из этой фаланги бесстрашных художников. И они заплатили жизнью за свою совесть и смелость, как защитники и поборники свободы родного народа, мечтавшие о процветании отечества. Конечно, такое доступно далеко не каждому и не всегда. Горький опыт искусства слишком велик! Не всем, кто именовал себя поэтом, работал в литературе и процветал, нужна была совесть, не говоря уже о лермонтовском бесстрашии. Нам известно, что такие литераторы, например, как Булгарин, пытались унижить литературу, занимались клеветой на крупнейших писателей, предавали их Третьему отделению Бенкендорфа. Но они перед великой русской литературой — лишь пыль, занесенная башмаками в тот прекрасный дом, который воздвигали такие бессмертные строители, как Пушкин и Лермонтов.

Не все таланты — Бетховены и Толстые. Литература и искусство многообразны, как и сама жизнь. Лермонтов в своем стихотворении «Поэт» обращался именно к художнику, у которого большое мужество. Мне хочется привести две строфы из этой вещи. В них заключены редкая энергия и мужественная сила:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
 Воспламенял бойца для битвы,
 Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
 Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой,
 И отзыв мыслей благородных
 Звучал, как колокол на башне вечевой,
 Во дни торжеств и бед народных.

И об авторе таких стихов могли писать как о разочарованном в жизни меланхолике! Какой вздор! Ему был противен жандармский порядок государства, в котором он жил, а не жизнь в подлинном ее понимании, он не отрицал и не мог отрицать смысл самой жизни. Ему было дорого все лучшее и светлое в жизни. Он ненавидел гнет и неволю, а не жизнь вообще. Главной чертой Лермонтова — человека и поэта — было бесстрашие, а не разочарование в жизни. Не отказом от жизни порождено стихотворение «На смерть поэта». Оно родилось в бою за жизнь, в борьбе против ее врагов. Кто потерял веру в жизнь, тот не борется и не сражается за нее, а существует, махнув рукой на все. Поэзия же Лермонтова — это мятеж против душителей жизни и всего живого, всего прекрасного. Отсюда и боль, чувство одиночества, тоска и горечь, которые естественным образом стали мотивами его творчества. За жизнь больно только тем, кто ее любит.

3

Когда императору Францу Иосифу сказали, что Бетховен — гений и его стоит поддержать, тот ответил весьма лаконично: «Мне нужны не гении, а верноподданные!» Справедливости ради надо отметить, что было сказано по-своему хорошо, сказано за всех императоров. Точно такими же словами мог бы сказать о своих великих поэтах и русский император. Лучше не определишь отношение деспотов к художникам. Лермонтов был гений. А царь нуждался только в верноподданных. И они стали врагами. Лермонтов явился одним из тех, кто мешал царю спокойно жить. Тот хорошо помнил Сенатскую площадь четырнадцатого декабря. И вдруг офицер из его гвардии осмелился бросить ему в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью!..» Смелость — вещь дорогостоящая. Но поэт продолжал свое дело. Он совсем не думал смириться,

сдаться, быть покорным сочинителем, пишущим ради забавы светской черни. Вспомним, что говорит его мятежный Демон, осмелившийся восстать против небесного владыки и за это изгнанный из рая:

...Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступления лишь да казни,
Где страсти только мелкой жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.

Это, разумеется, не вообще о жизни. Лермонтов обращается к конкретной действительности, к николаевскому времени, в которое ему выпало жить. И казни, о которых говорит Демон, — конкретные казни, декабристов в частности. Горчайшими словами своего Демона он пригвоздил к позорному столбу режим, при котором процветали несельероде и бенкендорфы. Эти слова были прямым продолжением строф «На смерть поэта». Мир голубых мундиров не мог ему простить. Ему нужно было не величие русской поэзии и мысли, а власть и собственные блага.

Был арест. Была ссылка. Далекие ухабистые дороги. Пули горцев. Близна снега на Казбеке и чернота боли. Гибель товарищей. «Иных уж нет, а те далече...» Но Лермонтов мужал. Железный стих становился все более зрелым и гибким. Наследник Пушкина оставался верен своему призванию и назначению. И говорили не только звезда со звездой на синем небе над белизною Кавказских гор, но и царь — с жандармами. Зловещая жандармская тень ложилась на лермонтовскую дорогу всюду. Появление в Пятигорске подполковника в голубом мундире Кушинникова в последние дни поэта было продолжением все той же длинной тени.

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ...

Какие это горькие слова! Сказав их своей родине, ссыльный поэт уезжал на Кавказ. А ведь в родной стране, к которой он на прощание обратился так горько, поэт любил и народ, и многое. Так замечательно он писал об этом:

Люблю дымок спаленной живизны,
В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

Не только эти, но и другие горчайшие слова были вырваны из сердца горячей любовью к своей милой и измученной отчизне, только любовью, потому что он хотел ее видеть свободной и цветущей. Это было выражением огромного и горестного томления, выражением желания высших благ родному народу — свободы, просвещения и процветания.

Вот почему он писал, что любит Россию странною любовью. Патриотизм Лермонтова был истинным и высшим. Он жил настоящей любовью к отчизне. Но жандармы всех рангов думали иначе. Они требовали казенной любви и казенных слов. И все гуще ложилась на его дорогу тень жандарма. Звезду поэта все плотнее обступали тучи. Он писал, что, может быть, скроется за хребтами Кавказа. И в то же время, конечно, знал, что это невозможно. Да и едва ли сам этого хотел. Это тоже было выражением горечи и боли, протестом и желанием вырваться на волю. И на Кавказе не только спяли любимые им вершины, но свистели пули, лилась кровь, жестокость правила свой неправый суд.

А он любил родную Россию и свой Кавказ. Его зоркие глаза видели не только красоту гор, пленивших его с детства, но и никому не пужную гибель людей — русских и горцев, видел золу сторованных аулов. Он знал, что пепел сожженного жилья всюду одинаково печально остывает и одинаково горько пахнет. Покоя не было. Его мятежный Парус продолжал свой путь по морю жизни. Покоя не было. Лермонтов горестно размышлял в пути, «спеша на север издалека», вверял свою боль и сомнения Казбеку.

4

Когда я размышляю о Лермонтове, меня волнует еще один вопрос. Легенда о тяжелом, мрачном и даже вздорном характере поэта — довольно распространенная. Если она волнует меня и сегодня — значит, она все еще живуча. Мне не раз приходилось сталкиваться и в наши дни с людьми, серьезно утверждающими, что Лермонтов был себялюбцем, невыносимым в отношениях с товарищами, чуть ли не вздорным хвастуном, мол, это и было причиной его гибели. Так думать о создателе великих произведений, гениальном поэте! Какая слепота, какой менщанский вздор

и глупость! Так рассуждать — значит совсем не уметь читать Лермонтова и совершенно не понимать его. А людей, упорно придерживающихся этого ложного мнения, мне приходилось встречать и среди литераторов, даже литературоведов.

Сначала эту жалкую легенду придумали враги поэта, его убийцы, а потом люди, не умеющие выяснить из произведений писателя его характер, простодушно поверили в нелепые рассказы. Неужели возможно допустить, что произведения, второе столетие удивляющие не одно поколение читателей и крупнейших писателей России, шедевры, полные не только художественной прелести, но и несравненного благородства, могли быть созданы вздорным и мрачным человеком, влюбленным только в себя? Неужели такой человек мог написать вещи, вызывавшие восхищение Льва Толстого и Чехова? Нет, это вздор! Лермонтов — не Грушницкий, не Мартынов, а гениальный поэт. Он был влюблен не в себя, а во все прекрасное на свете — от поэзии Пушкина и говорящих между собой звезд на южном небе, белющих на холме русских березок и до удививших его еще ребенком белых вершин Кавказа.

Самовлюбленный вздорный молодой человек никак не мог бы написать и великое стихотворение «На смерть поэта», об огромном горе своей Родины — он был бы занят только собой, ему не было бы дела до гибели национального гения родной страны. Да и вообще до страданий и бед людей ему не было бы дела. А таких светских шалопаев имелось немало в тогдашней России. Их Лермонтов видел вокруг себя каждый день. Они-то и пытались приписать великому поэту свои собственные черты и качества. Лермонтов в Пятигорске с друзьями отплясывал мазурку над знаменитым Провалом, любил веселые проказы, забавы, дружеские пирушки. Какой же он мрачный человек? Он, создавший неувядающие образы простых людей — скромного доктора Вернера, милого горского мальчика Азамата, доброго Максима Максимыча, пленительной горянки Бэлы, рассказавший историю страданий Мцыри, — не мог быть ни мрачным себялюбцем, ни вздорным ненавистником людей. Вся эта чушь придумана теми, кому непонятен или ненавистен талант. Не мог быть невыносимым для настоящих людей или друзей поэт, так полюбивший ссыльного декабриста Одоевского, с которым он встречался на Кавказе, а когда тот умер, написал его памяти чудесное

стихотворение — одно из лучших созданий русской лирики. Давайте снова вчитаемся в эти изумительные строки, полные преданной любви и уважения к памяти поэта-декабриста, который когда-то был блестящим гвардейским офицером, после же разгрома восстания декабристов прошел тюрьму, сибирскую каторгу и умер ссыльным солдатом от лихорадки на Кавказе. Прочитав это стихотворение, мы убедимся, что Лермонтов умел любить тех, кто был достоин его любви и уважения:

Я знал его, мы страствовали с ним
В горах Востока, и тоску изгнания
Делили дружно, но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой,
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

Так начинается этот шедевр, в котором мысли, образы, каждое слово и тон стиха полны невыразимой любви и уважения к другу, огромного обаяния и прелести. Приведем еще одну строфу:

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В пещере кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, — без шума,
Но с твердостью. Тайнственная дума
Еще блуждала на челе твоём,
Когда глаза закрылись вечным сном,
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

Нет сомнения в том, что это одно из самых замечательных человеческих раздумий, когда-либо адресованных поэтом памяти товарища. Я не знаю стихов, в которых любовь и уважение к так много перенесшему другу были бы выражены с большим благородством и сердечностью. А какое было бы дело равнодушному ко всем себялюбцу до страданий и смерти ссыльного солдата. Нет, самовлюбленные гордецы не могут написать таких стихов, хоть озолоти их!

А с какой искренней простотой и любовью написал Лермонтов о простых крестьянах.

С отрадой, многим незнакомой,
 Я вижу полное гумно,
 Избу, покрытую соломой,
 С резными ставнями окно,
 И в праздник, вечером росистым,
 Смотреть до полночи готов
 На пляску с топаньем и свистом
 Под говор пьяных мужичков.

Как хорошо! О самых обыкновенных вещах, связанных с жизнью крестьян, Лермонтов написал гениальные стихи самыми обычными словами. Действительно, какой простоты, точности слова и изображения, какой естественности достиг он в своих поздних вещах. Мне бы хотелось особое внимание в приведенном отрывке из стихотворения «Родина» обратить на две первые строчки. «С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно...» Тем, кто называл поэта вздорным себялюбом, как раз ни в коей мере не была знакома радость видеть те простые картины русской народной жизни, которыми так дорожил Лермонтов и которые так сильно изобразил.

Разве не Лермонтов так нежно любил М. Щербатову? Как много сердечности вложено в стихотворение, обращенное к этой прекрасной женщине. Помните: «На светские цепи...»? Если даже взять одну только последнюю строфу, и то увидим, какой серьезный и обаятельный образ женщины создал поэт:

От дерзкого зора
 В ней страсти не вспыхнут пожаром,
 Полюбит не скоро,
 Зато не разлюбит уж даром.

Нет, такие стихи вызываются и рождаются только любовью. А «Казачья колыбельная песня» или «Мне грустно, потому что я тебя люблю...» с их глубочайшей человеческой нежностью? Пришлось бы сделать слишком длинный список! Нет, Лермонтов не отворачивался от настоящих людей и был не мрачным меланхоликом, а великим трагическим поэтом, которому каждый раз обжигало душу человеческое горе. Другое дело, что он был исключительно требователен к жизни и людям, смотрел на все с высоты гениального дарования. Иные путали и путают чувство собственного достоинства с самовлюбленностью и чванством. Лермонтову в высшей степени было присуще первое

из этих человеческих качеств. Он хорошо знал, с кем ему быть добрым, а с кем — злым. Да, конечно, с жандармским генералом он не обнимался. Предпочитал сосланного декабриста Одоевского. И ангелом, разумеется, Лермонтов не был. И я далек от мысли превращать его в икону. Это тоже было бы искажением его реального облика. Он был человеком высокого ума, чести и благородства.

Поэты лермонтовского масштаба не бывают мелкими и равнодушными людьми. Одно исключает другое. Характер художника обязательно переходит в его произведения. Это неизбежно. В поэзии притворяться не удастся. Мы знаем, что люди, подобные тем, которые называли Лермонтова вздорным себялюбцем, нарекли сумасшедшим Чаадаева — одного из умнейших людей России.

5

Ведя свой разговор о художественной мощи поэзии Лермонтова, мне хочется остановиться на его «Валерике». Эта вещь удивительна для меня во многих отношениях. Мне кажется, что до этого ни в России, ни во всем мире ни один поэт не писал о войне так просто и с такой беспощадной правдой, с таким полным отсутствием парадности, я бы сказал — с народных позиций. С другой стороны — офицер армии, воевавшей с горцами, выразил к ним свое большое уважение и сочувствие. В этих стихах так поразительно художественное совершенство наряду с небывалой в поэзии о войне глубиной содержания, удивительны точность стиха и образов, мудрая сдержанность интонации, суровая самостоятельность мысли. Нет ничего лишнего. Все пережито, выношено, взвешено и скупое. Вот как говорит Лермонтов о горцах, против которых ему велено было воевать:

И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Татарин мирный свой намаз
Творит, не подымая глаз,
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

Бытовые реалистические детали, точно замеченные и верно закрепленные. Сама жизнь, сама природа. Все

скупое и простое. Вот так — русский поэт и офицер ввел навсегда в поэзию своих «противников» с их худыми руками и гортанным разговором. Как это замечательно! Не только талантом, но и каким умом надо было обладать, каким прозорливым человеком надо было быть, чтобы подняться до такой высоты объективности и понять этих горских крестьян, сражавшихся и отдававших свои жизни за землю отцов! А вот строки еще более высокого общечеловеческого содержания, тоже удивительные и по содержанию и по форме:

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет? небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Горький и бессмертный вывод! Сколько людей думали так и через сто лет после Лермонтова! Какой поразительной зрелости мысли достиг этот человек, погибший юношей! Совершенство этого стихотворения несравненно. Такой в нем жесткий и суровый реализм. Вот куда вела Лермонтова его так рано оборвавшаяся дорога. Можно не сомневаться в том, что эти стихи проложили путь к реализму русской литературы, стали большой школой для будущих ее крупнейших мастеров. Каждый раз, возвращаясь к таким созданиям Лермонтова, думаешь: какой кровавый удар нанес пустой и вздорный Мартынов России и ее культуре! Кроме прочего, он ведь убил человека, который в роковую минуту выстрелил не в противника, а в воздух! Это подтверждено участниками и свидетелями отвратительной дуэли. Говорят, что генерал Ермолов, узнав о гибели Лермонтова, сказал: «Жаль, что меня уже нет там, я бы удвоил кровь!»

Подумать только! В течение каких-нибудь четырех лет были убиты два великих поэта России! Чему удивляться, если царь мог о Лермонтове сказать самые нечеловеческие слова: «Собаке — собачья смерть!» Это не вы-

думка литераторов, это подтверждено современниками самого Николая и даже людьми близко к нему стоявшими. Но быть убитым — не значит быть побежденным. Великий поэт остался любимцем своей Родины, а его врагов и убийц заклеил родной народ. Борьба с гениальным художником бесполезна: его невозможно победить — жизнь и история всегда на его стороне. Бетховена, например не могли бы сокрушить все монархи мира, если бы они даже в небывалом для них единстве вступили с ним в бой. Гениальный художник — вечный победитель. Он творит жизнь. Гений подобен горе и морю.

Давно я обнаружил для себя, что Пушкин еще пользовался архаизмами, его поэтика допускала это. У Лермонтова же нет ничего подобного. Такое суждение, разумеется, несколько не ущемляет величайшего из русских поэтов — учителя Лермонтова. У автора «Героя нашего времени» была своя поэтика, идущая от Пушкина, но уже своя. Паруса его поэзии наполнял воздух другой эпохи. Он был другим — более горьким, более трагическим художником. У Пушкина мы не раз встретим рифму «радость — младость», у Лермонтова нет ее. Или такое упоение радостью, как пушкинское «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой», тоже невозможно для него. Лермонтов продолжал Пушкина, не повторяя его, открывая новые горизонты для родной поэзии. Такими только и бывают истинные ученики. Иначе Лермонтов не стал бы великим поэтом. И странно, когда задают вопрос: «Кто лучше — Пушкин или Лермонтов?» Это все равно, что спросить: «Какая лучше гора — Эльбрус или Казбек?»

Грандиозен мир лермонтовской поэзии — многоцветный, многоголосый и прекрасный, как горы. Мы, счастливые обладатели этих бесценных сокровищ, всю жизнь радуемся глубине и чарующей музыке лирики Лермонтова, ее краскам, звукам, мыслям, эмоциям и живописи. Можно было бы изучить русский язык только для того, чтобы читать волшебные лермонтовские создания.

И тогда мой поступок был бы оправдан и я осчастливил бы себя. Вся будущая красота и волшебство поэзии Лермонтова, ее музыка и живопись, глубина и серьезность уже присутствуют в его раннем стихотворении «Русалке», написанном в полудетском возрасте. Я всю жизнь не могу отделаться от музыки и обаяния этой вещи. Поэтому хочу процитировать ее целиком:

Русалка плыла по реке голубой,
 Озаряема полной луной;
 И старалась она доплеснуть до луны
 Серебристую пену волны.

И шумя и крутясь, колебала река
 Отраженные в ней облака;
 И пела русалка — и звук ее слов
 Долетал до крутых берегов.

И пела русалка: «На дне у меня
 Играет мерцание дня;
 Там рыбок златые гуляют стада;
 Там хрустальные есть города;

И там на подушке из ярких песков
 Под тенью густых тростников
 Спит витязь, добыча ревнивой волны,
 Спит витязь чужой стороны.

Расчесывать кольца шелковых кудрей
 Мы любим во мраке ночей,
 И в чело и в уста мы в полуденный час
 Целовали красавца не раз.

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
 Остается он хладен и нем;
 Он спит,— и, склонившись на перси ко мне,
 Он не дышит, не шепчет во сне!»

Так пела русалка над синей рекой,
 Полна непонятной тоской;
 И, шумно катясь, колебала река
 Отраженные в ней облака.

Подумайте о красоте этой баллады и о том, что она написана рукою мальчика!

Нас потрясают крупнейшие создания Лермонтова — «Герой нашего времени», «Демон», «Песня про купца Калашникова». Когда мы оказываемся в этих сказочных владениях, не похожих ни на какие другие, то стоим зачарованные. Над вершинами Кавказа летит великий бунтарь, восставший против самого небесного владыки, — Демон, шелестят травы, шумят реки, дымятся горы, пляшет юная Тамара, рыдает зурна, звенит детский кинжал Азамата. Мцыри сражается с барсом, молния освещает скалы и ущелья. Сколько образов и красок, какой живой и гордый мир! Нас покоряет мудрая и простая доброта Максима Максимыча, мы беседуем с очень умным и не находящим достойного применения своим большим силам Печориным,

видим позера Грушницкого, несчастного тем, что глуп и вздорен. Нам понятен Казбич — абрек и лихой паездник, влюбленный в Бэлу и гордящийся своим скакуном Карагезом. Мы понимаем протест и отвагу купца Калашникова. Какую галерею образов успел создать Лермонтов за свою такую короткую жизнь! При том массу времени отнимала у него военная служба. Известно, что он мечтал выйти в отставку, заняться только творчеством и даже издавать журнал. У него были грандиозные планы. Но им не суждено было осуществиться, их опрокинула смерть. Граф и литератор В. Соллогуб в своих воспоминаниях пишет, что перед последним отъездом на Кавказ в доме Карамзиных Лермонтов сказал, что его убьют. Тогда же, по словам мемуариста, поэт говорил и о журнале, который он собирался издавать, вернувшись с Кавказа. Как утверждает все тот же автор, Лермонтов, говоря о смерти, имел в виду горскую пулю, которая, как известно, пощадила его. Но нашлась другая, бесчестная пуля. И поэт с Кавказа не вернулся.

Каждое поколение входит в мир поэзии Лермонтова, каждое поколение благодарит его за прекрасный мир, созданный его гением, за его поэтический и гражданский подвиг. И я благоговейно благодарю его от имени воспетых им гор и горцев. Еще мальчиком, плененный величием Кавказа, а лет в пятнадцать написавший: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ...», Лермонтов остался верен ему до конца и, как никто, воспел его могуче и нежно, мужественно и мудро. В его поэзии живут величие и красота нашей земли, ее боль и надежды, подвиги ее сынов. Он гордился этой страной и своей любовью к ней. Он любил ее свободных и благородных детей, и они, вместе с сиянием вечных снегов вершин, навсегда остались в его книгах. Они были своим мужеством достойны бессмертия, и русский поэт их обессмертил.

Из его книг, словно эхо в горах, как бы доносятся до нас голоса тех отважных горцев и стук копыт их коней. Горы и поэзия Лермонтова высятся, как равные. Кавказ и Лермонтов были достойны друг друга. И они остались вместе навеки. Кавказ был большой любовью великого поэта и стал его могилой. Но горы в этом, к нашему счастью, не виноваты! Лермонтов, отдававший Кавказу свою любовь и песню, отдал ему свое сердце и кровь. И последний взгляд прекрасных глаз Лермонтова принадлежал Кавка-

зу. Прежде чем мелькнула черная молния смерти, он увидел высоту и белизну гор. Он однажды взлетел на их вершины, чтобы никогда не сойти оттуда.

6

Рукой юноши написал Лермонтов свой бессмертный «Парус». И почти юношей он упал с пробитым пулей сердцем у подножья горы Машук. До сих пор этот роковой и бесчестный выстрел вызывает дрожь в сердцах. И так будет долго. Люди еще долго будут обращаться не только к поэзии Лермонтова, но и к его имени и судьбе, к его мужеству и смерти. Говорят, по пути к месту дуэли он ел вишни, был спокоен. Так же невозмутимо, говорят, он смотрел на своего противника и выстрелил в воздух. Через мгновение для него уже не было ни гор, ни деревьев, ни травы, ни друзей, ни бабушки любимой, ожидавшей его дома, ни России, ни Кавказа. Ничего и никого. Только тьма и немота. Говорят, он никогда не боялся смерти. Но она пришла и отняла у него все — жизнь и поэзию, все.

Сраженный Лермонтов упал на клочок кавказской земли, дарившей ему красоту, радость, вдохновение. Был поздний летний вечер. Был гром. Была молния. Был ливень. Это горы оплакивали своего лучшего певца. Поэт лежал на траве, мокрой от дождя. Никто не пришел на помощь. Никто не спас. Я только на днях — в который раз! — стоял на том месте, откуда в последний раз он взглянул на мягкое небо Кавказа, на горы, на белизну их снегов, на земную красоту. Теперь на этой лесной поляне у Машука обелиск с барельефом поэта оберегают каменные орлы, сурово повернув назад клювы. Мне кажется, что это укор орлов людям, не сумевшим уберечь и спасти великого юношу. Здесь одиноко умирал один из лучших поэтов на свете. С того рокового вечера прошло больше столетия. А Парус его поэзии все так же белест. Белеют и вершины гор, так сильно и любовно им воспетые.

Я пишу эти строки, видя и белеющие горы, и белеющий Парус. Мне хорошо и горько. Поэты умирают. Поэзия остается. Как хорошо, что она остается. Благословенна память людей! Какое счастье, что убийцы поэтов не могут убить поэзию! Это лишний раз дает возможность уверовать в светлый смысл бытия. Прошло сто двадцать три долгих года, как погиб Лермонтов. А Парус его поэзии все белеет...

Эти заметки — только знак любви к великому поэту, попытка выразить мое восхищение его поэзией. Горцы, воспетые им, не смогут сказать ему о своей благодарности. Я благодарю его за них и за себя. Пусть в день большой годовщины Лермонтова и мое слово ляжет у его памятника зеленым листом чинары. Слова «Кавказ» и «Лермонтов» звучат для меня одинаково прекрасно, мне одинаково сладостно произносить их. Так было всю мою жизнь. Так будет до конца моих дней. Когда в ущельях произносится его имя, мне кажется, что навстречу из гнезд вылетают орлы. Горы полны звуками его имени, как ущелье — шумом ливня. Гул его поэм раздается здесь, как гул лавин. Они сродни. Вывожу эти строки, и мне кажется, будто я успел к месту роковой дуэли через минуту после кровавого выстрела и словно прижался к дымящейся ране на груди поэта, склонился над ним и увидел его еще не закрытые глаза, которым давали так много утешения белые вершины и звездное небо моей родины.

Все враги и убийцы Лермонтова исчезли вместе со своей жалкой злобой. А Парус его поэзии все белеет. Это еще одно подтверждение того, что победа всегда остается за гениальным художником. Утешим себя этим достойным утешением, мой Кавказ! Благоговейно склонимся перед нашим Лермонтовым, словно над павшим героем, как мы умели это делать, и тихо скажем: «Благодарим!» Он победил и врагов и время: бессмертный Парус его поэзии все белеет!..

НАРОДНЫЙ ПОЭТ РОССИИ

О великом поэте Некрасове существует целая литература. Мне же хочется выразить только свое отношение к нему, одному из крупнейших мастеров русского слова, попытаться отметить те черты, которые, по моему мнению, отличают его от других больших поэтов России, остановиться на тех сторонах его творчества, которые, на мой взгляд, сделали его Некрасовым и которые кажутся мне главными.

Быть народным поэтом, художником-гражданином — значит говорить о самом необходимом и насущном для своего времени. Только тогда слово писателя становится как бы равным хлебу. Одним из лучших подтверждений этого стала поэзия Некрасова. Народный поэт России — вот, по-моему, самое точное определение сути его творчества. Он хорошо знал, что художник всегда должен быть на стороне слабых и гонимых, бедных и обездоленных, тех, кто пуждается в его поддержке и защите. Поэтому Некрасов и призывал писателей своего времени стать в ряды бойцов за свободу и лучшую долю для униженных и угнетенных:

За обойденного,
За угнетенного
Стань в их ряды.

Некрасов был верен первой заповеди истинных художников — говорить о самом необходимом и главном для своего времени, что и делает поэта народным, а его поэзию гражданской.

Национальный гений России Пушкин назвал голос поэта эхом народа. Он же писал:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Это было как бы завещанием Пушкина другим поколениям поэтов, заветом, которому Некрасов остался верным до конца своей жизни. И тут возникает важнейший творческий вопрос — вопрос преемственности, традиции и учебы, о которых у нас так часто ищут и спорят. И в этом отношении творчество Некрасова дает нам несравненный урок, его опыт остается поучительным. Разве не удивительно, что дворянин, сын крепостника, отнюдь не отличавшегося добрым отношением к крестьянам, он, порвав путы своего класса, писал такие вот строки, в которых слышится стон и горе родной земли и обездоленного народа:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель.
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овном, под стогом,
Под телегой, почуя в степи...

Мы можем смело сказать, насколько этим не умаляя значения гражданственной поэзии Пушкина и Лермонтова, что до Некрасова не было сказано ничего подобного по широте и силе о горе русского мужика, о бедственном положении народа. Ничего в такой степени и с такой потрясающей реалистической беспощадностью не входило в поэзию. С ним в русскую поэзию пришли мужики в лохмотьях и лаптях. Он пашел небывалые для них образы и ритмы, сказал новое слово. Героями поэзии стали те, для кого доселе были наглухо закрыты ее двери. Разве до него существовало поэтическое произведение, подобное «Кому на Руси жить хорошо?». Нет, не было. То же самое и «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Мороз, Красный нос», «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня» и многие другие. А «Крестьянские дети»? Впервые в поэзии появился «мужичок-с-ноготок» — шестилетний мальчик, уже занятый тяжким крестьянским трудом, смысленный, удивительный, полный обаяния! Нет, до Некрасова

поэзия не знала подобных тем и героев, несмотря на все величие его предшественников.

А чем же тогда выражаются идеи преемственности, традиций учебы, о которых часто мы толкуем неверно, спорим бесплодно? Сказать, что Некрасов не учился у Пушкина и Лермонтова, было бы просто неразумно. Конечно, учился и учитывал великий опыт в полной мере. Но, не копируя, не повторяя открытое и сделанное ими, а обогащая и развивая их традиции, сам стал первооткрывателем. Только так поступают настоящие ученики, достойные продолжатели дела своих учителей, не в пример посредственности, довольствующейся лишь энигопством, повторением достижений предшественников.

Некрасов открыл свой мир поэзии, заговорил языком народа о народе. Он сказал никем до него не сказанное, стал поэтом революционной демократии. В этом его новаторство и величие.

Признавая слово боли и горя, трагическое в искусстве, я не признаю слова, отнимающего надежду у человека. Такое слово я считаю античеловечным и антинародным. Отнимать у человека надежду, отрицать смысл жизни — преступно. И эта важная для творчества истина также подтверждается всей поэзией Некрасова. Поэт не смеет обрубить человеку крылья, а, наоборот, должен стараться помочь ему стать крылатым, дарить надежду и веру даже тогда, когда его слово вынуждено быть горьким и трагическим. И это хорошо знал народный поэт России. Приведу только один пример. Поведав страшную историю, полную жестокой правды, в поэме «Железная дорога», Некрасов все же не расстается с верой в стойкость, мужество и будущее русского народа. Вот его поразительно прозорливые слова:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Без суровой правды нет большого искусства. Без нее не спасает и не спасет никакая техника, никакое мастерство. Высшее мастерство — это сама правда. Без нее работа поэта станет забавой и баловством. На величии истины держатся мир и творчество. И в этом смысле поэзия Некрасова, правдивейшего из поэтов — незаменимый урок для всех

нас. Его правда была беспощадна. Он, как бичом, хлестал стихом угнетателей, он был не только правдив, но и бесстрашен. А это драгоценнейшее качество художника. Ни один серьезный поэт не может миновать уроки и опыт Некрасова.

Истинная поэзия должна потрясать. Более столетия потрясает все новые и новые поколения некрасовская поэзия. Такую силу дали ей, мне думается, те ее черты, о которых я попытался сказать.

А какой он лирик! Мне хочется вспомнить хотя бы его «Тройку». Какой тревогой за судьбу женщины, какой щемящей болью за нее пронизано это опять-таки совершенно новое в русской лирике стихотворение, ставшее народной песней. Эти стихи и сегодня, когда я переписываю их для своего этюда, вызывают у меня слезы, волнуют меня так же, как и современников поэта. Я, горестно сопереживая, повторяю строки, написанные сто двадцать пять лет назад:

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не снешь,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки и сыты и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

Это написал великий лирик, раскрыв мир подлинных самобытных чувств. Такими бывают лишь редкие художники. Это давно решено лучшим и самым беспристрастным судьей — временем. А я лишь стараюсь выразить то волнение, которое вызывает у меня каждый раз чтение Некрасова, книгу которого лучший из нас, ныне работающих в стране поэтов, Твардовский, назвал заветной для себя книгой.

Говоря о традициях Некрасова, мне бы хотелось подчеркнуть, что у него учились не только те современные поэты, которые близко соприкасаются с ним в смысле приемов, языка или словаря. Опыт гения становится уроком для всех. То же случилось и с поэзией Некрасова. Все мы так или иначе учились у него. Нечто подобное в свое время сказал об этом Александр Блок, который многим казался очень далеким от народной боли и гнева. Учиться

у большого художника вовсе не значит быть похожим на него.

Благородное имя Н. А. Некрасова продолжает, не тускнея от времени, сиять среди великих имен русской и мировой поэзии — наших общих учителей. Это краткое слово — дань глубокого уважения к поэзии и памяти народного поэта России.

1970

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФЕТА

Говорят, что Фет был жестоким помещиком-крепостником. Он в своих очерках и статьях даже упрекал власти, считая, что они плохо защищают помещиков и собственность их от крестьян. Тончайший лирик и в то же время суровый крепостник, очень практичный хозяин. Кажется странным, однако так и было. А раз это так, то о реакционности его взглядов на литературу, философию, историю и социальную основу жизни и говорить нечего. Но, несмотря ни на что, он прекрасный поэт, выдающийся лирик, без которого даже такая великая поэзия, как русская, не может обойтись. Как странно было бы, если бы вдруг не стало поэзии Фета. Случись так, то это было бы равно исчезновению одной из больших гор Кавказского хребта. Как же он совмещал в себе практичного помещика-крепостника и замечательного лирика? Это интересует меня.

Тут мне кажется не лишним вспомнить стихотворение Пушкина «Поэт», вернее — его первую строфу:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Пушкин, по-моему, имел в виду то, что никто не может оставаться поэтом ежедневно, ежедневно. Поэт тоже чело-

век и занят житейскими делами, как все люди, исключая часы творческой работы. А все же суть пушкинских строк, по-моему, можно отнести и к Фету. Мы помним и читаем Фета, любим его стихи. Да, мы помним и почитаем Фета. За что же такая честь крепостнику? Только за его поэзию, которая и сегодня остается живой, свежей, трепетной. Что же спасло реакционного литератора-помещика от забвения? Талант, который был самым прекрасным в нем, ценнейшим из всех его богатств, наиболее незаменимым для него благом из всего, что он имел. Можно ли допускать, что сам поэт не знал этого? Нет, думаю, что наоборот. Он был умел и не мог не понимать значения своего дарования, того, что именно оно являлось самым долговечным из всех благ, отпущенных ему жизнью. Ведь Лев Толстой считал Фета умнейшим человеком.

Да, крепостника спас от забвения дар поэта. Так случилось не с одним только Фетом. История мировой литературы отмечена подобными фактами. Боже мой, какие чудные стихи оставил после себя людям этот бородатый человек-помещик, практичный хозяин! Нет, это сделал не помещик Афанасий Афанасьевич Шеншин, а поэт Афанасий Фет. Это были разные люди под одной оболочкой. Мы знаем и почитаем не помещика Шеншина, а чудесного лирика Фета. А разве мы чтим в Гете веймарского министра, который, кстати сказать, унижительно долго ждал в передней, добиваясь приема у Наполеона, чего Бетховен, например, не позволил бы себе никогда? Нет, мы почитаем поэта Вольфганга Гете, оставившего миру свою бессмертную лирику, «Фауста» и «Эгмонта».

Многих художников, даже независимо от их мировоззрения, талант спасал от забвения. О, как он драгоценен! Оказывается, даже у очень крупных талантов взгляды на жизнь не всегда бывают, как говорится, прогрессивными. И Фет один из них.

Когда я юношей стал читать Фета, помню, какое сильное впечатление произвело на меня одно его маленькое стихотворение, которое с тех пор я знаю наизусть. Сколько раз за свою жизнь я повторял его! У Фета, наверно, есть стихи глубже и лучше. Но это очень дорого мне. Вот оно:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна.

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокый бег.

Это я, без колебаний, могу назвать шедевром. Его написал двадцатидвухлетний поэт. Стихотворение, по моему мнению, удивительно прежде всего тем, что в нем точнейшими и скупыми средствами создана совершенная картина русской зимы, зимней степи. Здесь совсем мало слов и много прелести, нет рассуждений и много поэзии.

Фет не только в одном раннем маленьком шедевре так экономно и скупно использовал слово и образ. Нам есть чему учиться у него. Он — выдающийся лирик, один из лучших мастеров короткого стихотворения. Его лирика остается похожей на неувядающее дерево. Потому-то и я, увлекшись, начал писать эти заметки без чьей-нибудь просьбы, просто так — для своего удовольствия. Да, читать таких поэтов, как Фет, стоит — это одно наслаждение, и учиться у таких мастеров стоит — они научат многому. Фет из семьи истинных художников. Я причисляю себя к тем литераторам, которые считают пугным и полезным уметь видеть главное и лучшее в каждом мастере прошлого и учиться, а не думать, что самый крупный мастер это ты сам.

Вернемся к маленькому шедевр Фета. Подумали ли вы о том, какую обширную картину он набросал несколькими строчками? Тут и степная равнина, и луна над ее белизной, и блеск снега. А как хорошо и верно вот это: «И саней далеких одинокый бег». Такая вещь могла быть написана только в России и только русским поэтом. Это типичная российская картина, точно замеченная, выражение любви русского поэта к своей заснеженной земле, к ее неповторимому своеобразию и красоте. Без большой любви невозможно рождение таких стихов. Кажется, что в картину, нарисованную восьмью строчками, поэту удалось вместить всю свою великую землю. Такое по плечу только очень крупным художникам. Да, конечно, созданиям такого мастера суждена долгая жизнь. Помещичьи усадьбы, судьба которых тревожила Фета, давно перестали существовать, а его изумительная лирика, полная правды человеческой души и красоты родной земли, продолжает жить и сегодня, по-настоящему волнуя и радуя людей. В этом сила большого искусства.

В стихотворении «Муза» Фет очень ясно сказал о сути собственной поэзии, определил те задачи, которые ставил перед собой как художник. Вот что он писал:

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

Каждый, кто интересовался Фетом, знает, что поэт отрицал социальную значимость искусства, а также не верил в возможность улучшить существование людей, их жизнь через социальные перемены. Он был уверен в извечности человеческих страданий, став приверженцем философии Шопенгауэра. Все это так. Но невозможно отрицать и того, что «звать к высокому наслаждению и к человеческому счастью» поэзии никогда не будет возбраняться.

И в этом Фет достиг больших высот, стал одним из крупнейших лириков России и мира. Творчеству социально значительных, демократических поэтов он противопоставлял «безумную прихоть певца». Это всем известно. И я в моих беглых заметках не ставлю себе задачей заниматься выяснением социально-политических и философских корней поэзии Фета. Мне просто хотелось очень коротко сказать о его мастерстве. В любом из художников нельзя искать того, что в нем не могло быть, на что он не был способен по своей природе. Каждый творец хорош именно своей индивидуальностью. Надо только уметь находить в нем главное, лучшее.

2

Русская поэзия с самого начала своего расцвета с проникновенной любовью к отчей земле воплощала образы родной природы, которая бесподобно воспета поэтами от Пушкина до Есенина, от Некрасова до Твардовского. Ее волшебным певцом был и Фет. Глазами редкого художника он видит рассвет, сумерки, утро, ночь, дождь, снег, весну, лето, осень, зиму и умеет точнейшими образами выразить их, передать словами и закрепить как бы впервые замеченные и увиденные человеческим глазом оттенки до него никем не использованными средствами. Слова его очень часто кажутся впервые сказанными. В этом неуывадающая свежесть, оригинальность и сила стихов Фета о природе. Вот один из множества примеров:

Я люблю игру денницы
И замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

Последние две строчки этой строфы и являются впервые сказанными в поэзии, ставшими поэтическим открытием. Таких открытий у Фета чрезвычайно много. Это и сделало его прекрасным поэтом, одним из оригинальных мастеров. Мне хочется целиком привести его совершенный, на мой взгляд, шедевр «Еще майская ночь»:

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор,
Они дрожат. Так деве повобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и безтелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

Все стихотворение пронизано весенним светом, пленяет мастерски переданными деталями весны на русской земле. Как сказано о звездах, которые дороги всем живущим: «Тепло и кротко в душу смотрят вновь!» Как это хорошо, свежо и оригинально. О звездах поэт говорит, что они теплые. А какое замечательное сочетание: «Разносятся тревога и любовь». В том же ряду и «застенчиво манит», и «невольной песней». Фет также заметил дрожание зеленых листьев майской ночью. А как здорово вот это: «вылетает май!»

У Фета поразительно зоркие глаза. Вот что он увидел в вечерней степи:

Клубятся тучи в блеске алом,
Хотят в росе понежиться поля,
В последний раз, за третьим перевалом,
Пропал ямщик, звеня и не пыля.

Остановите свое внимание на «звения и не пыля». Это так хорошо найдено и замечено, что тоже кажется впервые сказанным. Или:

Вот жук взлетел и прожужжал сердито,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом.

А еще:

Луна чиста. Вот с неба звезды глянут
И, как река, засветит Млечный Путь.

«Луна чиста». Надо же найти такое! А «не шевеля крылом», «и, как река, засветит Млечный Путь»? О жуке сказано: «прожужжал сердито». Все это, как и многое в его поэзии, блестящие открытия Фета, жемчужины и шедевры великой русской лирики, волшебное явление в ее волшебном мире. Тут необходимо подчеркнуть одну характерную черту истинных художников, свойственную и Фету, — оригинальность без оригинальничания. Для него оригинальность — подобно собственному дыханию, также естественна, как и то, что он ест, пьет и смотрит на снег или дождь, видит поле и облака над ними.

3

Фет не только поэт природы, хотя я и начал свой этюд с этого. Он также чудесно выразил в своей лирике человеческую душу, ее радость и боль, страдания и надежды, человека, его любовь, стремление к совершенству, тягу к прекрасному, счастье молодости и горе старости. При всем этом в его поэзии много света, весенних мотивов, хотя хватает и осенних, как у всякого большого художника. Жизнь остается жизнью. Поэт не может не думать о горечи, о краткости существования человека на свете. Лирика Фета полна добрых чувств и сердечной нежности. Вспомним одно из самых известных его стихотворений. Грешно было бы не процитировать его целиком:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
 Как вчера пришел я снова,
 Что душа все так же счастью
 И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
 На меня весельем вест,
 Что не знаю сам, что буду
 Петь,— но только песня зреет.

Эта такая жемчужина лирики, что разбирать ее, прибегнув к помощи холодного рассудка,— кажется непозволительным шагом. Сколько тут доброты, радости, любви к женщине, к жизни, сердечности. И все это высказано так изумительно поэтично, что, прочитав ее, просто немеешь. В ней опять находки, доступные только редким талантам. Смотрите, как сказано о лесе: «Весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепелся». А какой удивительной, как вздох человеческого сердца и шелест зеленой ветки, строкой начинается это лирическое чудо. «Я пришел к тебе с приветом...» Я уверен в том, что это одно из самых удивительных созданий мировой лирики. А оно написано Фетом, когда ему было всего двадцать три года!

Фет бывал не только тонким и изящным, но и очень глубоким поэтом, поднимавшимся до трагических высот, до тютчевской пронзительности мысли. Иначе и не могло быть с художником такого огромного дарования. В связи со сказанным хочется полностью процитировать одно из глубочайших, на мой взгляд, его стихотворений — «Старые письма».

Давно забытые под легким слоем пыли,
 Черты заветные, вы вновь передо мной,
 И в час душевных мук мгновенно воскресили
 Все, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнем стыда, опять встречают взоры
 Одну доверчивость, надежду и любовь,
 И задушевных слов поблекшие узеры
 От сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осужден, свидетели немые
 Вспы души моей и сумрачной зимы.
 Вы те же, светлые, святые, молодые,
 Как в тот ужасный час, когда прощались мы.

А я доверился предательскому звуку —
 Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!
 Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку,

Я осудил себя на вечную разлуку
 И с холодом в груди пустился в дальний путь.
 Зачем же с прежнею улыбкой умиления
 Шептать мне о любви, глядеть в мои глаза?
 Души не воскресит и голос всепрощенья,
 Не смоет этих строк и жгучая слеза.

Если бы даже нам было известно только одно это стихотворение Фета, и тогда мы имели бы право считать его крупнейшим поэтом, первоклассным художником. В этой маленькой трагедии боль и раскаяния души, воспоминания и сожаления о легкомысленно отвергнутой когда-то любви, о невозможности вернуть ее.

Все это сказано с такой художественной силой, искренностью, такой беспощадной к себе откровенностью, в такой безупречной форме, что и это стихотворение становится потрясающим душу человеческим документом, жемчужиной поэзии. Маленькой миннатурой разрешена тема большой трагедии. Краткость, лаконизм и выразительность Фета прекрасны. Они присущи всей его поэзии. Порой этот мелодичный поэт становится сурово-афористичным. Вот как завершается его стихотворение, обращенное к Шиллеру:

С тех пор у моря света вечно
 Твой голос все к себе зовет,
 Что в человеке человечно
 И что в бессмертном не умрет.

В этой связи вспомним еще знаменитую надпись на книге стихов Тютчева. Вот ее заключительная строфа:

Но муза, правду соблюдая,
 Глядит — и на весах у ней
 Вот эта книжка небольшая
 Томов премногих тяжелей.

Это замечательно своей афористичной точностью и выразительностью.

4

Выше мы говорили о непосредственности лирики Фета. Вообще это свойство поэзии мне лично кажется незаменимым. Для подтверждения сказанного приведу только две строчки:

Как ярко полная луна
 Посеребрила эту крышу!

Это так просто, раскованно и непосредственно, что кажется сказанным Есениным. Образы в лирике Фета, их неожиданность, подобная внезапно грянувшему дождю или раскрывшемуся на заре цветку, оригинальность сравнений, сопоставлений и сейчас вызывают радость, дают эстетическое наслаждение. В этом мы легко убедимся, обратившись хотя бы к одному из его коротеньких стихотворений — «У камина»:

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный бьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек.

Видений пестрых вереница
Влечет, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из непла серого глядят.

Встанет ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

Это стихотворение — совершенство своей глубиной и образностью. Как неожиданно и замечательно, например, сравнение вьющегося огонька с мотыльком, который «плещет на багряном маке»! Притом крыло мотылька Фет называет лазурным. Такие стихи в моем толковании и разборе, конечно, не нуждаются. Мне словко, что я, хотя и невольно, но занялся этим. Подобные жемчужины даже цитировать — радость и наслаждение. Прежде чем закончить разговор о красоте, совершенстве и могуществе лирики Фета, вспомним еще две знаменитые его строчки, пропязанные светом доброты и душевной щедрости. Такие стихи могут быть сказаны только на рассвете, их могут породить только нежность влюбленного сердца и самоотверженная любовь:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...

Счастливые строки! Они так просты и прекрасны, как есенинское:

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!

Такие песни поют, паверное, птицы первому дню весны, первой траве и первой зелени листьев. Их весенние песни слагались бы именно из таких слов, если бы птицам требовались слова.

Перечитав Фета в эти дни, я снова удивился его таланту, редкому и подлинному. У него был не только зоркий глаз, но и чуткое ухо. Он своей лирикой закрепил все дорогое ему в родной природе, глубоко выразил человеческую душу, ее тончайшие переживания и все оттенки чувств. Иногда даже кажется, что его лирика, как музыка, выразила невыразимое словом. В ней заключена прелесть русской речи и ее неповторимых звуков, вобравших в себя шелест дождя на ветвях березы, шуршание созревшего колоса и зеленой травы. Поэтому мне было так хорошо, когда я выводил эти скромные строки, не претендующие ни на что, кроме любви к поэзии Фета.

Перечитывая замечательного мастера, я все время думал о том, как богата и прекрасна русская лирика, как сказочно ее чародейство, какое это волшебное явление культуры человечества!

Литературоведы обычно говорят о Фете более чем сдержанно. В лучшем случае, назовут его выдающимся русским лириком девятнадцатого века. Может быть, есть причины, заставляющие их быть сдержанными. А возможно, я воспринимаю его чрезмерно восторженно и преувеличиваю его значение? Не думаю.

Могу только сказать: в эти дни мне пришлось еще раз убедиться в том, что Афанасий Фет самостоятельное и выдающееся явление в мировой поэзии, гениальный художник, великий лирик.

ОГОНЕК В ТУМАНЕ

Даже маленький огонек, мерцающий в тумане, — радость, когда твой путь тяжел, а сам ты устал и валишься с ног. Мне это не раз приходилось испытывать. Я знаю, как радуется светлячок, горящий под деревом, в траве, когда темно вокруг и нет ни огня перед тобой, ни звезды над тобой. А светлячок горит тебе на радость, и ты благодарен ему, как свету надежды. Человеку каждый час должно что-то светить — огонь очага, звезда над дорогой, лицо и глаза матери или любимой женщины; улыбка ребенка, песня или стих, хорошие воспоминания, свет доброй цели или надежды. Да, человеку что-то постоянно должно светить. Иначе жить невозможно.

Это было в первые дни Отечественной войны. Нас, группу парашютистов-десантников, послали в разведку. Рожь, терпеливо выращенная латышскими крестьянами, была такой высокой, что в ней никто не увидел бы даже всадника. Так мне казалось. А немецкие пулеметчики и снайперы видели нас. Из нашей группы живыми вернулись к своим только я и еще один сержант. Да и его, тяжело раненного, я ползком вынес на спине. В тот день впервые в жизни мне привелось испытать такое большое горе — видеть гибель сразу нескольких моих товарищей, проводивших со мной много дней, деливших трудности нелегкой службы военных парашютистов. В те дни не в книгах и кино, а наяву я увидел жуткий лик войны. Наши бойцы отважно бросались в бой, не щадя своей жизни, сражались, погибали, как

храбрецы и герои. Но превосходство в силе и удача тогда оказались на стороне врага. Советские войска, к нашему несчастью, отступали. Ах, какое это было горькое горе! Нас душила обида. Наши части, отчаянно сражаясь, отступали. А в высокой ржи, мокрой от дождя и крови, оставались мои мертвые товарищи, молодые, светловолосые, черповолосые, красивые! У них в глазах, оставшихся неприкрытыми, отражалось небо в облаках и наше горе. Да, в те дни я впервые увидел, как могут быть велики у людей боль и страдания!..

Теперь это может показаться приснившимся, но я рассказываю о случившемся на самом деле. Я полз во ржи в сторону своих, неся на спине раненого товарища. Мне надо было проползти за высокие кучи дров возле домиков. Я упорно и мучительно полз. Шел дождь. Земля была мокрая. В эти минуты, как это ни странно, мне на память пришла песня. Неожиданно зажегся свет, связавший меня с жизнью, как огонек в тумане, как светлячок под деревом, как звезда над полем. Продолжая ползти с короткими передышками, под пулями снайперов и пулеметчиков, сидевших на колокольне церкви, я стал повторять вот эти слова:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

Для меня было неважно, все ли слова «Песни цыганки» вспомнились мне в тот тяжкий час, но она оказалась со мной, как и в мои счастливые дни, казавшиеся теперь такими далекими и невозвратными. Важно было, что огонек в тумане и свет надежды уже горели для меня, как светлячок в траве и звезда над дорогой.

Кто может объяснить, почему именно эта песня пришла мне на память в минуты смертельной опасности? Нет, никто этого не сможет сделать. Да и зачем? Я не раз пел эту песню своим товарищам и девушкам в мои веселые и счастливые дни, и она пришла мне на помощь в мой горестный час, как надежда и неистребимая сила жизни, чтобы я не думал, что все уже кончено и нет жизни на свете. Я был благодарен прекрасной песне и тому, кто ее сложил. Мы с сержантом и песня добрались до своих живыми. Жив ли теперь тот белокурый парень, которого я вынес, мне неизвестно, но хорошо знаю, что «Песня цыганки» жива, и, наконец, многим она приходила с тех пор на помощь в трудный час, освещая их души своим добрым светом. Она

и после меня долго будет жить, радуя и утешая людей, как меня тогда — летом 1941 года в высокой и мокрой ржи, **выращенной** терпеливыми руками латышских крестьян и растоптанной, погубленной войной. Какой прекрасной была эта рожь! И там остались мои товарищи, навсегда остались! Никто из них не вернулся к матери, отцу или жене с ребенком!.. Ах, как горьки были те дни! Их может понять только тот, кто сам пережил их. Да, многие мои товарищи сгорели в огне тех дней. У многих из них ни могилы, ни имени — ничего!.. Не то чтобы я больше других хотел или умел спасти себя, нет, просто мне не суждено было сгореть вместе с теми бескорыстными храбрецами, навеки оставшимися молодыми в моей памяти. Хотя перед ними нет у меня ни малейшей вины, но все же я чувствую себя виноватым. Нет, я неправ, мы не подвели своих павших товарищей, общими усилиями, страданиями и мужеством спасли Родину, за которую они отдали свои молодые жизни. Это остается высшим утешением и оправданием гибели всех наших незабвенных друзей.

И после войны в мои горькие дни, которых было достаточно и без сражений на поле боя, песня, ставшая для меня дорогой и близкой, не раз приходила мне на помощь, и моей душе становилось опять теплей и легче, песня как бы забирала себе часть моей боли, дарила радость и утешение. И опять горел огонек в тумане, звезда над дорогой, светлячок в траве, свет надежды в душе. Каждый раз я думал: счастлив человек, сумевший создать такую песню. Он оставил людям бесценный дар, сделал им большое благо. Если бы Яков Петрович Полонский ничего больше и не написал, и тогда он оказался бы настоящим поэтом, имел бы право на благодарность людей и уважение потомков. Тот час, когда родилось это стихотворение, был счастливым часом поэта. Интересно, знал ли тогда Полонский, что он создал нечто замечательное? Едва ли. Да это и неважно. Важно другое — поэт написал стихи, которые, надолго пережив его, стали песней, остались с людьми и до сих пор служат им. Не это ли является высокой целью и счастливой участью для художника?

Недаром великий лирик Александр Блок любил Полонского. Оказывается, самым главным в творческой судьбе художника являются не школа и направление. Ведь Полонский входил в число тех поэтов своего времени, которые знаменем для себя, как приято считать, сделали

лозунг «искусство — для искусства», он был приверженцем так называемой «чистой поэзии», как и Блок, — символистом. Все это так. Но истинное дарование всегда шире и выше литературных школ и направлений, которые чаще всего возникают искусственно. Вспомним хотя бы имажинизм и Сергея Есенина, временно примкнувшего к этому формальному течению в поэзии. Яков Полонский написал не только одну «Песню цыганки». В его наследии есть и другие замечательные стихи, живущие до сих пор, не потеряв своей свежести. Могу назвать «Пришли и стали тени ночи...», «Затворница», «Качка в бурю», «Ночь», «Колокольчик». Но мне особенно нравится стихотворение «Дорога». Хочется целиком процитировать его, чтобы еще раз уверить себя в том, каким талантливым лириком был Яков Полонский.

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как копы не бегут, мне кажется лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж:
Все степь да степь, за нивой снова нива...
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
«Про черный день мы песню бережем».
— Чему ж ты рад? — «Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром».

И вижу я — навстречу деревушка;
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды... Знакомая лачужка!
Жива ль она? Здорова ли с тех пор?..

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

— Ну-ну, живей! Долга моя дорога;
Сырая почь — ни хаты, ни огня...
Ямщик поет. В душе опять тревога...
Про черный день нет песни у меня!..

Мне хочется подчеркнуть, что лучшие стихи Полонского, несмотря на то что специалисты называют его второстепенным поэтом, обрели долгую жизнь, были любимы

читателями и высоко ценились такими крупными поэтами, как Блок, потому что они, при значительной культуре, непосредственны, искренны, естественны, то есть им присущи те качества, которые делают лирику лирикой и близкой человеческому сердцу. Иначе бы «Песня цыганки» не вспомнилась мне в один из самых драматических моих дней на войне. Умение сочинять стихи, даже самое ловкое, не создает таких вещей. Это нечто другое.

Каждый из талантливых художников, работавших до нас, остается в той или иной степени нашим учителем, в той или иной мере обязательно помог каждому из нас. Только потому я и решил написать о Полонском — русском лирике прошлого века. Слабо одаренный человек не мог создать «Песни цыганки». Нельзя умалять значение таких поэтов в развитии и истории поэзии. Мы обязаны относиться с уважением и благодарностью к каждому из тех художников, которые сумели оставить нам хотя бы одно произведение, равное «Песне цыганки». Думаю, что Яков Полонский сыграл свою роль в истории русской лирики и заслужил признательность тех, кому нужна и дорога поэзия. Литература создается общими усилиями людей разной степени дарования, а не только одними могущественными талантами.

Стихотворение «Песня цыганки», сыгравшее в моей жизни значительную роль, — простое, незатейливое, написано по законам лирической поэзии, оно неподдельно и непосредственно. Таким бывает только настоящее. Короче говоря, это произведение искусства. Я люблю это стихотворение старого мастера, кажущееся мне шедевром, и многим обязан ему. Поэтому хочу переписать его целиком и прочесть вместе с читателями моих заметок.

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и сюзаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни!
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни неть, играя,
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Благодарю тебя, горячая и добрая песня. Ты — ласточка в полете, багровение цветка, дрожание листа на березе, звон ручья на заре. Оттого-то и поэзия ты, и каждый день кому-нибудь светишь. Живи, радуя людей, как меня, помогая им, утешая их в боли, украшая праздники и торжества. Пусть поет тебя побольше счастливых людей! А тем, кому снова будет трудно, свети, как огонек в тумане, звезда над пашней, светлячок в траве, свет надежды в душе! Я знаю, ты долго будешь жить, не ведая старости. Такова участь настоящих песен. Счастлив поэт, сумевший сложить хоть одну такую, как ты, песню. Час твоего рождения был его звездным часом. Спасибо ему. Свое сердце он оставил людям.

УРОКИ ТЮТЧЕВА

1

С тех пор как я стал читать русских поэтов, люблю Тютчева. С годами многое менялось в моем отношении к целому ряду крупных художников, а любовь к нему до сих пор остается неизменной. И сел я за этот небольшой этюд о нем не с целью разъяснять читателям поэзию гениального лирика. Это не раз делалось. Мне хочется сказать только о своем восприятии творчества поэта, с которым я не расставался всю жизнь, получая большую радость от его нестареющего искусства. Его уроки имели для меня серьезнейшее значение. Чем труднее бывало в жизни, тем ближе и дороже становились мне его стихи. В них я находил и пахоту редкую глубину, силу и энергию, вижу, как совершенна его лирика. Для меня он был так же необходим, как Пушкин, Лермонтов, Чехов и великий национальный поэт балкарцев Мечнев. Кстати сказать, последний по лакопизму своему близок Тютчеву. Эти заметки — всего лишь попытка выразить признательность одному из чародеев русского стиха.

Уезжая на фронт, в числе немногих книг самых любимых поэтов, я взял с собой и томик Тютчева. В те годы его избранную лирику я знал наизусть. Тютчевские шедевры я читал солдатам в окопах, раненым в госпиталях, читал везде, где мне приходилось бывать в военное время. Какие милые и красивые девушки слушали эти стихи в моем чтении! Я бывал счастлив и в несчастливые дни. В наших бедствиях Тютчев занимал одно из первых мест наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Есениным.

В 1941 году фашистские войска, прорвав Брянский фронт, заняли город Орел. В те дни воздушно-десантный корпус, в котором я служил, высадился в районе Орла. И тогда томик Тютчева оставался со мной. Он был при мне и в те дни, когда через год с лишним я приехал на Сталинградский фронт. С этой книгой я расстался только осенью 1943 года на Четвертом Украинском фронте. Ее унес кто-то из моих знакомых и не возвратил. Мне было так больно, будто я потерял друга, делившего со мной все тяготы войны, ставшего для меня источником энергии, мужества, мудрости и утешения в беде, когда мы ежедневно смотрели в лицо смерти.

Плохо остаться без Тютчева. К моей радости, подвернулся случай — одна из моих знакомых военных женщин, образованная и знающая литературу, собралась ехать в Москву на несколько дней. Она сказала, что дома у них должен быть Тютчев. Я попросил привезти книгу. Так оказались у меня три книжки Тютчева, изданные до революции в приложении к журналу «Нива». Я очень обрадовался, хотя по-прежнему жалел о пропавшем томике.

Почему этот старый мастер был так дорог мне на небывалой войне, в дни, так непохожие на тютчевские времена? Тютчев ведь сказал:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Речь идет о непреходящей силе искусства. Мир внешне меняется, один общественный строй заменяет другой, орудия производства обновляются, наука делает удивительные открытия, достижения техники оказываются поразительными. А вот сущность человеческих переживаний, радость, боль, мужество, страдания человека, закрепленные большой поэзией, надолго остаются для людей живыми, как бы став их собственными чувствами и переживаниями. В годы последней мировой войны сеяло смерть такое грозное оружие, которое не могло и сниться даже умнейшему Тютчеву. Несмотря на это, старые стихи одного из глубочайших русских лириков были дороги мне в «минуты роковые». Это большой урок поколениям поэтов, преподанный Тютчевым, как и другими художниками его ранга, урок верности правде жизни. Это значит — писать так, как чувствуешь, как дышишь, без оглядки, не щадя себя. Думаю, что

крупный талант иначе и не может. В противном случае для него будет не подходящим высотный воздух большого искусства.

Тютчев поэт далеко не бодрый и не жизнерадостный, если к этим человеческим и художественным свойствам подходить примитивно. Он драматичен и трагичен. Каким же образом он вселял в меня мужество и энергию в труднейшие дни и годы моей жизни? Вот один из главных, по моему мнению, вопросов, когда речь идет об этом очень горьком во многом поэте. У трагического Лермонтова мы найдем сильных духом героев. Достаточно вспомнить купца Калашникова, Мцыри, мятежного Демона, осмелившегося восстать против самого небесного владыки. У Тютчева нет таких героев — он остался лириком и поэм не писал. Но он сам крупный человек, беспощадно правдиво выражавший в лирике свои глубокие чувства, серьезнейшие переживания, горе и страдания человека. Дело в том, что все истинно трагическое в большом искусстве несет людям не уныние, не отказ от жизни и борьбы за все лучшее, а вселяет энергию, мудрость и мужество. Это я испытал на самом себе, читая и перечитывая Тютчева и других трагических поэтов в самые тяжелые для меня дни, когда я больше всего нуждался в мужестве и стойкости. Трагическое в поэзии действует на нас своей неподдельностью и суровой правдивостью, открывая нам глаза на многие нешуточные стороны жизни, возвышая, закаляя нас и наши чувства, придавая зрелость нашим взглядам на жизнь. Оно учит мужественно смотреть в лицо горестей и потрясений. Трагическое в искусстве всегда рядом с героическим. В оптимизме трагедии заключена великая сила. С ней разве сравниться мелкому и глупому бодрчеству?

2

Сказанным я вовсе не собираюсь отрицать значение жизнерадостного искусства. Мне ведомо, что для человека нет ничего лучшего, чем радость. Но в данном случае речь идет о другом — месте и значении трагического в поэзии. Я уверен в том, что людям одинаково пужны светлые и горькие песни. Такова жизнь. В ней есть не только счастье молодости, но и горе старости, не только радость победы, но и боль поражения. Заблуждаются те, которые полагают, будто трагическая поэзия не является поддерж-

кой и опорой человеку в его чаще всего трудной жизни. Это неверное мнение опровергается и лирикой Тютчева. Я веду разговор не об унылых жалобах, а о высокой трагедии и ее правдивой мощи, когда человек видит себя человеком в наиболее полном значении слова. Истинная поэзия в любых случаях остается явлением праздничным, ибо она — выражение всего прекрасного, живой голос самой жизни. Она остается необыкновенной, если даже говорит самыми обыкновенными словами о самых обыкновенных вещах. Без трагических поворотов, без горя, без смерти и гибели героев жизни и победы не бывает. Такова жизнь. Поэтому поэзия не вправе отказаться от трагического, и думаю, что не откажется никогда.

По существу каждая из лучших миниатюр Тютчева — это маленькая трагедия с огромным содержанием. Возьмем любое из этих стихотворений; прочитаем запово и легко убедимся в верности сказанного:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
 О, как их блеск меня тревожит!
 Жизнь, как подстреленная птица,
 Подняться хочет и не может..
 Нет ни полета, ни размаху —
 Висят поломанные крылья,
 И вся она, прижавшись к праху,
 Дрожит от боли и бессилья...

Когда я приехал в белый город у Средиземного моря — Ниццу, первое, что пришло мне на память, были, конечно, эти стихи русского мастера. Я смотрел на синий простор моря, на белые Альпы, выраставшие из-за зеленых холмов, и снова, как в годы войны где-нибудь в Донбассе или у Сиваша, повторял пронзительные строки своего любимого Тютчева. Я еще в молодости, кажется, понимал, что каждая тютчевская миниатюра является маленькой законченной трагедией и совершенным произведением искусства, а теперь еще больше утвердился в этом мнении. Иначе не может думать тот, кто знает такие вот, к примеру, стихи удивительного поэта:

Вот бреду я вдоль больной дороги
 В тихом свете гаснущего дня..
 Тяжело мне, замирают ноги..
 Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
 Улетел последний отблеск дня..

Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня..
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Вот вам большая трагедия человеческой души, которую гениальный художник сумел выразить двенадцатью строчками! Тут мы, как мне кажется, подошли к одной из важнейших сторон тютчевской поэзии и мастерства — это его замечательная краткость, дающая стихам особую выразительность. Кто-то из поэтов сказал, что самые лучшие стихи — это самые короткие. Мы, разумеется, понимаем, что стихотворение плохим может быть и независимо от количества строк, но все же в настоящих стихах краткость имеет большое преимущество. Чем меньше слов, тем произведение выразительнее. И в этом отношении Тютчев остается для поэтов одним из лучших учителей в мировой поэзии. А в русской я, например, не знаю мастера, который мог бы в этом отношении состязаться с ним. Могучи и несбыточно выразительны его миниатюры, полные мысли и пропитанные глубочайшим чувством. Глубина и мощная образность — вот где сила Тютчева. И это при предельной сжатости, небывалой до него в русской поэзии, несмотря на все ее величие и волшебство. И тут его уроки весьма значительны. Притом, мне кажется, нельзя садиться специально писать длинные или короткие стихи. Это зависит от характера дарования и мастерства. Но учиться все равно полезно.

Возвращаясь к вопросу трагического, мне еще хочется подчеркнуть: трагедия не имеет ничего общего с пессимистическим отношением к бытию, то есть — отрицанию смысла жизни и борьбы за нее. Героем трагедии бывает только крупный человек, как Отелло или Акроста. Гибель героя не является его поражением. Он погибает во имя торжества лучшего. Это также не позволяет трагическому произведению искусства быть пессимистическим. Лирический герой тютчевской поэзии тоже очень крупная личность — сам Тютчев. Трагедия не обезоруживает человека, а вооружает, становясь призывом к бесстрашию в борьбе против всего низкого, жестокого и несправедливого. Поэтому трагическое искусство является героическим. Глубина таких созданий поэзии, освещенных светом совести и му-

жества, несравненна, они каждый раз говорят о человеческом в самом человеке.

Поэзия Тютчева полна драматизма и тревоги за жизнь человечества, чувства ответственности за все происходящее на земле. Да, его муза не знала беспечных песен. Замечательный поэт дышал высоким воздухом драмы и трагедии. И в то же время его песнь совсем не мрачна и зовет нас не к бездне, а на высоты жизни. Таково большое искусство. Оно при любой тональности и окраске всегда остается источником энергии, мужества и мудрости, чего не скажешь о дешевом, трусливом и бессильном бодрячестве. Эти уроки, наряду с другими могучими художниками, преподал нам и Тютчев. Они непреходящи в нашей культуре. Люди, читающие стихи и чувствующие их, всегда будут наслаждаться шедеврами одного из крупнейших лириков мира. Каждая из его замечательных миниатюр — это открытие, доступное только гению. Если бы мы стали цитировать все его жемчужины, то пришлось бы переписать по крайней мере больше половины тютчевских стихов. Возьмем первые пришедшие на память строки:

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод...

Остановите внимание на второй строке и особенно на сравнении «как дым», и вы ощутите образную силу тютчевских стихов, неожиданность и точность его сопоставлений и уподоблений, могучую и неповторимую их метафоричность, мощь его мастерства. Мне кажется, что он и не думал о мастерстве, а овладел им одновременно с приобретением большой культуры. Могущество необыкновенного дарования привело и к редкому мастерству. Вот редкое явление: такой большой поэт иронически относился к своим стихам и особого значения им не придавал, ни о какой известности и славе не думал. Его больше всего интересовали вопросы будущего славянства и мировая политика.

Еще позволю себе привести несколько примеров, свидетельствующих о высоте тютчевского мастерства, о неотразимости и неповторимости его образов и находок:

И солнце медлило, прощаясь,
С холмом и замком, и с тобой...

Прелестны эта подробность и это перечисление, когда солнце прощается с землей, уходя на закат. Надо же было

найти такое! Как ни велики Пушкин, Лермонтов, Некрасов, но все равно Тютчев в родной поэзии выситя прекрасной самостоятельной горой, не похожей ни на какую другую. Если каждый из его великих собратьев — Эльбрус, то он — Казбек. Вот еще две строки, дающие нам возможность ощутить силу замечательной образности и глубины тютчевской лирики:

Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно...

В свой горький час поэт-человек сказал горчайшие слова. Да, горчайшие, но и могучие. Каким зорким художником он был, как хорошо видел все происходящее в природе, как тонко и самобытно закреплял их в чародейных стихах! Возьмем вот это коротенькое стихотворение:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.

Таким малым количеством слов поэт сумел создать поразительную картину осени, точно выразил ее облик, душу и сущность. Трудно себе представить что-нибудь лучшее об осени во всем мировом искусстве, таком безмерно богатым гениями. Эти стихи остаются на одном уровне с самыми лучшими созданиями поэзии человечества. Подумать только! — как удивительно сказано: «бодрый серп», «паутины тонкий волос», «на праздной борозде», «пустеет воздух»! А как обворожительны две заключительные строки:

И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

А вот еще одно чародейное четверостишие:

Лениво дышит полдень мгlistый,
Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

Тут не только не надобны, но и бессмысленны мои попытки толковать и разъяснять очарование таких созданий гения. Эти стихи настоящее чудо. И я немею перед таким чудом.

3

А какой прекрасный гимн весне спел Тютчев. Его «Весеннюю грозу» знают все с детства. Но все равно давайте снова прочитаем ее вместе и лишний раз порадуем себя редким созданием поэзии.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце впити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Эти заметки пишутся весной, когда снова цветет абрикос, как при Тютчеве, и вновь молод свет, первоначально прекрасен зеленый мир, на который поэт смотрел своими зоркими глазами. Весне с ее зелеными деревьями, травой, цветами я снова повторяю чудные тютчевские стихи, будто сам когда-то сказал их земной красоте. И еще полнее становится моя радость, рожденная весенним теплом и светом. Тютчев никому не уступает в зоркости видения природы, в умении сильно и толко выразить ее явления. Он ведь писал:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Трудно назвать поэта более слитого с природой, более проникновенно ее чувствующего, чем Тютчев. Вспомним такие его шедевры, как «Весенние воды», «Летний вечер», «Осенний вечер», «Вечер», «Зима недаром злится...» и многие другие стихи, написанные рукою гениального художника, совершеннейшего мастера. Каждое из этих стихотворений до сих пор дает нам громадную радость и наслаждение.

Мощь поэтических образов Тютчева и впрямь удивительна. Сошлюсь только на один пример. Вот строфа из стихотворения «Наполеон»:

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе орлы носились,
В его груди — змьи вились.

Обратите внимание на две последние строки, на их могучую образность, выразительность и энергию. Эта сила большого искусства и создает праздничность поэзии Тютчева при его драматизме и трагедийности.

Мне хочется остановиться еще на одной черте его поэзии, кажущейся мне очень важной. Он говорит о жизни не только предельно правдиво, но и беспощадно, ничего не приукрашивая, не подслащивая, не делая никаких поправок ни жизни, ни себе. В этой высокой правдивости, искренности огромная сила совершеннейшей по форме поэзии Тютчева. Такая беспощадная правдивость присуща только могучим и великим художникам. Это та сила, которая делает искусство необходимым для людей. Разве не этой чертой отмечено творчество мировых гигантов — Рембрандта, Бетховена, Льва Толстого? Соединение необычайной глубины с высшей правдивостью и совершенством формы дало тютчевским стихам редкостную силу и могущество. Его лирика остается одним из лучших художественных и духовных достижений русского гения, сокровищем родного народа, так богатого великими художниками. Поэзия Тютчева остается большой школой для поэтов. Его уроки, как и уроки Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, имеют громадное значение для всех, кто считает поэзию делом своей жизни. Федор Тютчев — один из самых глубоких и совершенных лириков в мировой поэзии.

Он необыкновенно сильно воспел женщину. Его стихи о любви и женщине также остаются в числе лучших созданий всемирной лирики, до сих пор удивляя нас своей глубиной и высокой поэтической силой. Вот пример его благоговейного отношения к женщине:

Не раз ты слышала признание:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое опо созданье —
Но как я беден перед ней...

Перед любовью твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговю
И поклоняюсь тебе...

Такое высокое мнение о женщине и дало поэту вдохновение и силу написать о ней те шедевры, которые не блекнут и не стареют. Глубоко драматическая судьба рано умершей Денисьевой, например, горячая любовь и память о ней породили целый ряд стихов потрясающей силы и художественного совершенства. Чтобы мы могли ощутить, как горячо и самозабвенно писал Тютчев о женщине и любви к ней, прочитаем целиком одно небольшое его стихотворение:

Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их, — знает бог!
От их волшебной страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный,
В тени ресниц ее густой,
Как наслаждение, утомленный
И, как страдаще, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волнения
И любоваться им без слез.

И в стихах о любви, как и во всем, Тютчев исключительно серьезен и глубок. Любовь, горе, страдания, красота

ту женщины поэт выразил с невероятной художественной силой и страстью. Искусство Тютчева именно страстное, очень страстное. Вот строки, подтверждающие только что сказанное мною:

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Каким неотразимым остается сравнение писем о былой любви с остывшей золой! Эти замечательные стихи я цитирую даже не столько для подтверждения верности моих скромных мыслей, сколько для своего удовольствия — повторить их лишний раз так приятно и хорошо.

Тютчев являлся одним из умнейших людей своего времени, был остроумным и мудрым собеседником. Он не переносил одиночества. Его остроты быстро распространялись и были широко известны. Он вообще был великолепен. Человек такого обширного ума и огромного таланта, как это ни странно, долго оставался в числе второстепенных поэтов. Гений, причисленный молвой к стихотворцам второго разряда, как это парадоксально! Только Некрасов впервые назвал его первостепенным русским поэтом. Бывало, его забывали, не издавали, о нем не писали. Было всякое. Между прочим, это тоже большой урок, говорящий о том, что прекрасное все равно найдет у людей свое место. Только важно, чтобы то, что человек делает, было хорошо сделано. В наше время Тютчев занял в литературе свое место гениального поэта, совершенного мастера.

Говоря о художественной силе поэзии Тютчева и его мастерстве, я сознательно не коснулся его политических взглядов и философских воззрений. Это не потому, что мне хотелось отрывать друг от друга мировоззрение и талант художника. Совсем нет. Просто в своих беглых заметках я ставил себе более скромную цель. Мне, конечно, хорошо известно, что Тютчев всю жизнь горячо интересовался политикой, зорко следил за всем, что происходило в мире. Все это нашло исчерпывающее отражение в работах специалистов, и я в своем кратком этюде не смог коснуться этой стороны жизни поэта.

Летом 1956 года мне впервые довелось побывать в совнаркомовском кабинете Ленина. Там, среди других, я увидел и книгу Тютчева. Думаю, что Владимир Ильич в рабочем кабинете держал только те книги, которые являлись

самыми для него необходимыми. Значит, поэт Тютчев был необходим для вождя революции! Это говорит о многом. В тот день я был удивлен и обрадован.

Поэзия, как и реки, имеет свои истоки. Ими для нее всегда остается не только живая жизнь, но и опыт старых мастеров, среди которых мы с любовью и благодарностью называем имя Федора Тютчева. Мы обязаны ему многим. Спасибо ему за радость, которую дают его шедевры и за нестареющие уроки поэзии. Нам остается только уметь учиться и стараться быть, хотя бы в малой степени, достойными своих предтеч — великих мастеров.

Эти заметки, как я уже предупреждал выше, являются только попыткой выразить мою признательность и любовь к одному из моих любимцев, гениальному мастеру. Не зря выдающийся лирик и его современник — Фет на книжке Тютчева сделал такую замечательную надпись:

Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

А величайший из мировых писателей — Лев Толстой сказал о Тютчеве: «Без него нельзя жить». А я, скромный литератор из Чегемского ущелья, могу лишь сказать: «Как хорошо, что знаю Тютчева!»

1973

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР

Еще начинающим стихотворцем, когда не было напечатано ни одной моей строки, как-то на обороте небольшого портрета Тургенева я написал четверостишие. Помню две строчки. В буквальном переводе они выглядят так: «И ты люби свою зеленую землю так, как любил ее этот великий мастер».

Он был редким художником, истинным поэтом. Когда юношей я сочинял свое четверостишие, то, конечно, не знал, что тонкий мастер Флобер первым назвал Тургенева великим писателем.

Тургенев — один из лучших художников слова. За мою жизнь мне дала много радости и наслаждения его прекрасная и высокая поэзия. Он удивительный поэт России, один из лучших выразителей поэтической души русского человека, душевной красоты своего великого народа.

Какой жизнью живет в его книгах природа России! Дерево в снегу, трава под дождем, влажный зеленый лист, луг в росе, свежая борозда, желтеющий лес, зеленеющая береза — все у него полно поэзии и прелести. Я давно не возвращался к роману «Накапуне», но всегда помнил, какое неотразимое впечатление произвело на меня сказанное о том, что сонный жук упал с дерева к ногам Шубина. Слово у Тургенева действительно волшебное, потому оно и остается живым и неповторимым для многих поколений.

Тургенев своей поэзией возвышал человека, его любовь, труд и талант, воспел его стремление к свету, все хорошее и доброе в нем.

Тургенев был первым мастером русской прозы, принесшим родной литературе всевропейское признание, его первого широко начали переводить на иностранные языки, волшебника родной речи и чародейного певца природы России.

Сколько поколений черпало решимость в словах Тургенева: «Мы еще повоюем, черт возьми!»

Иван Сергеевич Тургенев был учителем для каждого из нас. Таким он и остается.

3

С СОЛНЦЕМ
В КРОВИ

С СОЛНЦЕМ В КРОВИ

Прежде всего для людей важны и интересны произведения художника, то, что создано и оставлено человечеству, — непреходящая сила и красота его творений. Максим Горький занимает особое место среди всемирных писателей. Удивительны не только его произведения, но и жизнь. Выходец из самых низов народа, он сумел подняться на вершины художественного творчества. Какая для этого нужна была сила таланта, воля к жизни и творчеству.

В самые темные и унылые годы реакции Горький пропел гимн человеку-созидателю и свободе. В пору молодости Горького один поэт писал:

Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы,
Мы созрели
Для могилы.

Эти стихи очень характерны для буржуазного искусства той эпохи.

В такой атмосфере, когда интеллигенция теряла веру в жизнь и в человека, когда трава перестала быть зеленой, а вода прозрачной, раздался молодой и сильный голос Максима Горького в защиту жизни и человека. Во славу радости были сказаны свежие, полные достоинства слова: «Человек — это звучит гордо!»

В душные и унылые годы, когда всякое проявление мужества казалось бессмысленным, художник пропел гимн

человеческой отваге: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

В те годы, когда чаще всего раздавались в поэзии унылые замогильные голоса, Горький с наслаждением повторял солнечные слова ростановского Сирано де Бержерака: «Мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены...»

Горький любил и понимал Кавказ. Он писал: «Я так горячо люблю эту прекрасную страну, олицетворение грандиозной красоты и силы, ее горы, окрыленные снегами, долины и ущелья, полные веселого шума быстрых, певучих рек, и ее красивых гордых детей».

На Кавказе, который значит так много для русских поэтов, был напечатан и первый рассказ Горького. Благословенные земля и небо, горы и люди страны, где за свой беспримерный подвиг был прикован богами к скале титан Прометей, были дороги Горькому — Прометею новой культуры человечества. Он до конца жизни следил за ростом литератур кавказских народов, радовался успехам наших писателей, отмечал их в своих статьях и беседах. Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть несокрушимое чувство интернационализма и братства, которыми так дорожил гениальный русский писатель. Об этом никогда не можем забыть мы, советские литераторы.

Мир знал немало великих романистов и рассказчиков и до Максима Горького. Но Горький занял особое место в пантеоне выдающихся мастеров, как первый великий художник трудящихся. Он сказал новое слово во всемирной литературе, в которую вместе с ним пришли совершенно новые герои. Он впервые так мощно и во весь рост изобразил пролетариев, стал первым великим певцом революции, негибимым борцом.

Одним из главных заветов Максима Горького мне представляется защита трудящегося и мыслящего человека от посягательств на его достоинство, свободу и жизнь со стороны угнетателей всех мастей и любителей грабительских войн. И ныне на земле достаточно врагов у горьковского Человека. Ведь силы зла сегодня угрожают не только человеку, но и самой Жизни. Но мы, советские люди, будем по-горьковски верить в светлый смысл жизни и в ее непобедимость.

Литературоведы и критики любят писать о влиянии одного писателя на другого. Опыт крупной творческой лич-

пости — всегда школа для других. И в данном случае Горький как основоположник советской литературы, ее первый классик занимает особое положение.

Пожалуй, не найдется литератора в нашей стране, какой бы национальности он ни был, который не учился бы у Алексея Максимовича и не испытал бы его благодатного влияния.

Горький считал писателя учителем жизни. И прежде всего им был он сам. Таким он и остался в памяти тех, кому дороги литература и культура.

Мы верим в будущее человечества и бессмертие его труда и культуры, как верил в это Горький.

Пусть лучшим выражением нашей любви к великому писателю-гуманисту будет мужественная защита Жизни и Человека от всех посягательств. Пусть живет и побеждает на бессмертной земле горьковский человек-творец.

1968

МОЕ СЛОВО О ШОЛОХОВЕ

Большой художник — всегда близкий друг каждому, кому дороги жизнь и культура. Я никогда не видел Сергея Есенина и Федерико Гарсиа Лорку, но они мои любимые друзья на всю жизнь. Чудо остается чудом для всех.

Шолохова читает весь мир. Мне вспоминается, с каким благоговением известный английский писатель и ученый Чарльз Сноу во время встреч с нами называл советского романиста Великим Писателем. Шолохова читают всюду у нас в стране. Его с большой любовью и восхищением читают в наших горах школьники и писатели, бригадиры и ученые, студенты и партийные работники. Он близок и дорог всем нам. Это мое скромное слово о Шолохове выражает любовь моих земляков к нему и мою собственную любовь.

Выдающиеся книги — большие корабли: им ни почем океаны с огромными просторами и яростными бурями. Но это сравнение верно лишь отчасти. Корабли редкостной мощи могут стать ветхими от времени. А такие книги, как «Тихий Дон», остаются навеки. Они остаются потому, что остается жизнь, потому что вечно будут жить люди с их борьбой и страстями, страданиями и победами, так верно и мощно выраженными могучим художником слова. Книжки подобной силы останутся потому, что их авторы верны жизни. Это их первооснова, в этом их бессмертие.

Творчество Шолохова не нуждается ни в моих толкованиях, ни в моих похвалах. Думать иначе было бы наивно.

Но о том, какой свет он излучает, не говорить нельзя. Когда речь заходит о национальных романистах, многие литературоведы и критики часто пишут, что такой-то, мол, идет от Шолохова, а такой-то, мол, персонаж — вылитый дед Щукарь. Верно ли это, не берусь судить, но одно знаю несомненно: хорошо, когда каждый писатель похож на самого себя; хорошо, когда каждый персонаж несет в себе только впервые открытые черты характера. Также верно и то, что выдающийся художник слова, живущий рядом с тобой, всегда является опорой и школой, в каком бы жанре ты ни работал. В трудный час ты как бы опираешься на его крепкое, испытанное плечо и твоя рука встречает его теплую ладонь. И опять-таки не для того, чтобы стать похожим на него, а чтобы почерпнуть у него уверенность большого мастера, оправиться от сомнения, всей грудью вдохнуть свежий воздух и идти дальше. Своей походкой.

Художников, совершенно свободных от всякого влияния или опыта предшественников и старших современников, не бывает и не может быть. На свете все преемственно — от умения строить простую хижину до тонкостей запуска корабля в космос. Жаль, что некоторые литературоведы часто примитивно толкуют сложнейший процесс учебы и преемственности творческого опыта. Какая это сложная и тонкая вещь, каждый честный писатель испытывает на себе. Ни один из писавших о моих скромных книгах, например, никогда не упоминал о влиянии Шолохова. Это лишь потому, что я писал стихи, а не романы. Однако хочу сегодня с благодарностью признаться, что я много и старательно учился у Михаила Александровича.

Читая книги Михаила Шолохова, я учился глубинным вещам, таким, как принципиальность творческой позиции, как народность в подлинном смысле этого слова. Слишком близкой и горькой музыкой звучала для меня вся мощная симфония «Тихого Дона». Мне очень понятны и духовно близки горячие натуры Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой, их порывы, заблуждения и страдания. Меня поражают могучесть, широта и яркость поэтики несравненной шолоховской эпопеи.

С невероятной силой выразил Шолохов игру красок, разнообразие характеров, живое дыхание земли, ее ликование и стоны. Его пейзажи так подлинны, что осязаемо чувствуешь каждую травинку, полдневный зной и све-

жесть рассвета. Физически ощущаешь задумчивый дождь или снегопад над хатами станицы, бурные ливни над широкими донскими степями. Все сверкает, переливается неповторимыми красками, пленяя и завораживая; все живое и сущее обретает свой точный облик. Каждый из огромного числа населяющих это произведение неповторим, ярко индивидуален.

В своей великой трагической поэме Шолохов не сделал ни малейшей уступки любителям сладенького в искусстве. Он показал жизнь и судьбы такими, какими знал их; изобразил честно и необычайно выукло, как большой мастер.

Взрывы изобразительности у Шолохова ошеломляюще прекрасны. Потому и веет на нас со страниц шолоховских книг такой редкостной знойной силой. Вот чему, по-моему, должны учиться мы у Шолохова, в то же время оставаясь похожими на самих себя. Трудно? Конечно. Но на свете ничто хорошее легко не дается. Думаю, что и самому Шолохову нелегко пишется. Любая река, независимо от ее размеров, несет свою нелегкую службу, как ей положено. В творчестве то же самое.

И прежде и в последнее время было немало споров и дискуссий о романе, дискуссий в международном масштабе. Спорили о том, что ново и не ново и может ли существовать роман в прежнем его понимании, выраженный нынешними средствами изображения, современными формами... Мне трудно вступать в спор со специалистами, по все эти теоретические баталии кажутся мне явно бесплодными. Сдается, что большое художественное творчество трудно укладывается в какие бы то ни было теоретические схемы. Оно рождается, как обвал, оно естественно, как летний ливень. У меня есть уверенность в том, что Шолохов создавал свои романы, не думая ни о каких теоретических схемах. А ведь книги его завоевали мир! Это было новое слово, порожденное подлинностью, верностью правде жизни.

Хлеб пекут извечно, но никому не приходит в голову сказать, что этот великий процесс устарел. Вновь испеченный хлеб свеж каждый раз. Сколько ни живи, сколько раз ни смотри на снегопад или на побеги весенней травы — в каждом случае это ново, каждый раз это — чудо.

То же самое море и скалы. Горцы говорят: когда тебе тяжело, прижмись щекой к земле — тогда станет легко, снова ты будешь сильным. Мне кажется, Михаил Шолохов

так и поступает. О какой поэзии может идти речь, если человек не чувствует дыхания земли, не видит над головой облаков и звездного неба? О каком творчестве можно говорить, когда человек теряет уважение к хлебу и воде и перестает чувствовать их вкус? Без любви к земле к нашему общему дому, без любви к человеку не может быть творчества. Не спасут никакие ухищрения по части стиля, не выручит никакое умение плести сюжет. Все будет мертворожденным.

Я люблю суровый реализм и могучую поэтическую крылатость Шолохова, неукротимую земную силу его творчества. Легче жить и работать, когда рядом с тобой живет такой большой художник слова.

1965

ЛЮБОВЬ И БОЛЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

1

Большой, всепоглощающей любовью Есенина до конца оставалась Россия. Он, может быть, как никто из художников, был привязан к отчей земле, ко всему живому и милому на ней: свежей борозде, белой березке, лунному свету на крыше крестьянского домика, желтизне созревшей ржи, белизне снега на дороге, полю, лугу, цветам, животным. За год до смерти он писал:

До сегодня мне еще снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Не только жизнь, но и смерть свою поэт хотел связать с Родиной:

Дайте мне па родине любимой,
Все любя, спокойно умереть.

Умереть спокойно ему не было суждено. Быстро промелькнувшая его жизнь, кончилась трагически.

Мне кажется, что никто из его собратьев с такой обнаженной откровенностью не сказал о своей любви и боли, как это сделал Есенин. Я, например, не знаю другого поэта, который бы так не щадил себя и свое сердце, был бы так смело откровенен. А это, по-моему, главная черта лирика, придающая его голосу ту пронзительную силу, которая действует неотразимо.

Сергей Есенин еще юношей точно определил и горячо выразил свое отношение к любимой им России:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не падо рая,
Дайте родину мою!»

Отсюда — от самозабвенной любви к отчей земле шло все в его лирике — и радость, и боль. Могут сказать: любовь и радость — да, а при чем тут боль? Мне понятна вся наивность такого вопроса, когда речь идет о гениальном лирике, поэте с таким обнаженным сердцем, одинаково распахнутым почти и рассвету, радости и боли. Однако в разных аудиториях часто его задают. Поэтому и в этих заметках я попытаюсь ответить на него, конечно, по мере сил. Что же касается любви и радости Есенина, то мне хочется сказать, что даже в его трагических стихах облик родной страны с ее полями, колосьями, деревьями, синевой неба над равниной, облаками, снегом, дождем, звездами над селением — оставался для него радостью и любовью. Он был счастлив тем, что видел все это:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз.
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Дышать воздухом родной земли, видеть солнце над ней и ее людей, их труд, слышать ее песни, смотреть на ее скачущих коней с их потными крупами, на быстрые сани в зимней степи, следить за птицами над полем и лесом, внимать их гомону — оставалось радостью, блаженством для поэта, в жизнь и душу которого все это вошло с раннего детства. И все это он выразил с горячей любовью, нежностью, необыкновенно образно, неповторимо самобытно, нестремительно сильно.

Мне кажется, что нет на свете стихотворения о дереве, например, равного есенинским стихам, обращенным к клену, стоящему под зимней метелью.

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, вагнувшись, под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел...

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил погу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал пестойкий,
Не дойду до дому с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а всюю зеленым.

И, утратив скромность, одуревший в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

Для меня это невероятные стихи. В них воображение поэта, художественная прелесть, душевная нежность, огромная образная сила удивительны. Все это сказано прекрасно и волшебно. Иногда мне кажется, что такие стихи могут присниться только во сне. Подобное может написать, конечно, только человек гениального дарования, в душе которого живет огромная любовь и невыразимая привязанность ко всему сущему на земле, милостливо дарованному жизнью нам, смертным.

Есенин обращается к дереву, стоящему под зимней метелью, как к живому существу, как к соседу или приятелю, с сочувствием и лаской, среди зимы поет ему песни о лете. Только таким волшебным лириком, каким был Есенин, дано найти то никем не сказанное о жизни и каждом ее явлении, что и делает стихи поэзией, нестареющей и неувядающей, всегда остающейся дорогой и близкой человеческим сердцам. Таким поразительным произведением искусства, как и большинство его вещей, остаются есенинские строки, сказанные скромному дереву — обыкновенному клену, молчащему «под метелью белой». У меня нет ни сил, ни слов для того, чтобы сказать так, как бы следовало, о прелесть этого шедевра. Я могу только радоваться ему, наслаждаться им.

2

Вернемся к искренности Сергея Есенина. Это вообще один из центральных вопросов художественного творчества, поэзии и искусства. Особенно же остро он ставится, когда речь идет о лирике — самой обнаженной, непосредственной, бесхитростной, самой эмоциональной и сердечной области литературы. «Я сердцем никогда не лгу», — сказал Есенин. И это было истинной правдой. Лучшее и неопровержимое доказательство тому — его поэзия. Посредственные стихотворцы обычно в собственных писаниях стараются казаться более лучшими людьми, чем

на самом деле, они пытаются рисовать себя умными, мудрыми, мужественными, благородными, добрыми — одним словом, им присущи лучшие человеческие качества, что они никогда не ошибаются, не позволяют себе никаких дурных поступков, являются образцом во всех отношениях. Но это ни к чему не приводит — мертвые и фальшивые строки никого не могут убедить, белые нитки выдают притворство. Поэзия не игра в шараду. Высшая ее цель — честность и открытость. Таким открытым, неподдельным и был Сергей Есенин, чем и завоевал сердца читателей, приобрел небывало широкую аудиторию. У него не было ни малейшего притворства:

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мгlistом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Еще он утверждал:

Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Сумасшедшее сердце поэта — значит открытое всем ветрам, всей человеческой радости и боли, любви и горю, то есть — бескорыстное. Сердце Сергея Есенина — сердце истинного поэта — было от природы чистым и нежным, смелым и щедрым.

Он никогда не старался в своих стихах казаться лучше, чем он был на самом деле, не рисовался, откровенно говорил о своих ошибках и горьких заблуждениях:

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Он говорил о себе беспощадно. Разве не так же сурово относился к себе другой великий русский лирик, один из предшественников Есенина — Тютчев? А какая-нибудь посредственность будет декламировать о себе, что он жил всю жизнь мудро и чисто. Какие там заблуждения и ошибки! Их у него не могло быть — он ведь взял на себя роль учителя жизни! И спесиво носит свою фальшивую тогу и маску. Но лучшая часть читателей всегда угадывает, где настоящее и где поддельное. Поэтому-то настоящее в искусстве находит свое место среди людей, какие бы трудности ни встречались на его пути.

Я хочу сказать не только о любви и радости, но и о боли Сергея Есенина. Мне вовсе не кажется, что это так легко сделать. Но хочу подчеркнуть, что человека без боли вообще не бывает, а художника тем более. Это азбучная истина, но она полезна. Жизнь, как известно, никогда и ни для кого не состояла из одних праздников. У людей, к сожалению, бывают не только свадьбы, но и похороны. От законов жизни никуда не денешься. Они суровы и неумолимы. Люди подчинены им. Художник, должно быть, чувствует это острее других. Чем он даровитей и крупней, тем у него больше и глубже радость и боль. А Есенин — гений и к тому же лирик, невероятно остро чувствующий все и раимый. Его обнаженное сердце являлось одним из самых нежных и незащищенных на свете, оно оставалось распахнутым и открытым для всех кинжалов, для всех человеческих чувств. Он носил в груди сердце такое же бескорыстное, как и его стихи. Истинно крупные лирики быть иными не могут. Это их природа. Они очень далеки от притворства, от рассудочно-холодного и трезво-разумного отношения к жизни. Они — обнаженное сердце мира.

И в этом смысле Сергей Есенин принадлежит к созвездию редких мировых лириков. Такому поэту, доброму и отчаянному, смелому и нежному, выпало жить в сложные времена мировой войны и революций, в эпоху, когда ломалось все старое и мучительно трудно зарождалось и побеждало новое. Эмоциональнейшему человеку и художнику Есенину, больше жившему сердцем, чем головой, больше доверявшему чувству, нежели трезвому рассудку, разумеется, было трудно разобраться во всем происходящем, суровом и во многих отношениях беспощадном. Конечно, он, с его характером, многого не понимал и не мог понять. Но стоило ли винить его в этом или отворачиваться от него, как это делали иные литераторы — лжеумудрецы и всезнайки? Нет, конечно. Говорят, Карл Маркс сказал, что поэты нуждаются в ласке. Но, к сожалению, с художниками нередко бывало так, что они не находили не только ласки, а внимания, понимания, порой же — даже пощады.

Есенин — поэт, создавший шедевры поэзии. Этим он интересен и дорог людям. Так, по-моему, и надо относиться к нему. Он ныне признан великим национальным поэтом России. Уже стерты «случайные черты». Есенин — один из самых читаемых поэтов в мире.

Как ему порой ни было мучительно, Есенин, оставался самим собой, верным себе и своей природе. Иначе он не был бы Есениным и великая русская поэзия не имела бы такого поэта.

Он, выдающийся русский поэт Сергей Есенин, остался таким, каким создала его сама жизнь. В этом его мудрость и мужество. Сергей Есенин — целая эпоха в русской лирике, одно из самых самобытных, оригинальных, неповторимых ее явлений. И, разумеется, он должен был быть именно таким, каким мы знаем его теперь, когда все ложные оценки остались позади, а время очистило его светлое имя от всего случайного и наносного, от дешевых легенд и мещанских сплетен. Поэзия Есенина ценна и неповторима именно такой, какая она есть, — с ее великой искренностью, самостоятельностью. Он выразил эпоху, в которую жил, совершенно самобытно. В его творчестве замечательно и радостное и горестное, потому что то и другое остается живым выражением живой жизни, самой действительности с ее противоречиями и трудностями, глубоким и редким человеческим документом, беспощадно правдивым и искренним, радостью и болью человеческой души, характерными для времени поэта — сложнейшего периода в истории России и всего мира.

Сергею Есенину казалось, что многое из того, что было ему так дорого, уходит безвозвратно, деревня гибнет. Это известно каждому, кто читал книги поэта и хотя бы часть написанного о нем. Я не ставлю себе целью углубляться в противоречия творчества Есенина, но пройти мимо них также не могу. Все это очень непросто. Мне думается, ему порой казалось, что не станет даже любимых им берез и кленов. Да, он боялся за многое.

Эх, вы, сани! А кони, копи!

Видно, черт их на землю принес,—

писал он и боялся, что не станет этих коней, таких красивых и резвых, на которых он ездил с детства, которых так любил. Ему было горько от сознания того, что живых коней заменят стальные. А разве художник может иначе относиться к тому, что любит, что дорого его сердцу? Тогда он не был бы художником. Только бездарным и равнодушным, ничего и никого не любившим, бывает все равно,

что или кто умирает, лишь бы жили они сами. Что бы ни уходило из всего, что нам дорого на земле, любой уход, любое исчезновение не может не причинять нам боли и горя, независимо от причин ухода. Ничто весело не умирает. И честному сердцу Есенина было больно за многое. А быть иным он не мог. И, видимо, сам знал и понимал это.

Как сын крестьянина, выросший в деревне, разумеется, он больше всего любил крестьянскую жизнь, лучше всего знал ее. Себе он казался последним поэтом деревни:

Я последний поэт деревни.
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Так прощался с деревней самозабвенно ее любивший сын и поразительный поэт. А вот еще более горькие строки:

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен,
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Да, от многого было больно ему, сказавшему: «Я улыбаюсь пашням и лесам». Но несмотря ни на что Есенин говорил родной земле:

Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Если бы мы сказали, что Есенину было легко, тем самым мы исказили бы его облик, допустили бы недопустимое. Образ поэта интересен именно во всей своей сложности и противоречивости, в стремлении преодолеть трудности и драмы, в борьбе с самим собой. Сам он был до конца искренен в своем отношении к эпохе.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом
Я одной ногою.
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Это было трагедией Есенина, врывавшейся в его прекрасную поэзию. Само собой разумеется, что не нужно и вредно стараться сглаживать жизнь и творчество художника,

смягчать противоречия, пытаться горькое выдавать за сладкое. В этом ни поэты, ни их память обычно не нуждаются. Им при жизни были ненавистны ложь, фальшь, притворство. Главная сила больших художников в их правдивости. И говорить о них надлежит правдиво. Есенин был прямой, бескорыстный, не думал ни о каком покое:

Беспокойная дерзкая сила
На поэмы мои пролипла.

Противоречия жизни и творчества Сергея Есенина оказались настолько серьезными, что ему так и не удалось разрубить их узел. Любовь, радость, боль, заблуждения — все в нем было настоящим, неподдельным и осталось в стихах редчайшей самостоятельности, поэтической прелести и художественной силы. Таким и принял народ своего поэта-чудотворца, таким он вошел навсегда в историю советской культуры. Сергей Есенин в автобиографии писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Несмотря на все трудности и противоречия, он упорно преодолевал свою драму, стал советским поэтом и остался им. Он из тех мастеров, которые составляют честь и гордость нашей многонациональной поэзии.

4

Истинным в искусстве является и становится открытием только сказанное впервые. А это под силу только редким талантам. Таких счастливых в каждую эпоху бывает не так уж много. Есенин из их семьи. Стихотворцев, без которых литература обошлась бы легко, не так уж мало, несмотря на то что работа каждого из нас, авторов обычных скромных стихов, должно быть, тоже нужна. А вот без Есенина нельзя. Такие, как он, — Эльбрусы и Казбеки поэзии. Он из тех, кому удалось многое сказать впервые. Даже вот это раннее, написанное почти мальчиком, еще не успевшим приобрести самостоятельности, по характеру образов все равно относится к впервые сказанному в поэзии:

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

Или:

Там, где канустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

И еще:

Желтые поводья
Месяц уронил.

Это были собственные сравнения, уподобления и метафоры Есенина. Мне думается, что таких именно до него не было. Это им найдено и сказано впервые. При этом мне известно, что в свой начальный период он написал много несамостоятельных, слабых, подражательных стихов, как нередко бывает даже с гениальными начинающими поэтами. Так, к примеру, было с Лермонтовым. Выше я привел совсем ранние есенинские находки. В зрелой же его лирике множество удивительных поэтических открытий. Думаю, что никто, кроме Есенина, не сказал бы обыкновенному клену: «Словно за деревню погулять ты вышел...»

Или:

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

А вот это:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Или:

Словно я весенней гулкой рапью
Проскакал на розовом коне.

А какой неожиданный поворот приняли его строки о деревенской печи:

Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Все лучшее в поэзии Есенина по оригинальной образности мне представляется впервые сказанным. Должно быть, так и есть. Для поэта не может быть более счастливой участи. Великими поэтами и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова сделало впервые сказанное ими. Это в одинаковой мере относится к содержанию и форме в самом широком смысле.

Весь мир знает о давней и тесной связи русской поэзии с Кавказом, его народами, их культурой. К нашей радости, так случилось, что и Есенин оказался причастным к этой

традиции, хотя он по характеру своего творчества очень русский поэт. Его встреча с Кавказом дала хорошие плоды. Здесь он написал много прекрасных вещей, в их числе и знаменитые «Персидские мотивы». В стихотворении «На Кавказе», видимо написанном до этого чудесного цикла, сказано:

Издrevле русский наш Парнас
Тянулся к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звепел загадочным туманом.

Есенин видел ту же близину снегов вершин, те же кремнистые дороги, что и Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Одоевский, Полежаев, Полонский, слышал тот же «гортапный разговор». Конечно, он не мог не написать о Кавказе, ставшем как бы вторым Парнасом для великой русской поэзии. Хорошо, что увиделись Кавказ и Есенин, как и Кавказ с Лермонтовым. Да, великие поэты России любили нашу землю, горы, небо над ними, зелень чинар и багровение кизила, свободолюбивых сынов гор. В этом очень повезло нам, кавказцам.

Хорошо, что Есенин увидел Кавказ. Мне здесь хочется упомянуть добрым словом Петра Ивановича Чагина. Он, будучи секретарем ЦК компартии Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», уговорил поэта ехать на Кавказ и очень по-доброму отнестся к нему, понимал его. Они стали друзьями. Недаром Есенин посвятил Чагину «Персидские мотивы», как и некоторые другие стихи того периода. Я очень хорошо помню Петра Ивановича, не раз с ним виделся, беседовал, слушал его рассказы о великом друге. Чагин поступил мудро, хотя и был молод. Хорошее отношение к большим поэтам зря не пропадает, дает свои плоды. Поездка на Кавказ была для Сергея Есенина исключительно полезной. В том же стихотворении, строки из которого я процитировал выше, он говорит:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забить ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

Как видим, Есенин на свое пребывание на Кавказе возлагал большие надежды. Мы можем с радостью сказать, что они оправдались — Кавказ «научил его русский стих кизилковым струиться соком», он написал свой лучший, может быть, цикл — «Персидские мотивы». И этого

достаточно, если даже не говорить о других его шедеврах, созданных на Кавказе. Кроме того, русскому лирику были приятны и полезны встреча и дружеское общение с такими замечательными поэтами, прекрасными кавказцами-рыцарями, как Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани.

«Персидские мотивы», по моему мнению, самые счастливые стихи Есенина. Этот цикл — совершенный шедевр. Он пленяет и чарует. В нем выразилась вся врожденная чистота поэта, его природная нежность, необыкновенная привязанность к земле, ко всему прекрасному на ней, к жизни. Тут лучше, чем в любом из его произведений, мы ощущаем, что он был создан для любви и радости. Работая над этим циклом, Есенин освобождал себя от всего горького и мучительного, от боли и пьяного угара, забывал московские богемные литературные круги, возвращался к своей первозданной человечности, доброте и радости. Вот начальные строки цикла:

Улеглась моя бывлая рапа —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Именно такое значение имели «Персидские мотивы» для их автора. Все это мы еще лучше поймем, если сравним хотя бы несколько строк о любви из восточного цикла с другими стихами на ту же тему. Вот пример:

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Князенок сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Строки из цикла:

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Или:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,

Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

О самых же знаменитых стихах, обращенных к Шаганэ, и говорить нечего. Они полны необыкновенной человеческой нежности, чистоты, сердечности. Это неповторимая песнь любви, рожденная в счастливый час. Должно быть, на земле так же появились свет, хлеб, огонь, вода, дерево, цветы, речь, любовь, радость.

Мне хочется обратить внимание на одну особенность «Персидских мотивов». В них Есенин с замечательным тактом слил русское и восточное, в них разлит воздух севера и юга. И это сделано так просто, так естественно, без натяжки и стремления специально создать какой-то особый колорит. Вот стихи, подобные шелесту травы предгорья, шуршанию колосьев русского поля, звону ручья в ущелье:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

А вот строки, как бы напоенные воздухом теплого южного полдня, похожие на синее небо Востока, пахнущие розами Шираза — родины великого поэта Хафиза:

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни,
Воздух прозрачный и синий.

И дальше:

Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть.
Нежность, как песни Саади.

О таких стихах лучше ничего не говорить, а молча их повторять и удивляться, радоваться тому, что они созданы человеком. Меня каждый раз удивляли в восточном цикле находки Есенина, которые так просты и естественны, что кажутся совсем легко найденными. Вот две из них:

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.

И еще:

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.

Горько ошибаются те, кто любит говорить о ненаци-
танности и малой культуре Есенина. Для того чтобы со-
здать «Персидские мотивы», надо было знать и хорошо
ощутить поэзию Востока. «Персидские мотивы» входят
в число самых лучших, волшебных стихов, написанных
в мире за все время существования поэзии человечества.
Я в этом убежден.

5

Есенин писал о животных с такой нежностью, с таким
сочувствием к их лишениям и несчастьям, что диву
дашься. Мне кажется, что никто из поэтов всех народов,
кроме Роберта Бернса, не может сравниться с ним в этом.
Такое отношение к животным, конечно, жило в нем с дет-
ства. Иначе он не мог бы написать «Корову», «Песнь
о собаке», «Табун», «Собаке Качалова». Не зря он писал
в поздних грустных стихах, сказанных в связи со смертью
своего товарища:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве.
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Только человек, очень любящий жизнь и все живое на
земле, может так относиться к животным, так любить их
и так писать о них. Мне доставляет удовольствие повто-
рить еще раз стихи о корове. Давайте снова вчитаемся
в них и подумаем, как это прекрасно и человечно:

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах,
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына.
Первая радость не вырок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,
С той же сыновней судьбой.
Свяжут ей петлю на шею
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Спится ей белая роца
И травяные луга.

Это самые простые и самые прекрасные стихи из всех когда-либо написанных о животных. То же самое и «Песнь о собаке», в которой бедная собака бежала за хозяином, пещим в мешке ее щенят, чтобы утошить их. Но чем она могла помочь им?

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

А вот потрясающие заключительные строки:

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Я даже не представляю себе, какими словами надо говорить об этих стихах. Они нечто бесподобное по своей художественной мощи, совершенству, по силе боли, выраженной в них, земной человеческой боли. Если бы умел, я говорил бы о Сергее Есенине и его поэзии языком богов. Но думаю, что простой язык земли, которая была так мила и дорога Есенину, лучше. И я старался сказать, по мере моих возможностей, о любимом поэте языком людей. При этом я хорошо сознаю, что поэзия и память великого поэта вполне обошлись бы без моих заметок. Но не написать их я не мог так же, как сам Есенин стихи. При всей их скромности и незначительности — выводить эти строки было радостью и наслаждением для меня. Когда аробщик лунной ночью в пути, глядя на звезды, поет песню, разведумает о том — значительна она или нет?

Сергей Есенин, как один из лучших лириков мира, все прочувствованное, пережитое, испытанное им за короткую жизнь превратил в шедевры поэзии. Он воспел землю, пле-

ненный ею, воспел любовь, как счастье, и счастье, как любовь. Воспел женщину так же сильно, как родные поля, как жизнь, как свет. Он так же нежно воспел мать, как и отчую землю. Он был рожден для любви, добра, радости и счастья, для поэзии. При всей незащищенности сердца Есенин был отважным человеком, мужественным художником. Гений другим, наверное, и не бывает.

Сказанным в моих заметках я совсем не утверждаю, что все написанное поэтом-чародеем равноценно и нет у него слабых вещей. У Есенина, как и у каждого художника, мы найдем произведения, слабые по содержанию и форме, обнаружим излишние красоты, легко заметим, что порой ему изменял вкус. Вот строки, которые я, например, не люблю:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Мне кажется, что такие стихи почти находятся за гранью поэзии. Они как-то жеманны и рассчитаны на дешевый вкус. Да, в лирике Есенина встречаются и такие вещи. Но что это по сравнению с теми гениальными созданиями, теми шедеврами, которые он навсегда оставил людям! Любовь и боль Есенина, став нестареющими песнями, живут с людьми. Он дал особый язык полю, снегу, дождю, колосу, дереву, звезде, дороге, собаке, облаку — всему сущему и дорогому для живущих. Любовь и боль Сергея Есенина — это сердце великого поэта, открытое всем людям, всей жизни, всему миру. Великие художники пишут или плененные земной красотой, или потрясенные горем и несчастьем людей. Так писал и Есенин. Еще пройдут по нашей земле гениальные поэты. Но Есенин останется Есениным, о нем всегда будут люди говорить, «как о цветке неповторимом». Его судьба и участь его победоносной поэзии стали одним из самых поучительных уроков. Поэты всегда будут возвращаться к раздумьям о сущности, природе и законах своего дела. Мир знает Сергея Есенина и будет знать всегда. Он один из самых читаемых и переводимых поэтов.

Каждый раз я открываю книгу Сергея Есенина с каким-то особым чувством. С таким чувством, должно быть, ступают на родную землю после долгой разлуки с ней, переступают порог отчего дома, смотрят в лицо и глаза

матери, вернувшись после длительных скитаний, с таким чувством произносят имя любимой жепицины и единственного ребенка. Во мне постоянно живет особая нежность к Есенину и признательность ему. Я люблю его стихи, как горы и деревья моей земли, как ее цветы и колосья, как лунный свет на скалах моего Чегема и крышах родного аула, где мать качала мою колыбель, когда крупные звезды смотрели на нашу саклю и лунный свет освещал плуг и гриву коня моего отца. Сергей Есенин — лирик из лириков. Он настоящий — вот, по-моему, самое подходящее для него определение. Даже в имени его есть что-то светлое и свободное. Несмотря на все трагическое в его поэзии и на горький конец пути, его имя легко и хорошо произносить, будто это лучшие слова сердечной песни.

ГОДЫ ВДОХНОВЕНИЯ

1

Его я люблю с тех пор, как стал читать книги. За эти годы менялись мои вкусы и отношение ко многим поэтам — к одним охладел, других отверг. Было всякое, как сказал Маяковский. А моя привязанность к поэзии Николая Тихонова осталась неизменной. Давно я хотел написать о нем статью, в которой были бы размешаны все краски. Мне хотелось сделать это в горах. Но получилось так, что пишу свои заметки в номере московской гостиницы. За окном ни гор, ни белизны хребтов. А хотелось бы писать о Тихонове, видя рядом снега вершин и облака над скалами, писать, беседуя с ними. И не только потому, что облик Кавказа ярко вошел в тихоновскую поэзию, но и потому, что в привычной обстановке, вблизи гор, работаете лучше. Мне ведь хотелось бы о Николае Семеновиче написать хорошо, насколько это в моих силах. Кроме всего прочего, я многим ему обязан. Он был внимателен ко мне, оставался опорой и поддержкой в трудные дни и годы моей жизни, проявил много заботы о молодом литераторе из Чегемского ущелья. Такое не забывается.

Хочется подчеркнуть, что своим безупречным отношением ко мне в тяжелые для меня времена Тихонов лишний раз доказал свою верность Кавказу, его горам и людям, о которых поэт писал влюбленно и мужественно. Не зря он много лет назад сказал:

Я не изгнанник, не влекомый
Чужую радость перенести,

Мне в этом крае все знакомо;
Как будто я родился здесь.

Первым чувством, которое всегда вызывала у меня поэзия Николая Тихонова, была праздничность. Он говорил мне, что в этом мире стоит жить и стоит работать. Такая праздничность вовсе не была ни бездумной, ни легковесной. Ведь настоящие праздники люди высекают из своего сердца в трудной борьбе. Это хорошо знает Тихонов — участник нескольких войн, боец революции, художник эпохи великих потрясений, трудных лет, озаренных трагическим светом не виданных до того сражений. А все же меня не покидает чувство праздничности, когда я читаю его книги. Весны без грозы не бывает, но приход ее всегда праздничен. Совсем молодой Тихонов, еще не успев снять шинель бойца гражданской войны, заявил:

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Осветить неповторимым днем.

Это было сказано человеком, у которого быт не был устроен, человеком, который ел черный кусок хлеба и запивал его водой. Но художник должен видеть не только тучи, а и знать, что за ними есть солнце. Боже мой! Сколько раз цитировались «марсианские» строки Тихонова, которые я приводил выше. Сколько бы их ни повторяли в течение десятилетий, они не потеряли ни своей свежести, ни света вложенного в них жизнелюбия.

В самом начале своего пути поэт утверждал, что «стоит породниться с землей и глину замешать с огнем». Вот это волевое, действенное начало в стихах Тихонова дорого мне, как и миллионам его читателей. В этот мир мы приходим не для того, чтобы жить сложа руки. Такое существование было бы бессмысленным. Вот с чем я столкнулся, впервые раскрыв книгу стихов Николая Тихонова. Он предлагал мне «каждое желание простое осветить неповторимым днем». И я дышал высотным воздухом его мужественных, жизнеутверждающих, полных

буйства красок стихов. Это поэзия восходителя, открытая большому миру, всем ветрам и ливням, степным равнинам и вершинам гор, поэзия, славящая стремительность жизни, светлые деяния человека, его мужество и гуманизм, сердце бойца и мудрость мыслителя. Такая поэзия с самого начала не могла не покориť меня, жителя гор. Я вырос в том краю, где одновременно видел сверкающую белизну вечных снегов и багровение кизила, где упорство и мужество человека, мудрость слова и святость хлеба ценятся высоко. Поэзия Тихонсова дорога мне не только потому, что он горячо любит Кавказ и так блистательно писал о нем и о его людях. Она близка моей душе всей жизненной сутью, мощным светом, которым она освещена изнутри, упорством восходителя и убежденностью жизнелюба. Мне кажется, что жизнелюбие является одной из основных черт, может быть, главной сущностью его творчества. Отсюда же идут все другие качества.

2

Думаю, что сегодня есть необходимость особенно подчеркивать силу жизнелюбия в творчестве выдающегося советского поэта. В наши дни мир тревожен, действительность становится все сложнее, а ответственность художника перед жизнью все большей. Может быть, она сейчас еще более серьезная, чем в те годы, когда Тихонов писал свои баллады, мужественные ритмы которых так соответствовали действительности. Считаю, что в наше время нужно с особым упорством отмечать преданность поэта живой жизни, ее дальним целям, его любовь ко всему светлому в мире и, наконец, его веру в непобедимость жизни. В атомный век человек нуждается в уверенности, что колос останется колосом, хлеб — хлебом и вода — водой. Художник, как никто, обязан сейчас быть поддержкой и опорой для человека. Такое отношение к жизни в наши дни мне представляется одной из главных задач поэта. Жизнелюбие художника никогда не будет отменено и навсегда останется сердцевиной творчества, ибо выше жизни нет ничего. И любовь к ней неизменно будет священной. В этом отношении уроки Николая Тихонова значительны для всех нас. Вот почему я и начал свои заметки с чувства праздничности в восприятии его поэзии. Возможность жить на земле поэт считает самым большим

благом. Но он хочет жить творцом и воином. Вот почему он, будучи еще совсем молодым, заявил:

Я сердце свое, как боксер — кулак,
Для боя в степях берегу.

Жизнь не является дорожкой, ведущей по розам. А потому мужество не должно покидать ни хлебороба, ни художника. И в этом отношении урок жизни и творчества Тихонова имеет для нас большое значение.

Николая Семеновича я увидел впервые в горах Кавказа три десятилетия назад. К тому времени он уже успел сказать о себе:

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Он был тогда действительно молод, сухопар, крепок, жаден к жизни и краскам мира. Сразу было видно, что он создан ладным и крепким, готовым перенести все, что жизнь ни пошлет ему. Я видел его таким. Он смотрел на вершины, вскинувшие снега к облакам, благословляя все высокое и прекрасное на свете. С тех пор прошло много времени. Мы пережили жесточайшую войну с фашизмом, знали горечь поражений и радость победы. Было много сложного и трудного в нашей жизни. Но каждый из нас трудился, делал свое дело. Николай Семенович все так же оставался большим поэтом и крупным общественным деятелем, возглавляющим движение советских борцов за мир. Он, старый испытанный солдат, отдавал в послевоенные годы, отдает и сейчас, свои силы и талант великому делу мира. И вот ему уже семьдесят лет. Мы не в силах спорить с неумолимостью времени. На такое способна только поэзия. Это еще раз доказывается на примере лучших стихов Николая Тихонова. Они остаются молодыми и сегодня, когда прошли десятилетия после их создания. Такова участь всего значительного в искусстве. Годы, прожитые поэтом, явились значительными, как и его творчество, они были полны высокого смысла, напряжения, подлинной жизни, творческой энергии. Тихонов всегда жил, как восходитель, и дышал высотным воздухом деятельной жизни.

Молодой Тихонов принес в советскую поэзию, как один из ее лучших зачинателей и создателей, собственные

ритмы и краски. Читатели сразу же почувствовали, что автор «Орды» и «Браги» шутить с жизнью и поэзией не намерен. Он был резок и определен. Радостные и горькие силы жили в его стихах бок о бок, что являлось верностью жизни. Он писал:

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов...
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Он был правдив с самого начала, как подобает таланту. Утверждал: «Длинный путь. Он много крови выпил». В нем слились воедино твердость бойца и нежность крестьянского парня, вдали от дома вспомнившего мать. (Это так, хотя я знаю, что Тихонов происходит не из крестьян.)

Вот строки, свидетельствующие о такой слитности, вот чистый человеческий голос, донесшийся к нам из тех далеких и суровых дней:

Когда уйду,— совсем согнетса мать,
Но говорить и слушать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.

Из рук уронит скользкую иглу,
И на щеках заволокятся пятна,
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.

Последние две строки каждый раз вызывают у меня слезы и делают Тихонова в моих глазах одним из тонких лириков века. Для своей молодой книги «Брага» Николай Семенович взял эпиграфом знаменитую строку Александра Блока: «...И вечный бой! Покой нам только снится...» К тому времени он уже знал, что значит бой, знал его цвет и запах. Поэт понял, что вечное движение жизни связано с вечным боем света с тьмой. Эту трагическую мудрость каждый постигает заново. Она не старится, как и сама жизнь и ее вечное движение. Такого трагического света и в то же время мужественной энергии полна «Брага» — одна из лучших книг советской поэзии, одно из замечательных поэтических созданий века. Как прекрасны и правдивы ее откровенные строки:

За море, за горы, за звезды спор,
Каждый шаг — наш и не наш,
Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!

3

Тогда же высказал Тихонов и вот эту поэтическую истину:

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед...

Эти замечательные строки я взял из знаменитого «Перекопа». Соблазн все время толкает процитировать все стихотворение. Но это невозможно. Как мне нравится горькая энергия тихоновского шедевра! Я всю свою довоенную молодость знал и обожал стихи моего старшего собрата о Перекопе и Сиваше. Но я не мог тогда знать и предвидеть, что судьбе будет угодно бросить меня также в грозные бои на Сиваше и Перекопе, может быть, еще более жестокие, чем те, которые когда-то видел Тихонов. Я тоже стал свидетелем как бы повторения сказанного в знаменитых балладах русского поэта. Ноябрьской ночью в воде по грудь переходил я через Сиваш, а также не раз лежал под артиллерийским огнем на Перекопе. Видел, как снова «живыми мостами мостят Сиваш». Признаться, я как-то гордился тогда, что иду по следам Тихонова. Даже попытался выразить это в стихах, открывавших мой цикл «Перекоп». И сегодня, когда в ноябрьской Москве пишу эти строки в честь Николая Семеновича, я позволю себе вспомнить собственные стихи, рожденные в те далекие и суровые дни на Перекопе:

По следу героев гражданской войны
Идем мы под рокот сивашской волны,
И ветер, гудящий в ночах боевых,
Над нами звучит, как легенда о них.

И Тихонов другом приходит ко мне
В балладе своей о гражданской войне.
Подковы заржавели — времени след.
Поэзии, подвигам ржавчины нет!

Нам тоже Турецкий прославленный вал
В бою острой пылью гортань забивал,
И тоже от раны мы падали вдруг,
Оружия не выпуская из рук.

Приводя эти давние свои строчки, мне хочется сказать не только о своей многолетней любви к большому поэту, но и о том, что в жизни все преемственно, все доброе переходит от отцов к детям, как умение печь хлеб и разжигать огонь. В этом-то и заключено бессмертие мастерства в любой области, в малом и большом. В дни боев на Сиваше и Перекопе мне казалось странным и в тоже время очень значительным, что я шел по следам Тихонова и видел не менее отважных и твердых бойцов, чем герои его баллад. Тут же хотел бы отметить, что все новое является продолжением сделанного прежде. Орленок учится полету у орлицы. Кто не имеет уважения к тому, что было сделано до него, не может уважать и то, что делается с ним рядом. Творчество идет путями преемственности и учебы. И так всегда. Этого не может отрицать ни один умный художник, каким бы новатором он ни был. Все подлинное вырастает из подлинного. Дочь может иначе выводить узоры на вышивке, чем мать, но она обязательно учитывает мастерство матери, которая учила ее своему искусству. Так и в поэзии. Многие из нас учились и учатся до сих пор у Николая Тихонова. И в данном случае его уроки остаются одними из значительных для нас. Хочу признаться, что я многим обязан его музе.

Какой точный стих у тихоновских баллад! Ни мишуры, ни украшательства. Ничего лишнего. Замечательный лаконизм. Каждая строка — словно удар клинка. Эти стихи просты, как камень и дерево. Вспомним хотя бы первые две строки знаменитой «Баллады о синем пакете»:

Локти резали ветер, за полем — лог;
Человек добежал, почернел, лег.

А драматичнейший ее конец:

Письмо в грязи и в крови запеклось,
И человек разорвал его вкось.

Прочел, о френч руки обтер,
Скомкал и бросил за ковер:
«Оно опоздало на полчаса,
Не нужно — я все уже знаю сам».

Какую из баллад мы ни возьмем, в любой из них заключена суровая, драматичная, мужественная сила, в них образная художественная мощь. Они освещены светом высокой трагедии. Их воздействие на читателя до сих пор

неотразимо. Меня каждый раз охватывает дрожь, когда я повторяю стихи из «Баллады о гвоздях»:

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце пад водой.
«Не все ли равно,— сказал он,— где?
Еще спокойней лежать в воде».

Мы должны знать и понимать, какие замечательные произведения создавала советская поэзия еще на заре своего рождения. Таковы и ранние стихи славного мастера, большого художника Николая Тихонова. Его баллады составляют честь и славу многонациональной и многоцветной нашей литературы.

4

Мне хочется остановиться на одной характерной черте советской поэзии. Это ее интернационализм, интерес к жизни других народов, уважение к их судьбам, истории, настоящему и будущему. Такой же была издавна великая русская муза. И одним из крупнейших продолжателей этой благородной традиции является Тихонов. Сын петроградского ремесленника, еще мальчиком, погружаясь в чтение книг, был пленен Востоком. Потом пришло время, когда советский поэт мог встретиться с настоящим Востоком лицом к лицу. И свою книгу стихов «Юрга» он создал одним широким дыханием, наполнив ее знойным воздухом Средней Азии, в частности Туркмении. Объясняясь в любви к подлинной трудовой жизни народов страны, поэт уже опровергал ложь и выдумки посредственных книг о Востоке:

Апаясы и тигры, султаны в кирасе,
Ожерелья из трупов, дворцы миража,—
Это ты наплодила нам басен —
Кабинетная выдумка, дохлая ржа.

Нет в пустыне такого Востока,
И не стоишь ты, как ни ворчи,
Полотняных саног Куперштока
И Гуссейнова желтой камчи.

Проходя по оазисам и пескам, поэт видит прошлое и настоящее страны, хочет понять ее будущее, становится свидетелем обновления и возрождения удивительного древнего края. Он размахисто размешивает все краски. В его стихи входят верблюды и тракторы, лихие скакуны и машины. Он всматривается в узоры ковра, стараясь постичь

и понять чудо мастерства. И когда читаешь эти стихи, как бы пересыхает в горле. Приведем хотя бы несколько строк из стихотворения «Старый ковер», чтобы снова почувствовать мудрую и знойную образную силу тихоновской книги:

Читай ковер: верблюжьих ног тростины,
Печальных юрт печали и набег,
Как будто видишь всадников пустыни
И шапки их в таинственной резьбе.

Прими ковер за песню, и тотчас же
Густая шерсть тягуче зазвенит.
И пить шелков струной скользнувшей ляжет,
Как бубенец, скользнувший вдоль ступни.

В книге Тихонова нашли свое поэтическое выражение драматизм борьбы за будущее, трудный уход прошлого. Тут я могу сослаться на превосходное стихотворение «Прощание с омачом». Древний плуг нелегко покидает жизнь, уступая место машинному плугу. Тут мы снова, как и в тихоновских балладах, встречаемся с верностью действительности, снова видим отсутствие всякого подслащивания. Все сурово и правдиво, радость остается радостью, боль — болью. Жизнь врывается в стихи со всей сложностью, трудностями, трагедией. Так поэт проникновенно, одним из первых, воспел землю и небо Туркмении, ее мастеров и строителей, прокладывая новые пути в нашей поэзии, расширяя ее горизонты и возможности. Он, неутомимый мастер и землепроходец, влюблялся в краски новых для него краев и отлично умел переносить их в прекрасные русские стихи.

Радостным откровением явились «Стихи о Кахетии». В них читатель встретил ликующую силу настоящей поэтической зрелости Тихонова. Любовь к Грузии, к ее людям и неповторимой природе, к ее истории, винограду и камню, любовь к величию Кавказа нашла в этих стихах вершинное выражение. Ликование и радость живут в таких столько раз цитировавшихся строках:

Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.

И дальше продолжается это праздничное ощущение от общения с прекрасной землей древней и вечно молодой Грузии:

И струился ток задорный,
 Все печали погребя:
 Красный, синий, желтый, черный,—
 По знакомым погребам.

Мы знаем, чем был Кавказ для русской поэзии от Пушкина до Есенина, от Лермонтова до Пастернака. И Николай Тихонов всю жизнь песет свою большую любовь к Кавказу, став одним из лучших его певцов. Кавказ также отвечает ему полной взаимностью. Преданной любовью к горским народам дышат стихи превосходного цикла «Горы», написанного перед Великой Отечественной войной. То же самое надо сказать и о поэмах «Серго в горах» и «Грузинская весна».

5

Николай Тихонов является первым среди славных мастеров советской культуры, которые служили и продолжают служить великому делу братства людей и народов. Он хорошо знает объединяющую человеческие сердца силу поэзии, и ей он отдает весь свой большой талант и опыт. Если бы даже я был специалистом, не смог бы в одной статье сколько-нибудь полно сказать о творчестве такого крупного писателя, каким является Тихонов. Я пытаюсь просто как бы передать мое собственное восприятие его поэзии, совершенно не касаясь блестящих рассказов и всей его прозы. Но все же не могу не коснуться переводческой работы Николая Семеновича. Еще на Первом съезде писателей СССР он высказал благородную мысль о том, что необходимо убрать стену между поэтами всех народов страны и начать широко переводить на русский язык лучшие поэтические произведения всех народов. И сам стал одним из пионеров в осуществлении этой идеи. Разве можно забыть, какие замечательные переводы были сделаны Тихоновым с языков народов Советского Союза? Тут достаточно вспомнить хотя бы стихи выдающихся поэтов Леонидзе и Чиквани. Николай Семенович использовал все ему доступные средства для сближения сердец и культур народов. Прекрасная его переводческая деятельность также является одним из таких могучих средств.

Поэзия Николая Тихонова брала барьер за барьером, оставляя позади большие вехи, как бы заново открывая Россию, Среднюю Азию, Кавказ и весь мир. Раздвигались

горизонты, масштабы, и ложились на полотна новые краски. В предвоенные годы он написал книгу стихов «Тень друга», полную тревоги за судьбы мира и предчувствия военной катастрофы. Он видел на улицах западных городов тень от ружей, которая ложилась на играющих детей. Он предвидел ужасную судьбу погибающих под ударами бомб городов, когда писал о ночном европейском городе:

Такой горластый — он немест,
Такой пропащий — не сберечь,
Такой в ту ночь была Помпея,
Пред тем как утром цеплом лечь.

К тревоге военной опасности в те годы поэт возвращается снова и снова. Едва ли было написано тогда что-либо равное стихам Тихонова о предчувствии предстоящей трагедии невиданной войны. Очень глубоки и драматичны эти стихи. Тихонов писал с горечью и тревогой:

Противогаз! Твоей резиной липкой
Обтянута Европы голова,
И больше нет ни смеха, ни улыбки,
Лес не шумит, и не шуршит трава.

Война пришла неумолимо, как предчувствовал поэт. Николай Тихонов снова надел привычную военную шинель. Он много месяцев провел в осажденном Ленинграде. Страна читала его стихи и рассказы о ленинградцах, переживавших неслыханные страдания и показавших небывалую стойкость. Знаменитый поэт был достоин своего великого города. Им была тогда же написана поэма «Киров с нами!». Ее ритм суров и трагичен, как жизнь страны тех лет. Она напоена горьким воздухом времени. Снова прислушаемся к голосу самого поэта, ощутим мощь поэмы:

Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается воем—
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невой,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.

Когда обращаешься к железным строфам этой поэмы, вновь понимаешь, что город, в котором поэт сумел создать произведение, полное такого мужества, такой веры и энергии, не мог взять враг.

Николай Тихонов живет как воин и мудрый мастер, влюбленный в жизнь и поэзию.

Большие годы — как хребты за спиной, годы восхождения и вдохновения.

А впереди новые дороги, зов новых строф.

Мастерство, как и жизнь, не знает старости.

1966

НАРОДНЫЙ ПОЭТ

1

Мне давно хотелось написать об Александре Твардовском, но все не решался, зная, как сам он строг и суров в оценках и суждениях о литературе. Он ведь сказал:

Я, как конщупства, краснословья
Остерегаюсь, как беды.

Общаясь с Твардовским, беседуя с ним или говоря о нем, я тоже каждый раз боялся краснословья. Боюсь и сейчас, когда сел за эти заметки о нем — поэте народном в истинном значении слова. Многим из нас официально присвоено это звание, но первым народным поэтом страны является Твардовский — лучший из нас. Глубина, с какой его поэзия выразила народную жизнь и наше время, простота и естественность этой поэзии, ее правдивость и серьезность, точность языка и речевая свобода кажутся мне несравненными. Редкостная содержательность, не мнимая, а подлинная народность, оригинальность без оригинальничания, новаторство, а не игра в новаторство, новизна по глубине и значительности сказанного — вот главные, по моему мнению, качества, которые его творчество сделали достоянием не узкой группы любителей стихов, а всей читающей массы, всего народа. Поэзия Твардовского отмечена теми чертами большого искусства, которые делают искусство необходимым для людей. Она освещена светом сердца крупной, очень крупной личности.

Все это вместе взятое позволило ему стать не только выдающимся, как о нем обычно пишут, а великим поэтом

современности, живым классиком волшебной русской поэзии, занять место в одном ряду с ее чародеями. Его поэзия, прсникнутая мощью и целомудрием народной души, освещенная ее светом, мужеством и совестью, ее радостью и болью, редкостной силой и чистотой русского языка, так сильно и честно выразила нашу эпоху с ее небывалыми потрясениями, всемирно-историческими событиями и принесла ему не дешую популярность, на которую так ладка посредственность, а всеобщее признание и настоящую славу, которая с годами будет не убывать, а возрастать и останется за ним так же, как она осталась за его великими предшественниками от Пушкина до Блока.

2

...Так я начал статью об Александре Твардовском за два месяца до его смерти — такой безвременной, такой горестной для всей нашей культуры, для всех нас. Теперь, после того, когда мне пришлось стоять холодным декабрьским днем у его свежей могилы на Новодевичьем кладбище, еще труднее писать о нем — боль, сжимающая сердце, велит молчать. Я не считаю себя самым слабым из людей, но мне трудно. Так больно и трудно от сознания того, что на моем веку больше уже не будет у нас поэта такого масштаба и я больше никогда не узнаю счастья общения с таким крупным Человеком-художником, каким был Твардовский. Смерть великого поэта — всегда всенародное горе. А боль тех, кто пользовался его признанием или добрым отношением, просто невыразима. Мы потеряли самого большого поэта наших дней, лучшего из нас. Потому-то горе велит молчать и все слова о нем кажутся мне сейчас бессмысленными. Только мое восхищение им, борясь с горем и болью утраты, диктует мне эти строки. И я не боюсь, что мое слово восхищения смутит кого-нибудь, я не стану стесняться больших слов. Когда он был еще здоров, я почти не надписывал ему своих книг и редко давал волю чувствам, когда говорил с ним или писал ему. Мне всегда хотелось сказать Александру Трифоновичу очень большие слова, но считал неловким говорить их именно ему, так строго относящемуся к слову.

Теперь я попытаюсь сказать о нем то, что при его жизни не осмеливался говорить ему или писать. Я не буду сму-

щаться тона своего разговора, каким бы высоким он ни оказался. Так поступали не раз литераторы гораздо выше меня. Я помню, как писал, например, Стефан Цвейг о Верхарне, которого обожал.

Мне посчастливилось в течение многих лет пользоваться хорошим отношением Александра Трифоновича, его дружеским расположением ко мне. Заслуженно или нет — не об этом сейчас речь. Бывает и так, что выдающиеся художники хорошо относятся и к таким собратьям, которые не заслужили того своим дарованием. Это нам известно из истории культуры. Ряд лет я часто печатался в журнале «Новый мир», который он редактировал и которому отдал столько драгоценного времени, таланта, ума, сил и энергии. Об этом я говорю не как о своей заслуге, а потому, что считал для себя благом и радостью одобрительное отношение Твардовского к моей работе и то, что мои вещи проходили через его руки и печатались под его редакцией. Ничего подобного мне больше не приходится ждать. Такого в моей жизни больше не будет.

Чем старше я становился, тем больше постигал могучую силу, значение и кажущуюся мне непостижимой художественную мощь его поэзии. Он из тех поэтов, для которых родной язык становится таким же священным, как земля отцов, ее хлеб и материнское молоко, сделавшие из нас людей. Кто не дорожит словом в самой высшей степени, относится к нему без самозабвенной любви и готов, как говорится, бросать его на ветер, тот, конечно, не может быть крупным художником слова. Мы знаем, что речь — одно из чудес, дарованных нам жизнью, а язык каждого народа — это его бесценное сокровище, ничем не заменимое богатство. Уважение к языку и безоглядная преданность ему — первая заповедь для писателя. На горячей любви к родной речи, на чуткости к ней держится работа литератора, с любви к ней и необыкновенной привязанности, плененности ею начинается жизнь поэта. Он должен не только лучше всех знать язык, чувствовать его стихию, как хороший конь дорогу, но на всю жизнь оставаться замороженным его красотой и силой, его неповторимым звучанием, как голосом матери и цветением дерева в отцовском дворе или шумом речки, протекающей плечью мимо родительского дома. Для поэта в родном языке постоянно живет созревание пшеницы, зелень дерева, желтизна подсолнуха, сияние звезд над родным жилищем, радость рас-

света и грусть об ушедшем дне, который уносит с собой гомон птиц и шум игравших во дворе детей. Среди нас не было поэта, который бы так знал свой язык, так ценил слово, был так пронзен до конца красотой родной речи, так заботился о точности и естественности поэтического слова, как Твардовский. Иного мнения не может быть у тех, кому дорога литература, кто следил с интересом или с любовью за его работой — такой обширной, за всей его деятельностью — такой подвижнической и мужественной.

Мне помнится, что Михаил Исаковский свою статью к пятидесятилетию Твардовского озаглавил: «Наш самый лучший поэт». А Ярослав Смеляков, не только человек большого таланта, но и острого ума, в течение многих лет неоднократно возвращаясь в наших разговорах к Твардовскому, постоянно называл его первым поэтом Советской России. Так было и за несколько дней до кончины Александра Трифоновича, когда я заехал к Ярославу Васильевичу в Переделкино. А подозревать Смелякова в том, что он не знает себе цену, или в неискренности я никак не могу. Его мнение ценно еще и тем, что он тоже скуп и жестко правдив в своих оценках. Кроме того, мне кажется очень важным, что один крупный художник говорит о другом. Ведь посредственность чаще всего самым значительным явлением считает себя. Потому в свое время Бунин с неприязнью говорил о стихотворцах, кричащих на весь кабак о своей гениальности.

Сказанным я вовсе не стараюсь убедить читателей в том, что Твардовский большой поэт. В этом нет надобности, это давно доказано его творчеством и всем известно. Я хорошо знаю, что он при жизни не нуждался ни в моем, ни в чьем бы то ни было славословии. В этом также не нуждается его поэзия и после смерти Твардовского. Она дошла до сердца народа и закрепились в его сознании, вошла в сокровищницу его культуры. Я знаю, что ему было противно всякое фальшивое, неправдивое слово, он не выносил его. А потому хочется сказать о нем правдиво, насколько это доступно мне, понимая при этом, о каком большом человеке и художнике идет речь, и сознавая свою ответственность перед его памятью. Я хочу, пусть даже бегло, ибо эти строки пишутся в больнице, сказать слова любви и восхищения о том поэте, о том человеке, память которого свята для меня. Она дорога для всех, кто ценит поэзию, высшие духовные достижения советского народа,

его культуру, а также человеческое мужество и совесть. Я хочу сказать свое слово любви и прощания о человеке, одним знакомством с которым я должен был бы гордиться всю жизнь, если бы даже не было большего, потому что он был из тех редких людей, которые не так часто появляются на земле, а появившись, живут так, делают свое дело так, что каждый из них еще больше оправдывает существование человеческого рода, еще и еще раз доказывает, как прекрасны и сильны творческие, созидательные возможности человека, как бесценны ум, талант, благородство, как бы в течение столетий враги культуры не старались растоптать их, как бы ни наступало на них человеконенавистничество реакции всех времен, самым жутким выражением которой стал фашизм. Александр Твардовский, как коммунист, как советский писатель-гуманист, был среди борцов против фашизма в годы войны и в годы мира.

3

Мое слово гордости тем, что он сделал, и мое слово горя от утраты о том поэте и человеке, который за два дня до смерти одной ослабевшей левой рукой обнимал меня и так горестно смотрел на меня теми, похожими на небо России, глазами, которые я знал такими зоркими и в которых видел его необыкновенный ум. Этих глаз я больше не увижу и не пожму по-крестьянски крепкую руку, написавшую «Василия Теркина», «Дом у дороги», «За далью — даль» — шедевры нашей поэзии, чудесный эпос века. Я человек, знавший много потерь. Утрата Твардовского — одна из тяжчайших моих утрат.

О ком бы из творческих людей мы ни писали, важнее всего быть верным истине. Только тогда и стоит писать. А в данном случае истиной является то, что творчество Александра Твардовского — это эпоха в поэзии, он был выдающимся нашим современником, одним из редких сынов своей родины. Преувеличить значение его работы и личности невозможно. Он принадлежит к семье тех поэтов и тех людей, именами которых будет отмечен наш век. Гору полагается называть горой. Ей самой жизнью навсегда дарована высота.

Давайте вспомним стихотворение «Слово о словах». Из него я процитировал две строки в самом начале моих заметок. Оно, по-моему, уникальное. Мне хочется остано-

виться на нем. И вовсе не с целью школьного разбора. Это стихотворение — кредо Твардовского-поэта. Не только возможность, но и право написать подобное стихотворение имел только такой поэт, каким был Твардовский — художник с мудрым сердцем и чистой совестью, до последнего дыхания преданный поэзии, человек большого гражданского мужества и честности, писатель, обожавший свою землю, родной язык, без остатка преданный им, точно и мудро знавший цену слову, непримиримый враг лжи, позы и фальши, литератор, умевший дорожить словом — народным достоянием и сокровищем, как жизнью, поэт, для которого слово неотделимо от его совести художника и гражданина.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,

Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Те, кому все равно по какому поводу рифмовать слова, не только не могут написать такое — куда там! — но и не имеют права. Это право надо завоевать талантом и творчеством, всей своей жизнью, верностью художнической чести и достоинству. Речь прежде всего идет, конечно, о таланте. Без него не выручат ни знания, ни старания, ни спыт. Мастерство без таланта — мертвое дело. Да и бывает ли такое мастерство? Таланту, как известно, свойственны острое чутье и пронзительная искренность. Бывают ли исключения — не знаю. Но едва ли. Борис Пастернак, например, утверждал, что талант учит чести. Он же писал, что шекспировский Яго так бесчестен потому, что бездарен. И завистлив потому же. Не то же ли самое и с пушкинским Сальери? Хотя и настоящий Сальери так же спльно завидовал настоящему Моцарту, даже не прощал своим ученикам любовь к нему и после смерти Моцарта. Так было у него, к примеру, с Шубертом. А вот Пушкин никому не завидовал. Думаю, что так же было и с Моцартом. Только у очень крупных людей не бывает черной зависти. Один раз Твардовский при мне говорил одному из наших товарищей, что мы должны иметь возле себя только достойных людей-поэтов, не бояться, что они нас могут опередить. Пушкина радовала каждая хорошая строка. Найдя какую-нибудь замечательную строчку, он выводил на полях книги свое

любимое слово «прелесть». Это щедрость гения. На такое, мне кажется, способен и крупный талант. Талант нельзя заменить ничем — ни умом, ни мудростью, ни образованием, хотя они, паверное, очень полезны таланту и являются подспорьем для него. Мы знаем, что Пушкин был, как верно сказала Марина Цветаева, умнейшим мужем России. Одним из умнейших людей, каких мне приходилось видеть, был и Твардовский. Но все же только талант дает право поэту носить его прекраснее от века звание.

А сколько людей без права на это печатают стихи, да не только стихи! — издают книги, даже много книг. Что поделаешь, на земле растут не только розы. Когда пишет недаровитый человек, мучимый тщеславием и желанием известности, но лишенный чутья и чувства достоинства, ему все равно о чем трезвонить, лишь бы слушали его, только бы всегда быть на виду, не упустить возможности показать себя, не проморгать даже те жизненные блага, на которые нет у него прав. У чегемских крестьян есть поговорка: «Тот, у кого нет совести, съедает и то, что было приготовлено не для него». А у крупного художника, горячо любящего не только себя, но и свою родину, ее создателей и их труд, родную культуру и родную речь, совесть всегда на первом месте. Вот почему, мне думается, Твардовский — поэт в высшей степени верный совестливости и целомудрию великой русской поэзии, обращается к своей Родине точными, искренними словами:

Не белоручка и не лодырь,
Своим кичащийся пером,—
Стыжусь торчать с дежурной одой
Перед твоим календарем.

Это говорит поэт, который весь свой громадный талант отдал Советской Родине, вновь возродил мощь глубочайшей содержательности, естественности и драгоценной простоты великих мастеров русского слова, в самые трудные для страны годы войны находился на фронте, был в строю, чей Теркин стал близким и дорогим для всех нас, а сама Книга про бойца — одной из самых замечательных, которой зачитывались на фронте и в тылу. Огромный талант, редкий ум, большое сердце Твардовского до конца принадлежали горячо любимой стране, ее пахарям и воинам, ее строителям, ее культуре. Всем нам известно, что он создал самые крупные и глубокие поэтические произведения о самых сложных периодах в жизни советского народа.

Его поэмы — это шедевры поэзии и подлинный эпос нашего времени. И этому эпосу суждена долгая жизнь. Какое произведение поэзии о периоде коллективизации может стать рядом со «Страной Муравией», принесшей ее автору известность и признание? А какая другая поэтическая книга, да и не только поэтическая, о Великой Отечественной войне в силах соперничать с «Василием Теркиным»? Разве есть у нас произведение о послевоенной созидательной жизни страны, равное поэме «За далью — даль»? Каждое из этих созданий Твардовского стало вехой в нашей многонациональной литературе, явлением и событием советской культуры. Я убежден в том, что поэмы Твардовского остаются одним из самых высоких духовных достижений нашего времени, всей советской культуры — такая в них художественная мощь, глубокое содержание, они так правдиво и сильно выразили эпоху, судьбы и душевный мир советских людей с их страданиями и победами.

Как перед миром потрясенным
Величьем подвигов твоих,
Они, слова, дурным трезвоном
Смущают мертвых и живых.

Мне кажется, что каждый, кто считается поэтом и берет на себя такое бремя и ответственность, должен не только выучить наизусть стихотворение Твардовского, но и переписать его большими ученическими буквами, прикрепить лист к дощечке и постоянно держать перед собой на письменном столе, как поэтический кодекс, как правило поведения в общежитии или распорядок дня. Мы обычно говорим, что поэзия учит людей всему хорошему. Если это так, то цитируемое стихотворение учит поэта уважению к слову, тому, что он не имеет права бросать его на ветер, говорить слова, у которых «дурной трезвон», учит самому высшему в человеке и художнике — чести и совести, целомудрию и благородству, чуткости и достоинству, без которых нет творчества и большого искусства, а есть только их видимость, их тень. Без этих драгоценных черт не бывает крупной личности и большой судьбы. А нам известно, что выдающийся художник — это всегда характер и значительная личность. Разве не об этом говорит нам история культуры?

Больно и стыдно, когда мертворожденный суррогат выдается за произведение поэзии, а словами, рожденными «без божества и вдохновения», мы пытаемся сказать о жи-

вой жизни, полной потрясений, поражений и побед, о человеческой радости и горе, о жизни наших людей, несших и несущих на своих плечах весь гигантский груз времени, о сказочных былях страны. Бездушная стражня людей, лишенных дарования, но обладающих качествами, не имеющими отношения к творчеству, печатается, издается, к сожалению, в большом количестве и нередко находит поддержку и поощрение у иных редакторов и критиков. А плохо сделанное дело обычно приносит мало пользы или большой вред. Все мы, кто причастен к художественному творчеству, обязаны понять одну суровую истину: искусством надо называть только то, что действительно является им. И еще: безжизненные и фальшивые сочинения никогда и никому не делали чести, не возвеличили перед человечеством и потомством ни одну эпоху, ни одного героя. Это делали только произведения искусства, рожденные талантом и вдохновением, озаренные их светом. Живут и будут жить, прищеся честь и славу их Родине, только те произведения, которые отмечены печатью вдохновения и бескорыстия, верные правде времени, самым передовым его идеям, верные человеку, его радостям и страданиям, его мужеству и надеждам. Вот почему Твардовский, творчеству которого свойственны именно эти черты, написал:

Как, обольщая нас окраской,
Слова-труха, слова-утиль
В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

По праву лучшего поэта наших дней Твардовский забил тревогу, видя, как часто недаровитые, но тщеславные стихослагатели безответственно относятся к словам, унижая поэзию и родной язык. Дурно и фальшиво сказанное слово — будь оно о великом явлении или герое — звучит всегда как оскорбление, «до пошлой сказки низводят сказочную быль». С этим, к несчастью, часто приходится сталкиваться. Это очень тревожило Твардовского, должно тревожить и нас. Почему становится нормой считать поэтом всякого, кто рифмует слова? Их щедро печатают, издают. И они гордо именуют себя поэтами, обожают говорить — «моя поэзия», «мое творчество», «я поэт». Они в силу отсутствия чутья не могут понять, что поэт не называет себя вслух этим имением, понимая,

как трудно нести это бремя. Для того чтобы понять это, надо иметь дарование, ум и скромность. Последняя, кстати, никому не мешала стать крупным или великим писателем. Чехову, например. В скромности заключено не только обаяние. Она также заставляет быть строгим к себе и ведет к совершенству. В этой связи всем нам, литераторам, полезно почаще вспоминать Чехова. Вот на каких примерах нам бы хорошо учиться. Их много. Но часто, к сожалению, лучшие уроки не идут нам впрок, и мало мы о них думаем. Учеба, как известно, вещь серьезная, она требует многого. Говоря так, я вовсе не утверждаю, что сам я такой скромный, уминый и умею хорошо учиться у больших мастеров, а только говорю о своем идеале и горько сожалею о том, что не всегда это понимал.

Почитайте внимательно автобиографию, статьи и речи Твардовского. Там вы ни разу не встретите слов: «я как поэт», «моя поэзия», «мое творчество». Он говорил о себе: «моя работа», «я как литератор». Вот кусочек из его автобиографии: «Со «Страны Муравни», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут охарактеризовать меня как литератора». И в этом опять-таки я вижу верность лучшим традициям классической русской литературы, человеческой скромности ее крупнейших деятелей. Будучи таким писателем, сделавшим в литературе столь много, человек, создавший образцовые произведения советской поэзии, имел право написать и такие вот строки:

И я, чей хлеб пасущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал,
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал;

Чтоб не мешать зерно с половой,
Самим себе в глаза пыля,
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый.
Не просто пекий матерьял,—
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

Как хочется, чтобы каждый поэт с самого начала учился относиться к своей работе с таким же чувством ответственности, с такою же серьезностью. Я хорошо сознаю, что «Слово о словах» не пуждается в моем толковании. А остановился я на этом стихотворении, считая, что в нем кредо Твардовского-поэта, суть его поэзии и его отношения к творчеству, выраженные сжато и сурово.

4

Александр Трифонович любил слово «достоинство». Свою небольшую, но замечательную статью, написанную в дни смерти Анны Ахматовой и обращенную к ее памяти, Твардовский озаглавил «Достоинство таланта». Едва ли можно было найти лучшее название в данном случае. Эта статья кажется мне шедевром, ее хочется выучить наизусть, как стихи, пленившие нас. Ничего лучшего об Ахматовой мне не приходилось читать. Оно и понятно. Статьи и речи Твардовского — это особый разговор. Пятый том его последнего прижизненного собрания сочинений каждый из нас, литераторов, должен изучить внимательно и кропотливо, как говорится, от корки до корки. И статьи его — явление редкое — такая в них самобытная глубина мысли, присущий одному только Твардовскому тон разговора. И тут соединились громадный талант, большой ум, культура и прозорливость. В них сильно ощутима печать неповторимости его крупной индивидуальности, удивляет тот богатый, обворожительно чистый, сильный язык, каким написаны его статьи о Пушкине, Бунине, Маршаке, Исаковском.

Вернусь к разговору о достоинстве человека и художника. Когда об этом говорил Твардовский, это каждый раз мне было особенно понятно и дорого еще и потому, что на земле моих отцов, где я рос среди хлеборобов, пастухов и каменотесов, слово «достоинство» являлось одним из самых первых и драгоценных. Достоинство для жителей гор всегда оставалось дорогим, как родная земля, которую они так старательно пахали каждой весной. Это было у них в крови, всасывалось с молоком матери, людей в горах с детства учили чести и достоинству. Кто их терял, тот в глазах земляков как бы терял и жизнь, перестав быть человеком. Так жили крестьяне в наших горах.

Тут не убавить,
 Не прибавить,—
 Так это было на земле.

А Пушкина разве не честь и достоинство призвали к поединку, в котором была оборвана пулей жизнь гения? Кто бы из мыслящих людей мог осудить Пушкина, одного из умнейших людей века, за то, что он вышел на этот поединок? Другого решения у него не могло быть. Он жил и умер с достоинством. Так велела ему честь великого художника. Бесчестье — удел бездарных. Моцарт у Пушкина говорит, что гений и злодейство несовместны. И это больше всего тревожит пушкинского Сальери, так хотевшего быть гешем и отравившего гениального музыканта.

Все прекрасное, что так трудно дается, связано с честью и достоинством. От них также неотделимы преданность Родине, подвиг и творчество. Еще одним подтверждением верности этой мысли являются личность и творчество Твардовского. Наряду с крупнейшими предшественниками он стал примером для нас потому, что, обладая выдающимся талантом, прожил свою жизнь с большим достоинством, благородно и мужественно, до конца остался верным совестливости русской классической литературы, удивившей мир своим величием. Большой поэт и жил как крупный человек. Потому так горестна его безвременная смерть. Пока еще нам трудно в полной мере осознать значение этой невосполнимой утраты. Неповторим каждый человек, а такой поэт и человек, каким был Твардовский, — тем более. В чем мы можем найти утешение в эти горькие дни, когда он ушел от нас навсегда? Только в том, думается мне, что его поэзия, все им сделанное за его недолгий и нелегкий век, останутся на земле, останутся с людьми надолго, мы уверены в том, что его создания не перестанут читать, пока будет звучать русская речь, которую он обожал, которой так блистательно и бескорыстно служил. Будем верить, что еще вырастут у нас великие поэты, для которых пример и уроки Твардовского станут такой же школой, какой были для него самого творения Пушкина и Некрасова.

Мне кажется, что у большого художника обязательно должен быть большой характер. Таким мы знали и Твардовского. Пусть он сам подтвердит то, что я пытаюсь сказать:

Вся суть в одном единственном завете:
 То, что скажу, до времени тая,
 Я это знаю лучше всех на свете —
 Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
 Я никогда бы ни за что не мог
 Передоверить. Даже Льву Толстому —
 Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответо
 Я об одном при жизни хлопочу:
 О том, что знаю лучше всех на свете,
 Сказать хочу. И так, как я хочу.

И еще:

С тропы своей ни в чем не отступая,
 Не отступая — быть самим собой,
 Так со своей управиться судьбой,
 Чтоб в ней себя нашла судьба любая
 И чью-то душу отпустила боль.

В этих глубоких и упрямых строках выражено очень важное и трудное для поэта, что и делает его самостоятельным и до конца определенным. Такое отношение к своему делу дает ему возможность работать без оглядки, самозабвенно, сказать то, что никем, кроме него, не может быть сказано. Без такого убеждения, без подобной определенности и значительности характера невозможно стать большим писателем, сказать свое индивидуальное слово в литературе. А такое дается далеко не каждому из пишущих, вернее — не многим. Счастье быть в числе тех немногих имел Александр Твардовский.

Мы часто говорим о новаторстве в поэзии. Многие, по моим наблюдениям, понимают под этим словом чисто внешние признаки. Некоторым кажется, что Маяковский, например, был новатором лишь потому, что впервые стал писать стихи лесенкой. Думать так — очень наивно. Маяковский стал новатором не просто внешней структурой стиха, а сущностью и значимостью сказанного, новым революционным содержанием своей поэзии, той, что сделало его крупнейшим поэтом Октябрьской революции. Очень важна, конечно, форма, но, думается, даже самая прекрасная форма без содержания — дело пустое. Значительность сказанного, глубина содержания — вот главное. Новизна формы в серьезном смысле слова имеет огромное

значение, но еще большее значение имеет новизна содержания. Не надо заниматься пустяками, мишурой и игрой в рифмы. Годы работы и размышлений, опыт привели меня к такому убеждению. А потому я считаю Твардовского выдающимся новатором, несмотря на то что он пользовался так называемым традиционным стихом. О традиционном стихе говорят часто, путая все, как будто в каждое десятилетие создается новый стих! Это несерьезно. Посмотрите повнимательнее, какие новые, своеобразные, неповторимые оттенки приобрел этот стих у Твардовского! Ни у кого не было тех интонаций, такого словаря, оттенков, образов, какие мы находим у него. Все идет от его индивидуальности, все у него своеобразно, самобытно, пропущено через его большое сердце, все выношено, пережито, освещено светом его могучей души, во всем сказывается его крупная индивидуальность. Перед нами встает мощный, монопольный и цельный образ редкого художника, волшебного мастера слова. Мир его поэзии особый, как облик большой горы, похожей только на самое себя. Мне за мою жизнь приходилось слышать чтение многих поэтов — больших и малых. Знаю, как подвывают и декламируют многие из них. В чтении Твардовского не было ни подвывания, ни декламации, он читал так же точно, как писал, так же просто в лучшем значении слова и естественно, проникновенно и чисто. Он пел народные песни так же. Тем, кому не пришлось слушать его при жизни, могут проверить мою правоту или неправоту в суждении о манере чтения Твардовского. Пластинки, к счастью, остались. Давно сказано, что о вкусах не спорят. Поверим этому. Но манеру чтения Твардовского я считаю замечательной. Тут я также должен отметить глубочайшее чувство языка, убедительность интонации, их пронзительную силу при всей естественности. И в этом он не походил ни на кого. Его чтение точно соответствовало его стихам.

Сказать, что автор «Василия Теркина» был крупнейшим новатором, не будет открытием. Открытием явилось само это произведение, потому что до него в поэзии не существовало подобного полотна о народе, который сражается за свою родину. Не было такого образа, такого типа, как Теркин. Теркин встал в один ряд с крупнейшими образами русской классической литературы, это незабываемый литературный тип, всеми любимый, всем понятный. Не зря автор, заключая Книгу про бойца, писал:

Пусть в какой-нибудь каптерке
 У кухонного крыльца
 Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!»
 Про какого-то бойца...

Таким именно стал сразу же в суровые годы войны Теркин — народный тип, народный образ солдата. Твардовский писал о своей книге:

Мне она всех прочих боле
 Дорога, родна до слез,
 Как тот сын, что рос не в холе,
 А в годину бед и гроз...

Мы, бывшие фронтовики, помним, что Книга про бойца была нам «всех прочих боле дорога». Такую жизнь и все-народную славу приобретают только те книги, которые являются новым словом в литературе, значительнейшим словом, а потому и новаторским.

В заключительной главе «Василия Теркина» читаем:

Пусть читатель вероятный
 Скажет с книжкою в руке:
 — Вот стихи, а все понятно,
 Все на русском языке...

Мне известно, что эти строки цитировались в очень многих случаях. Я привожу их еще раз для подтверждения того, что Твардовский имел право сказать так о всех своих произведениях. Простота, естественность, точность — вот его стиль, которому он оставался верен всю свою творческую жизнь до конца. Речь идет, конечно, о той трудной и мудрой простоте, к которой стремится в конце концов всякий крупный талант, как это было, к примеру, с Пастернаком, а не о неуклюжей простоватости и примитивности. Я говорю о прекрасной и завидной простоте, так трудно дающейся даже крупнейшим поэтам.

Лет двадцать назад Твардовский в одной из бесед с нами сказал, что надо писать так, чтобы тебя понимали и академик и доярка. Это было его убеждением. А то, что и очень большой поэт может быть таким, он доказал своей работой.

Очень любопытно высказывание Бунина о Твардовском. Один из волшебных мастеров русского слова, строгий ценитель произведений художественной литературы и суровый судья писал Телешову из Парижа: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержать-

ся — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за Теркина». Как замечательно, что такой суровый мастер, очень скупой на похвалы, так лестно отозвался о другом суровом, молодом еще тогда мастере. Редко Бунин позволял себе такие эмоции в своих оценках произведений поэзии, а оценил он Твардовского прозорливо-безошибочно, сказал о нем главное. Читая это письмо, я наслаждался. Как хорошо, что опасение Бунина в отношении того, что Твардовский может остаться автором только одной книги такого уровня не оправдалось. Это хорошо известно нам, читавшим «Дом у дороги», «За далью — даль» и другие вещи крупнейшего советского поэта. Письмо Бунина, по-моему, мало известно широкому кругу читателей, поэтому я и решил привести его полностью. Такие документы заслуживают того, чтобы их узнало как можно большее число людей.

5

С большой щедростью и очень своеобразно изобразил Твардовский русскую природу. К ней обращено и это позднее его стихотворение — такое проникновенное и нежное:

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного — не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы.

Когда пад изгибом тропинки
С разлапых недвижных ветвей
Снежинки, одной поршинки
Стряхнуть опасается ель.

За тихое, легкое счастье
Не знаю, чему иль кому
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня — себе самому.

Поэт как будто не написал, а легко выдохнул эти строки, ошастливленный чудесным, ничем не заменимым днем родной земли и бесконечно дорогой его сердцу картиной русской природы. С естественностью этой природы была слита естественность поэзии Твардовского, во многом шла от нее, была порождена ею.

Лирика Твардовского последнего десятилетия приобрела новые краски и грани, стала еще глубже и драматичней. Это легко ощутить и понять, прочитав хотя бы стихотворения «Памяти матери» и «Памяти Гагарина». Нельзя читать без настоящего волнения такие строки о матери:

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснись, проснись, — рассказывала мать, —
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Спитесь больше нечему.

На той же высоте поэзии и стихотворение о перевозчике-водогребщике, хотя оно и написано совсем в другом ключе, с его хватающим за сердце рефреном:

Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Подобные вещи создаются на земле не часто. Тот час, когда рождаются произведения такой силы, становится редким и счастливым часом. И в этих стихах Твардовского больше всего потрясают правда жизни, бесстрашная правда чувств, подлинность, образность, богатство и чистота языка, его глубинная поэтическая мощь. В своей речи о Пушкине Твардовский сказал, что у великого русского поэта не мастерство, а волшебство. Волшебство присутствует и в поэзии самого Твардовского.

Эти заметки не воспоминания о поэте. Избавим его память от скороспелых литературных воспоминаний, на которые часто бьет надок наш брат. Но все же я не могу не сказать о некоторых человеческих чертах Александра Трифоновича. Даже в обстановке обыкновенного застолья чаще получалось так, что все сказанное до него становилось незначительным, мелким украшательством, после того, как начинал говорить Твардовский. И за обычным дружеским столом удивляли его проникновенность, значительность его слов и его ум. Редкой силой таланта и ума было проникнуто все, что говорил он — большой человек, необыкновенный художник. В так трудно доступной правдивости, во всем заключалась одна из сильнейших сторон его характера и обаяния. Только потому он имел право сказать:

Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.

Ах, как это трудно дается! Я не знаю, как другие воспринимали Твардовского, а по мне значительность во всем — вот одна из главных его черт. Он, крестьянский сын, достиг такой высокой культуры, так знал литературу и искусство, что слушать его каждый раз было наслаждением. Все это, однако, совсем не значит, что я пытаюсь сделать из Твардовского святого. Не дай бог! Это было бы пустым и неблагодарным занятием. Он был не ангелом, а живым человеком среди живых. Он мощно трудился, радовался, ошибался, страдал, делал свое дело мастера, как говорится, на грешной земле. Я вообще против того, чтобы художника превращали в икону. Это фальшиво и отвратительно. Ангелами не были ни Гете, ни Лев Толстой. Даже очень светлые Моцарт и Пушкин; не могли быть такими. Хорошо, что пушкинский Сальери называет Моцарта гулякой праздным. При всей моей любви к Твардовскому я не хочу делать из него икону. Он был человек, но крупный человек, носивший в груди тот священный огонь, которым отмечены редкие творцы и создатели у каждого народа.

Порой приходилось слышать разговоры о том, что Твардовский равнодушен к литературам других народов

нашей страны. Считаю своим долгом категорически отвести такое неверное и недостойное мнение. Судить о крупном писателе только с позиции того, как он относился к тебе и к твоей работе, непозволительно и необъективно. Постоянный интерес Твардовского к работе ряда литераторов из республик нашей родины, его внимание к ним полностью опрокидывают пустые разговоры и сплетни, искажающие истину. Вспомним, как он относился к таким национальным писателям, как Аркадий Кулешов, Микола Бажан, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кутультинов, Василь Быков. В этой связи я мог бы сказать еще о многом, но выше я предупредил, что пишу не воспоминания. Он умел хорошо относиться к людям, которые заслуживали этого. Одной из замечательных черт порядочного человека, по моему мнению, является свойство помнить то добро, которое сделали ему другие. Это очень человеческая черта. Она была в высшей степени присуща Александру Трифоновичу. Тут достаточно вспомнить, как он относился к М. В. Исаковскому. Я могу назвать это отношение любовным и нежным. Он был признателен своему земляку не только как замечательному поэту, а помнил то внимание и поддержку, которые оказал Исаковский младшему брату в начале его пути. Это еще один поучительный урок для всех нас и для всех тех, кто придет после нас, ибо всегда будут зрелые мастера литературы и начинающие писатели.

Вот еще один факт, подтверждающий то, как Твардовский относился ко всему талантливому. Один автор, не очень избалованный жизнью и успехом, передал Твардовскому свою рукопись о Пушкине. Прошло некоторое время, и молодой пушкинист попросил меня узнать, читал ли его рукопись Александр Трифонович и какое у него сложилось мнение. Я пришел к нему в редакцию. Когда я зашел в кабинет, он говорил по телефону. По содержанию разговора я понял, что он говорит с автором рукописи о Пушкине. Работа молодого литератора взволновала Твардовского своей талантливостью, он нашел его телефон и позвонил ему. Мое посредничество оказалось ненужным. Легко себе представить радость молодого литературоведа — он услышал похвалу Твардовского! Все мы, кто пользовался его благосклонным отношением, каждый раз нетерпеливо ждали его мнения о наших скромных вещах. Так было и не только в отношении наших писаний, но во всех наших

поступках, во всем нашем поведении. Мы думали: «А что скажет Твардовский?» Он был нашей творческой совестью.

При его жизни я никогда не осмеливался называть себя учеником Твардовского, а когда его не стало, тем более не могу. Быть учеником такого человека — слишком большое дело. Кто бы осмелился, например, назвать себя учеником Гете или Пушкина? Я также никогда не старался писать под Твардовского, понимая бессмысленность подобных стараний. Но тут же хочу подчеркнуть, что его уроки и его пример стали для меня большой, неоценимой школой. Учиться — совсем не значит повторять учителя, быть похожим на него. Ученики, похожие на учителей, но не на самих себя, обычно огорчают мастеров. Одно только то, что он жил среди нас, мы имели счастье общаться с ним, слушать его, — было школой и благом для нас. А о той радости, которую испытывали мы от того, что многие наши вещи проходили через его руки и печатались под его редакцией, и говорить нечего. Я лично считал это таким счастьем для себя, которого больше у меня уже не будет.

Александр Твардовский был крепко скроен, и нам всегда казалось, что он создан для долгой жизни. Но эти наши впечатления и надежды обманули нас. Он ушел слишком рано. Он жил с достоинством и с достоинством встретил болезнь — свою роковую, неотвратимую беду, и до конца сохранил это достоинство. Для этого требуется большое мужество. Как это трудно! Но человеку положено стараться быть таким. Каждый раз, приезжая к нему, больному, я видел, с какой тоской он смотрел на заснеженные березы и сосны за окном своей дачи зимой, на черную собаку, которая ходила по снегу, на зелень тех же берез летом. Несмотря на все муки и боль, все равно в его глазах оставался все тот же огромный ум и проникновенность, оставались все те же воля и мужество. В те трагические дни он действительно был похож на орла с перебитым крылом, который жаждет взлететь в небо, но не может. И такая была боль, такая тоска в его прозорливых глазах! И что мне сейчас до того — банально это сравнение или нет! Я помню его великую боль, неотвратимую беду, пришедшую к нему так рано!

Была большая гора. Мы долгие годы с любовью смотрели на нее. И не стало этой горы. «Мы все уходим понемногу...» Что делать! «Чарка выпита до дна». Что делать? Да, милый Александр Трифонович, «чарка выпита до

дна!»! «Мы умираем, а искусство остается», — сказал Александр Блок. С людьми остается и поэзия Твардовского, как высокое искусство, как редкое и неповторимое явление великой русской литературы. С живыми остаются его пример, его уроки.

Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Судьба одарила его большой славой при жизни. Она не потускнеет и после смерти того, кто с таким достоинством нес ее бремя на своих крепких плечах. Он был из породы редких людей. Другим и не мог быть человек, создавший великие поэмы — эпос эпохи и свою драгоценную лирику. Он в полную меру узнал счастье быть истинно народным поэтом, быть нужным для людей. Что мои рассуждения! Он сам об этом сказал так хорошо:

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не был
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам я был нужен,
Без которых нет меня.

Невыразимо глубокую привязанность к жизни, к природе мы в полную меру ощущаем и в последних его стихах. Вместе с вами мне хочется перечитать одно потрясающее стихотворение, написанное в 1967 году.

На дне моей жизни,
на самом доннышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.
И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
педалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.
Я думу свою
без помехи подслушаю.
Черту подведу
стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет,
Ничего, что по случаю
Я здесь побывал
И отметился галочкой.

В последние дни жизни ему не пришлось «посидеть на солнышке». Но свет своего сердца и ума, мужества и благородства, тепло своей великой поэзии он оставил людям навсегда.

Эти заметки — мое прощание с Александром Твардовским, мой горький реквием ему, мое слово в честь и во славу великого поэта великой России — хочу заключить словами его любимого Теркина:

Я не то еще сказал бы,
Про себя поберегу,
Я не так еще сыграл бы,
Жаль, что лучше не могу.

СТРОИТЕЛЬ И ЖИЗНЕЛЮБ

В середине декабря, когда я перечитывал «Избранное» Бориса Ручьева, решив написать о нем, у нас стояли очень ясные и не по-зимнему теплые дни. Вершины Центрального Кавказа, залитые солнцем, высились, сверкая вечными снегами, как в стихах Лермонтова. Читая строки моего уральского собрата, я думал, что в них есть что-то от гор. И не потому, что на Урале тоже высятся хребты. Мне всегда казалось, что горы учат человека благородству и мужественному упорству. По моему мнению, те же порывы будит поэзия Бориса Ручьева, наполненная суровой атмосферой эпохи. Отмечали ли критики эту сторону творчества русского поэта, не знаю, но главной его чертой мне представляется мужество строителя и жизнелюба. Только мужественные люди преодолевают все барьеры и создают все хорошее на земле. Малодушные боятся не только врагов, но и трудной работы. А жизнь всегда требует от человека смелости и упорства, ибо путь-дороги ее нелегки, по ним шутя не пройдешь. В этом еще раз убеждает поэзия Ручьева, озаренная светом человеческого достоинства, глубокая и верная жизнь.

Великий балкарский поэт Кязим Мечнев писал: «Мы выбираем мужество, ибо хотим называться людьми!» Ручьева, который, возможно, не знает даже имени Кязима, роднит с ним мужественное отношение к трудной жизни, стойкость строителя и мастера. Пусть она нередко и незаслуженно дает слишком горькую пищу, все равно самой

большой любовью настоящих и цельных людей остается жизнь, ибо выше ее нет ничего. Таким человеком и художником оставался при всех обстоятельствах Борис Ручьев. Для того чтобы понять это, вовсе не обязательно знать его биографию. Лучшая и самая достоверная биография поэта — его произведения.

Борис Ручьев, как и все наше поколение, живет и трудится в грандиозную и трудную эпоху. Собственно говоря, легких эпох никогда и не было. Жизнь и борьба всегда сложны. Только масштабы их в разные эпохи бывают разными. Масштабы нашего времени требовали от людей небывалого мужества и энергии, сшибка между добром и злом достигала невиданного накала. Так выковывался характер советского человека, так рождались и лучшие создания нашей литературы. Советский человек — это революционер, борец, строитель и первооткрыватель. Если среди наших молодых художников имеются люди, полагающие, будто прекраснейшее из слов — орлиное слово «мужество» устарело, то как горько они заблуждаются! Ведь жизнь никогда не старится. А ей всегда необходим героизм. Созидание и творчество — тоже подвиг. Меня, например, тревожит то обстоятельство, что произведения многих нынешних молодых поэтов носят слишком камерный характер. Я это наблюдаю и у некоторых моих младших горских братьев. Возможно, я ошибаюсь и мои тревоги напрасны. Очень хотел бы, чтобы было так. Поэзия живет только большими мыслями и чувствами, большими стремлениями и тревогами времени. Это и делает ее значительной. Мысль эта стара, как мир, и вечно нова, как первооткрытие...

В книгах Ручьева присутствует крепкая, несокрушимая вера в человека, в них — здоровая мудрость рабочих людей. У меня есть убеждение в том, что талант всегда мудр. Мудрость и мудрствование — вещи совершенно разные. Мне думается, никому не покажутся странными слова: Пушкин был одним из самых мудрых людей России. Рядом с ним многие мудрствовали. А он был мудр. Однако находятся люди, полагающие, будто мудрость и поэзия несовместимы. Мне кажется, они путают мудрость с умничанием, а зоркость художника с простой житейской практичностью.

В поэме «Прощание с юностью» Ручьев итoжит то, что прожил и пережил:

Какой бы пламень гарью нас ни метил,
какой бы пламень нас ни обжигал,
мы станем чище, мы за все ответим —
чем крепче боль,
тем памятной закал.

Нельзя не быть благодарным поэту за такие стихи. Даже это одно четверостишие кажется мне отчеканенной душевной сутью не только самого автора, но и целого поколения. Мне дорог Борис Ручьев тем, что в самые трудные дни своей жизни он не позволил страданиям согнуть себя, а высекал из сердца замечательные стихи и поэмы, пронизанные высоким чувством веры в жизнь, в справедливость и будущее, в непобедимость созидательной силы народа. Мы знаем, что так поступали только крупные художники.

Автору этих беглых строк не пришлось долго думать, чтобы определить, чем ему нравится поэзия Ручьева. Она дорога мне и близка теми благородными чертами, о которых я пытался сказать выше. Она по-своему оригинально запечатлела облик эпохи, свет души современника, его энергию, гуманизм, верность передовым идеалам. А ведь это верность самой жизни. Стихи крупного советского поэта отличаются образностью, в них нет никакой позы, все сурово и задумчиво, точно и весомо. Сладкопевцам это недоступно. Высокая простота поэзии Ручьева таит в себе настоящее мастерство. Очень ценно и то, что Ручьев в произведениях о тяжелых годах его жизни нисколько не рисуется, не выставляет напоказ свои шрамы от ран, не говорит: «Вот посмотрите, какой я мученик!» Поэт не хнычет, не проклиная жизнь, а мужественно, с достоинством говорит о тех ударах судьбы, которые были нанесены ему так незаслуженно. Отсюда же и отсутствие в его поэзии всякого индивидуализма и пустого себялюбия. Творчество поэта целиком пронизано глубоким уважением к рабочим людям, к коллективу:

Мы землю рыли, стены клали сами,
но не бывало случая у нас,
чтоб и во сне — закрытыми глазами
не видели мы даже в этот час:
свой первый город, недоступный бурям,
никем еще не виданный вовек,
весь — без церквей,
без кабаков,
без тюрем,

без нищих,
 без бандитов,
 без калек.

Человек, который жил высокими помыслами и мечтами, знал цену работе и куску хлеба, в любых условиях остается таким, каким мы знаем ныне Бориса Ручьева.

Огонь всюду остается огнем, греет одинаково, хотя разжигают его везде по-разному. Ручьев — бывший уральский рабочий, я же рос в семье горского крестьянина, мы живем в разных концах страны. Но его поэзия пришла в мои родные ущелья, вошла в мой дом и сердце, стала близкой. Все хорошее, доброе и жизненное одинаково дорого людям, независимо от того, в каком краю создается. Человеческое горе и радость всюду одинаковы. Читая книгу Ручьева, ясно видишь: поэт всю жизнь был слит со всей советской землей — родиной Октябрьской революции и Лепина. Ничто не могло поколебать эту его преданность. Так живут только настоящие люди и большие художники, честные и откровенные. Вот стихи, гораздо лучше моих рассуждений подтверждающие сказанное:

А руки знали —
 есть на свете первый
 мой город — без крестов и без икон,
 есть дом родимый,
 есть мой символ веры —
 родным народом писанный закон.
 Его кляли убийцы и бандиты,
 срамили воры в страхе и тоске.
 Но я дышал той верой, даже битый,
 живя средь них, как ершик на песке.

За этими стихами большого убеждения следуют кованые строки о том, что попавший в беду поэт вооружен сильнейшим и непобедимым оружием — бессмертными идеями Ильича:

С ним — яд не травит,
 горе не калечит,
 огонь бессилён, стужа нипочем,
 не страшно с ним идти врагам
 навстречу,
 друзей надежных чувствуя плечом.
 С ним — год от году
 каждый взор яснее,
 спокойней сердце, жилистей рука,
 с ним — человек
 в сто раз сильнее змея,
 в сто раз бесстрашней лютотого врага.

Хорошо пишет Ручьев о труде, о работе. Для него они святы.

У края родины, в безвестье,
живя по-войски — в строю, —
мы признавали делом чести
работу черную свою.

Поэзия Бориса Ручьева народна. Замечательна ее образность. Я целыми днями ходил по зимнему Терсколу и повторял:

...И пусть тебе приснится в эту пору
пурга
над белой северной рекой,
на берегу
дорога вьется в гору
и вдоль по ней,
освистанный пургой,
лохматой лапой обметая плечи,
в мороз стараясь сердце отогреть,
во весь свой рост
идет по-человечески
страдающий бессонницей метель.

Когда я читал книгу моего уральского друга, мне все казалось, будто раннее солнце озаряет скалы, ночью мощный ветер гудит над заснеженными сопками, упорный, как скалолаз, человек идет через сугробы, одолевая все преграды, мне слышался гул многолюдного праздника. Поэзия Ручьева создает впечатление праздничности даже тогда, когда он пишет о далеко не веселых вещах; в его стихах и поэмах дышит сама жизнь, постоянно присутствует ее высота, как в заключительных строках «Любавы»:

В этот — зримый глазами героев,
нареченный Решающим — год
выше
нашего
Магнитостроя
в мире не было горных высот.
Будто с поля великого боя.
не сводя настороженных глаз,
с первой,
самой пристрастной любовью
вся Россия глядела на нас.

Борис Ручьев своей жизнью и поэзией лирически подтвердил, как прекрасно настоящее, деятельное жизне-

любие, какая красота и сила заключены в таланте, человеческом мужестве и мудрости, как смешны и жалки те, кто пытается принизить жизнь и труд человека, вытравляя из его души все самое замечательное и высокое. И ныне в могучем хоре советской поэзии голос Бориса Ручьева кажется мне одним из сильных и благородных.

1964

ПАМЯТИ ДРУГА

1

Мне грешно роптать на судьбу и винить ее в том, что она лишила меня радости общения с крупными поэтами-современниками. Я пользовался и пользуюсь добрым отношением многих из них. Не стану называть имен: не хочу, чтобы даже тень хвастовства легла на мои заметки. Поэт должен быть душевно свободным, как ветер, который проходит по зеленой чинаровой роще. Но не хвастливым и не чванливым. Важность не наша стихия. Я не за робость, а за скромность. Робость в творчестве — это бескрылье, ведущее к эпигонству, скромность — путь к самокритичности, а потому и к пледотворности в работе. Таким я знал поэта, о котором думаю сейчас. О нем я думаю часто, ибо он был истинным художником и в том, что сделал, и в тех замыслах, что не успел осуществить. Судьба лишила его многого, чего он мог бы достичь. Тут дело не только в ранней гибели. О нем я думаю часто потому, что в высшей степени были присущи ему порядочность, чистота и честность, так же необходимые для поэта, как зелень для дерева каждой весной. О нем я думаю потому, что любил его. Потому, что он был подлинным художником.

Стремление быть правдивым и искренним, оставаться самим собой, белое называть белым, а черное — черным — естественное желание таланта, его прирожденное свойство. Таким я запомнил Дмитрия Кедрина. Не скажу, что это самый крупный из тех поэтов, с которыми мне при-

ходилось общаться, но он настоящий и один из самых чистых и благородных. Я не пишу эти заметки по тому принципу, что об умерших полагается говорить только хорошо. Важнее всего — быть верным истине. Платан должен оставаться платаном, а ольха — ольхой. Оттого, что мы не будем преувеличивать или же скажем о недостатках крупного человека — от этого он несколько не станет меньше. Наоборот, когда людей с живой кровью и плотью, ходивших, как говорится, по грешной земле, мы пытаемся превратить в иконы или ангелов, вот тогда-то и делаем дурное дело. Такое иконизирование им, живым, было противно. Почему забываем об этом? Об иных успешных писателях говорят и пишут так, будто бы каждая их строчка являлась шедевром и открытием, а любой их поступок — мудрым. Какая слащавость. Таких писателей не было на свете и нет.

При обращении к памяти любого деятеля преувеличивать так же плохо, как и умалять его значение. А истинный художник и после смерти хочет оставаться таким, каким он был при жизни. Ему этого достаточно. Он не пуждается в ложной славе даже посмертно. Ужасно неприятная вещь сюсюкающая слащавость дурных воспоминаний, где стираются резкие черты живого человека. Я не хочу, чтобы мой живой, красивый своей собственной красотой Кедрин был превращен в замазанную икону. Его совестливость и бескорыстие, скромность и требовательность мастера к себе были действительно прекрасны. Таким людям обычно живется нелегко. Талант всегда ведет своих обладателей по крутым дорогам. Кедрин жил трудно. Но он в маленькой деревенской комнатке высек из своего сердца сильные трагические поэмы «Зодчие», «Рембрандт», «Приданое», «Коль». Должно быть, я в молодости не до конца понимал все значение этих замечательных созданий поэта, их серьезность и актуальность.

Если Кедрин по-настоящему ценил поэта, то говорил о нем: «Мастер без дураков!» И сам он был таким.

2

Вкус у Кедрина был замечательный. Мне нравилась манера чтения Кедрина. Он не так сильно подвывал, как это делали иные из моих знакомых стихотворцев, а читал, не пел стихи. В его мягком баритоне было много

обаяния. Выводя эти строки, я слышу его не спеша читающего любимые им буниновские строки:

Я — простая девка на бантапе,
Он — рыбак, веселый человек.

И еще:

Зейпаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...

Бунин оставался одним из любимых его поэтов.

У него были тонкие руки и легкая походка. Изящество — вот основная черта его облика. Он был пизжен во всем. Однако же любил и жизнь и искусство, был одинаково предан им. Лучшим свидетельством тому — его произведения. Характер всякого художника остается в его созданиях. Кедрин был человеком, привязанным к бытию со всем великим в нем и милыми мелочами. Он жил бедно, но любил хорошо сделанные вещи, обожал мастерство и мастеров. У него были хрустальные бокалы. Он радовался им. Они чудесно звенели. Мы каждый раз долго чокались ими. О них и сказано в стихотворении, обращенном ко мне:

И, как колокол в церкви,
Звонок топкий бокал.

Он всерьез говорил, что его бокалы в свое время имели какое-то отношение к царскому столу. Правда ли это — не знаю.

Дмитрия Кедрина нельзя представить себе замкнутым, аскетичным и книжным. Не было ничего подобного при всей его привязанности к книгам и начитанности. Я знал его общительным, любящим бражничанье, застольную беседу, поездки, веселый смех, настоящее остроумие, радость. В нем было много от хорошего гусарства. Недаром он писал:

Гусары влюблялись в цыганок,
И седенький поп их венчал.

И сам он, конечно, был не прочь влюбляться. Понимал женщин. Поэт не может не любить радость. Он ведь работает во имя радости. Это его конечная цель. Кедрин, обожавший певчих птиц, одно время держал их у себя дома в клетках, заботился, кормил. Потом отказался от своей затеи. Видимо, ему не по душе стало держать птиц в неволе.

Дмитрий Кедрин любил снег на деревьях, на крышах домов и в своем маленьком дворике с низенькой деревян-

Дмитрий Кедрин в отношениях с семьей был тонок и справедлив, как и с товарищами, которых любил. Думаю, что тонокость была его природной чертой. Но и воспитан был хорошо. Жена его, Людмила Ивановна, постоянно заботилась о нем. Трудности военных лет известны. Кедрина не щадила сил, чтобы муж и дети не голодали. Я был свидетелем ее стараний и трудов. Могу сказать, что она из ничего делала все. Сам я не раз ел из ее рук. Она была упорной, находчивой и рачительной хозяйкой. Я как-то спросил ее:

— Как живешь, Людмила Ивановна?

— Кручусь между Кедриным и печкой!

И это «кручение» выручало поэта, давало возможность писать. Все мы, кому дорога поэзия Кедрина, многим обязаны Людмиле Ивановне. Терпеливое, внимательное отношение жены — это большое благо для художника. Балкарские горцы говорят: «Если на площади буря, пойду домой, а если и дома буря, куда я тогда пойду?!» Хорошая, понимающая жена — мудрый соавтор поэта. Они творят вместе. Людмила Ивановна заслужила наше уважение еще и тем, что приложила большие усилия, чтобы наследие Дмитрия Кедрина заняло заслуженное им место, дошло до массы читателей. Не каждый поэт оставляет после себя такого преданного друга. Пример Людмилы Ивановны лишний раз доказывает ту истину, что женщины терпеливее и самоотверженнее мужчины.

Дмитрий Кедрин оказал мне большую честь, посвятив мне одно из лучших своих стихотворений. Хочу рассказать, как оно родилось. Мое желание продиктовано не чувством тщеславия. Любителям поэзии, думаю, будет интересно почувствовать ту атмосферу, что лиц, в которой родилась одна из замечательных вещей поэта. Мы воскресим в памяти неизвестные читателям черточки его характера, его отношения к людям.

В самом начале 1945 года я приехал с Кавказа в Москву. Собирался ехать в Среднюю Азию. Уже год находился там моя мать и все близкие. Эта история длинная и мало приятная. Подробно останавливаться на ней не

стану. Из госпиталя я выписался еще в октябре, но рана все еще не зажила, ходил я, опираясь на палочку. Первое время жил в Мамонтовке. Часто приезжал на электричке в Черкизово. Нас как-то пригласил на именины дочери черкизовский приятель Кедрин. Был февральский метельный вечер. За кружащимся снегом не видно стало соснового бора и старой церковки, стоявшей наискосок от дома Кедринных. В гости мы шли с удовольствием. Признаться, и выпить были не прочь, и человек, пригласивший нас, был нам приятен. Галина Зубарева часто приходила к Кедринным. По-моему, она готовилась тогда стать артисткой. Хорошо читала стихи. В ее молодом, горячем исполнении мы однажды слушали даже лермонтовского «Мцыри» целиком. Не думаю, чтобы я был равнодушен к ней.

Итак, мы пошли на именины Гали. Двери открыл ее отец. Из потопленного дома вырвался густой пар, смешался с метелью.

— Добро пожаловать! — весело встретил нас хозяин, шутливо добавил: — Я уже пьян, господа генералы, от литературы! Что вы опаздываете?

В доме было тепло, а стол даже богат для того времени. Присутствовало, думаю, человек пятнадцать. Мы с Митей сели против друг друга. Поздравили молодую именинницу. Выпили. И, надо сказать, не без удовольствия. Пока все закусывали, я сказал Кедрину:

— Знаешь, я мог бы быть офицером Шамяля!

Он ответил:

— Ты уже был им!

Через несколько дней я снова приехал к нему. Он протянул мне лист пергаментной бумаги. Это были стихи, обращенные ко мне! С тех пор прошло много лет. Было всякое. А автограф я сохранил. Еще бы! Вот он и сейчас лежит передо мной. На листе сверху три звездочки, а с отступом влево тонким почерком выведено: «Кайсыну Кулиеву». Внизу подпись «Дм. Кедрин». В книгах же поэта стихотворение печатается под названием «Другу-поэту». Название не отличается оригинальностью, банально. На такое Дмитрий Кедрин не согласился бы! Впервые эти стихи опубликованы в «Избранном» поэта, выпущенном издательством «Советский писатель» в 1947 году. Тогда я находился в Средней Азии и ставить над стихами мое имя сочли невозможным, дали бесцветное название, а вме-

сто полного имени того, кому они посвящены, поставили «К. К.». В том издании была еще изъята строфа, позже восстановленная:

И, как Байрон хромая,
Проходил к очагу.
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу...

Видимо, мудрый редактор решил, что для раненого Кулиева слишком велика честь хромать, как Байрон! А вот Кедрин по простоте душевной не понимал этого. У автора сказано: «Я не знаю, как пишут по-балкарски «поэт». Это заменили словом «по-кавказски», хотя вышло и нелепо: как известно, Кавказ многоязычен. Я забыл предупредить составителей, и до сих пор стихотворение перепечатывается с таким досадным искажением.

Как я обрадовался этим стихам в тот зимний день! Если бы мой друг мне, молодому горцу, в те дни подарил коня, я не был бы так рад. Благородство поступка Кедрина станет особенно очевидным для читателей после того, как я рассказал, в какое положение судьба поставила меня тогда. Его добрый шаг явился продолжением прекрасной традиции великой русской поэзии, лучшей части интеллигенции России, их уважения к другим народам. Я понимал это и тогда. В стихах, подаренных мне, кроме их высокой художественности, я увидел замечательное осязаемо-тонкое чувство истории. Мне хочется привести стихотворение точно в таком виде, каким я принял его из рук Дмитрия Кедрина.

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе: «Здравствуй!»
Офицер Шамиля.

Вьюга зимнюю сказку
Наневает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамиля.

Но пад нами есть выпс,
Есть пстленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведем,
Заходили ты, как в сакю,
В крепкий северный дом.

И, как Байроп хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,—

В очаге, не померкнув.
Пламя льпет к уголькам,
И, как колокол в церкви,—
Звопок тонкий бокал..

К утру иней палипнет
На сосновых стенах.
Мы за лирику выньем
И за дружбу, кунак!

Случайный, непачительный, казалось бы, разговор побудил Дмитрия Кедрина написать такие тонкие, благородные стихи. Его человеческая и художественная честность была безупречной. Таким он и остался в памяти товарищей и читателей.

Эти беглые заметки мне хочется закончить стихотворением, написанным мною в Средней Азии.

Памяти Дмитрия Кедрина

В заснеженном поселке Подмосковья
Мы спживали часто, коротая
Досуг в домишке из сосновых бревен,
И вслушивались в завыванье вьюги.
Его густые волосы сбегали,
Пересекая лоб открытый слева.
Как были тонки и подвижны пальцы!
Он голову откидывал при чтенье,
Он отличался легкою походкой,
Он радовался, как дитя, пороше.
Я помню — он любил смотреть подолгу
На снег, свалившийся на плечи леса.

Когда читал он вечером метельным,
 России сердце в тех строчках стучало,
 Я видел битвы на равнинах снежных
 И ощущал себя их очевидцем...

Смерть меднохвостой огненной лисцей
 Выглядывала из леса и снова
 Скрывалась.

Мы же не подозревали
 (хотя сосновый бор так близко, близко!),
 Что на снегу нетронутом, конечно,
 Она следы незримо оставляла.
 В те дни глядели мы не на лисцу,
 А в лесен чистые глаза гляделсь.
 Какое дело было нам до смерти!
 Ушел вослед лисце меднохвостой
 Мой друг с безоблачным и добрым сердцем.
 Что делать! Уходящий за лисцей
 Уже не возвращается обратно:
 Его пути запосит снег глубокий,
 А расстоянья поглощают голос.
 Вступают смерть и память в поединок,
 Да друга память уступить не хочет!
 Поэзия спешит на бой со смертью,
 Поэзия бросает смерти вызов,
 Стихи говорят: не отдадим поэта!
 Когда из жизни он ушел, планета
 Мне показалась холодней, суровой.
 Обычно это происходит с нами,
 Когда теряем близких безвозвратно.
 Всю силу дружбы — крепости алмаза —
 Оставьте мне, Поэзия и Память!..

1945—1948

Я МАШУ ЕМУ ЗЕЛЕННОЙ ВЕТОЧКОЙ КИЗИЛА

На плечи моего поколения время взвалило тяжелую пошу. Едва начав работу, мы вступили в смертельную схватку с фашизмом, не в кпигах, а наяву встретились с жестокостью и трагедией войны. Михаил Дудин был верным бойцом своей Родины и стал столь же достойным ее певцом. Он прошел задымленные поля войны молодым, смелым, стойким. Таким же он идет и сегодня по прекрасной стране поэзии, влюбленный в нее и осчастливленный этой своей любовью. Нам, его товарищам, очень любящим его, кажется даже странным, что Мише Дудину уже пятьдесят лет!..

«Поэт поэту есть кунак», — сказал Сергей Есенин. Михаил Дудин — верный кунак мне, как и всем своим товарищам и друзьям. Поэту от века завещаны щедрость и дружелюбие — ведь поэзия несет службу добра и содружества, она сближает и объединяет людей. Дудин остается верным этим замечательным принципам поэзии, заветам нашего общего учителя Пушкина. Недаром он так любит повторять замечательные пушкинские строки: «И с побежденными сажались за дружелюбные пиры».

Всюду я привык видеть его жизнелюбивым, остроумным, доброжелательным, а главное — талантливым во всем, что он делает. Именно таким я встречал Дудина в балкарских ущельях, где багровел кизил, на улицах заснеженной Москвы, на легендарной Неве, у Черного и Средиземного морей, на склоне горы Мтацминда, в Париже и Ницце, под

платами сказочного туркменского оазиса Фирюза. Он предан жизни и людям, а потому и поэзии, горячо любит свою Родину, и отсюда его любовь к родной речи, которая заворожила его на всю жизнь, он влюблен в волшебную русскую поэзию, в ее бессмертную красоту.

В стихотворении, обращенном к Мустаю Кариму, Михаил Дудин пишет:

Разведка начинается со слова,
И с песни начинается рассвет.
Мой добрый друг, твоя душа готова
Всегда приветом привечать привет.

То же самое мы с полным правом могли бы сказать и ему. Доброжелательство побуждает его писать стихотворные послания друзьям. Он любит одаривать своих товарищей, посвящать им стихи. Это доставляет ему самому удовольствие и радость. Эта драгоценная человеческая черта присуща только людям с очень светлой душой.

Когда сходимся мы, литераторы-друзья, будь то в Нальчике, Москве, Тбилиси или Махачкале, не бывает случая, чтобы мы не вспомнили Дудина, не говорили о нем, не читали его эпиграммы. И наши слова об отсутствующем друге делают нас веселее и добрее. Каждый раз нам кажется, что вот откроется дверь и бодрой походкой войдет высокий, стройный, оживленный Миша, наш милый Миша Дудин, и мы обрадуемся ему, как малые дети своему любимцу, который приносит гостинцы и рассказывает чудные истории.

Михаил Дудин — один из крупных и широко известных поэтов нашей страны, большой мастер советской поэзии, неутомимый ее работник и верный рыцарь. Его знаменитое стихотворение «Соловьи», написанное по существу юношей, входит в число шедевров, созданных в годы войны. С тех пор поэтом создано много книг, вызвавших широкий читательский интерес и принесших автору известность. Как один из защитников Ленинграда, он видел небывалое мужество современников, знал боль утрат и радость победы. Все это явилось для него жизненной школой, определившей сущность его творчества. Сегодня в душе зрелого мастера живет и воплощается в стихи радость братства людей и тревога за возможные беды в нашем трудном мире. Он пристально следит за всем, что происходит на земле:

Разыграны трагедии Эсхила,
Отыздался над собою Платон,
Опробована дьявольская сила,
И к звездам улетаёт космонавт.

Что из того? Нам по почам не спится, —
Немая боль грядущих катастроф
Нетронутую трогает страничку
Двойною рифмой оперенных строк.

Хорошо зная, что задачи поэта в тревожном мире не из легких, Михаил Дудин остается художником-бонцом, поэтом-гуманистом, который верит в светлый смысл жизни и истории, в разум и мудрость страны, родного советского народа. Он идет по бессмертной стране поэзии, любя все краски земли, тружеников и мастеров, красоту, которой нет смерти, идет молодой, талаптливым, неутомимый.

Пусть в эти дни на берегах Невы — зима, а я машу Дудину зеленой веточкой кизила, шлю ему мои слова любви с подножья Эльбруса, сказочная белизна которого навсегда обворожила его еще юношей, когда он впервые увидел «по ледникам скользящую зарю».

Пусть каждый рассвет для него всегда начинается с песни!..

1966

4

ТАК
РАСТЕТ
И ДЕРЕВО

ТАК РАСТЕТ И ДЕРЕВО

Долго я думал об этих замечках. Все не решался взяться за них. Страшился бесцветности своих слов. Мне кажется, так бонтся человек впервые запеть при большом количестве людей. Кроме того, я боялся, что читатели подумают, будто я выдаю себя за знатока и ценителя живописи, когда таковым не являюсь и не имею права на это. Мои строки продиктованы только моей любовью к живописи и к одному из редких ее мастеров, моим восхищением его великим искусством, волнением, которое я испытывал при встречах с художником и его изумительными созданиями. Я пишу себя только тем, что буду говорить о нем несколько другими словами, чем искусствоведы-специалисты. Мне хочется выразить лишь свои ощущения, сказать о той радости, которую дала мне необыкновенная живопись Мартироса Сарьяна. Только мое такое отношение к нему дает мне право писать о моем любимце. Он — один из самых родственных мне, а может быть, самый близкий моей душе художник.

Каждой весной я вижу цветение абрикоса. Каждой весной хочу выразить стихами это вечное чудо жизни. Но не удастся. И в душе моей остается только сожаление. Как горько, что можешь выразить словом не все, что чувствуешь. Потому я так благоговею перед музыкой и люблю живопись. В то же время я бесконечно благодарен слову за все пленительные шедевры поэзии. Без них я был бы беден. Все сущее на свете несет свою службу. Слово

остается словом, краски — красками, звук — звуком, дерево — деревом, гора — горой. Навек благословенно разнообразие мира!

Да, я не сумел выразить чуда цветения абрикоса. И никогда не сумею. Но это сделал Мартирос Сарьян. И как еще сделал! Ему до конца удалось то, о чем я только мечтаю. Этим он и дорог мне. Встреча с его искусством каждый раз для меня праздник. Быть таким художником — удел редких счастливых. Я говорю о своем удивлении и счастье видеть чудо — живопись Сарьяна. Это одна из высоких радостей, какие мне посылала судьба. Она не скупилась на беды и страдания, но не всегда жалея и щедрот. Такова жизнь. Я не исключение. Я не мог бы умереть, ничего не сказав о великом кавказце, живущем рядом со мной, видящем одну со мною землю, одно небо, один снег, один дождь и одно цветение дерева.

2

Что же такое Сарьян? Просто крупный живописец? Нет, не только. Он великий поэт, мудрец-философ, неутомимый землепроходец, открыватель неведомых стран и тайн искусства. Его творчество — это невыразимое цветение абрикоса, колдовскую силу которого никто не в силах растолковать, это вечно старая печаль и вечно новый праздник Армении и всей земли. Искусство Мартироса Сарьяна непосредственно, как народная детская песенка, и серьезно, как раздумья мудреца, который много видел, много пережил, знает цену всему — труду и хлебу, жизни и смерти, беседует с звездами и вечностью. У искусства свои законы. Сила его воздействия прежде всего в эмоциональности, в чувственном и предметном выражении жизни, пронзительность оно сочетает с глубокой мыслью. Мне кажется, что художнику ум и сердце служат в одинаковой мере. Таким творцом и является Сарьян. Он для меня — живая гора, которая изумляет глаза и навсегда покоряет сердце, осчастливливая высотой и могуществом, гора, причастная к долговечности или бессмертию. И я стою перед этой горой, от удивления раскрыв рот, как ребенок, беспомощный и счастливый. Может быть, моим словам не хватает спокойствия и сдержанности? Кто же умеет говорить спокойно о своей любви? Такое невозможно. Говоря о Мартиросе Сарьяне, я гово-

рю о Кавказе, о его славе, говорю о величии искусства и таланта.

Я пожимал руку Сарьяну, смотрел в его глаза. И в них я видел то же, что и в его картинах, — библейскую Армению с ее древней культурой, с праздниками и бедами, всю землю и все века. Эти глаза смотрели на меня именно сквозь столетия, в них я как бы видел все их радости, муки, вершины и бездны.

Я бы не мог быть исследователем созданий искусства, если бы даже имел достаточные для этого знания и был хорошо подготовлен. Я могу только стараться передать свои ощущения. Я никогда не взялся бы толковать живопись Сарьяна, если бы даже знал ее лучше всех и были бы мне известны все секреты творчества. Лунный свет я вижу не для того, чтобы объяснять, почему он существует, а просто счастлив, что вижу его, когда он ложится на мой балкон или на созревающие арбузы бахчи, на деревья в моем дворе и на колыбель спящего ребенка. Не так ли будет думать художник и через тысячу лет?

Человеческая жизнь коротка, а вечность беспрельдна. Потому так дорого человеку все сущее, все милое и прекрасное на свете. Разлука со всем, что мы любим, чем одаривает нас жизнь, неизбежна, каждый из нас осужден расстаться с матерью, с отцом, с детьми, с любимой женщиной. Оттого-то художник так привязан к земле и жизни, так остро чувствует радость и боль. Это вечная тема искусства. И Сарьяна тоже. Без этого не может быть творчества. Я не могу не думать о таких вещах, когда говорю о Мартиросе Сарьяне. Он будит во мне именно подобные мысли и раздумья о жизни и земле, обо всем дорогом и милом для людей. Меня навсегда пленили необъяснимые сарьяновские краски, как лунный свет, падающий на подсолнух во дворе, выращенный моей матерью, как рассвет или закат над моим селением в ущелье, как сумерки, спускающиеся летом на каменистые дороги, по которым прошло столько копыт, ног, колес...

Искусство каждого народа говорит языком своей земли, языком ее истории, ее радостей и бед, языком ее камня и дерева, снега и дождя, языком всего пережитого народом, языком его векового опыта. Только овладев язы-

ком родной земли, поняв шум ее подземных вод, художник сможет освоить и язык человечества, иначе его работа окажется подобной космической пыли. Разве так поразительно выраженная и обожаемая им Армения заслонила от Сарьяна остальной мир? Нет, конечно. Он, как никто другой, увидел краски своей земли, услышал шум ее подземных вод, понял ее язык, ее историю и судьбу, праздники и бедствия, освоил язык ее камня и дерева, гор и долин и, навеки плененный ее неповторимым обликом, ее бессмертной красотой, стал мировым художником. Поняв прелесть своей земли, он понял, что прекрасна любая земля, что она дорога тем, кто на ней родился, так же, как ему родина его предков. Красота всюду остается красотой, радость — радостью, горе — горем, добро — добром и зло — злом. Вишня, алыча и персик везде цветут великолепно, хотя в каждом краю имеют свои оттенки. Все на каждой земле, у каждого народа, конечно, выражается своеобразно. В этом своеобразии заключена сила искусства любого народа — великого или малого.

Говоря о Райнисе, Горький сказал, что нет такой маленькой страны, которая не выдвинула бы великих поэтов. Уровень дарования, конечно, не зависит от численности населения страны, но проявление возможностей таланта нередко зависит как раз от нее. И это явление горестное, роковое. То, что я говорю, относится особенно к поэзии. В этом смысле музыка и живопись имеют более выгодную и счастливую участь — у них международный язык, они не связаны с переводом. Искусство любой нации прорастает из родной почвы, как зерно. Так растет и дерево. Дуб и ольха не растут рядом. Каждому из них необходима своя почва. В этой связи мне хочется сослаться еще на книгу «Листья травы» Уолта Уитмена. Можно быть уверенным в том, что она могла родиться только в Америке. Ее почвой могла быть только эта страна, так же как почвой для дуба чаще всего является каменистая местность. Я не говорю о подражателях великого американского поэта. Их хватает во всех странах и в наше время. Подражатели всегда набрасываются на чужие открытия, как голодные на хлеб. В творчестве же сильно и подлинно лишь то, что выросло на родной почве. Интернационально только подлинно национальное, ибо оно влияет в общее море творчества всех народов, неся с собой цвет воды своей родины. Оно приносит краски, опыт

и мудрость родного народа, его особенности, этим обогащая культуру человечества. Все искусственное, парочитое или насильственно навязываемое ничего не в силах дать ни одному народу, а потому не может обогатить и мировую культуру. У подобных вещей нет неповторимых черт, необходимых для всеобщей культуры, они подражательны, безлики. И в силу этого убоги, как нищенская сума.

Живопись Мартироса Сарьяна отмечена всеми теми чертами, которые делают искусство любого большого художника национальным и в то же время общечеловеческим. Они, не отрывая его от родной земли и почвы, одновременно приводят ко всему человечеству. Это, конечно, удел выдающихся и великих творцов. Таким предстал перед миром и Сарьян. Вопрос национального и универсального в творчестве существует давно. Он и в наше время возникает снова и снова. Его, видимо, невозможно решить раз и навсегда, как и любой вопрос, имеющий жизненное значение. Почему, к примеру, все мы считаем поэму литовца Ю. Марцинкявичюса значительным произведением наших дней? Мне думается, потому, что она всеми корнями ушла в национальную почву, как корни дерева — в землю. В то же время эта поэма выразила бедствия, пережитые не одним литовским народом. Ведь фашизм принес горе, разорение и несчастья многим народам мира. Поэтому поэма Марцинкявичюса понятна всем нам и говорит о многом. Она выразила народную трагедию мощными средствами, в ней нет ничего парочитого, надуманного, нет поэмы, есть боль и мужество, человеческое горе и стойкость.

Все прекрасное прекрасно по-своему. Этой же чертой отлична и живопись Сарьяна. Мы не можем заменить ее живописью ни Серова, ни Врубеля, ни Ван-Гога, ни Сезанна, как бы велико ни было искусство названных художников. Изумительна поэзия Александра Блока. Но рядом с ней появилось еще одно чудо — неповторимая поэзия Сергея Есенина. Теперь мы не можем себе представить, чтобы на свете не было пленительной песни Есенина! Так и во всем. Все настоящее представляет собой особый мир и становится неотъемлемой частью жизни. Горы и моря не могут заменить друг друга, хотя одинаково прекрасны. Их сила в непохожести. Все крупное похоже только на себя. Как много мы потеряли бы, если бы Сарьян стал,

скажем, похож на Пикассо! Даже Эльбрус и Казбек не похожи друг на друга, хотя их разделяет небольшое расстояние и обе горы составляют две высочайшие вершины одного Главного Кавказского хребта. Речь идет о подлинности, дающей каждому явлению собственный облик и самобытность.

4

Я помню давнюю картину Сарьяна «Горы». Разноцветные горы высятся над землей. Во всем разлита весенняя свежесть. Дыхание вечности. Бессмертие земной красоты. Цвета: темные, почти черные, лиловые, коричневые, желтые, белые, зеленые. Не перечислить и не объяснить! Да зачем объяснять? Разве в этом нуждается облако, проходящее над домом крестьянина, или снег, идущий над уллицей? Только надо смотреть. Видеть и радоваться. Мне кажется, так. Но вернемся к картине Сарьяна. В предгорьях по пашне идут буйволы и волы разной масти. Они тянут плуги. Крестьяне на пахоте.

Землю пахут всюду. Но здесь, у подножья Арарата, это выглядит по-своему. Даже недалеко отсюда, под Эльбрусом, пахут крестьяне-горцы как-то иначе. И в то же время земля и хлеб всюду остаются землей и хлебом, буйволы — буйволами, волы — волами, жизнь — жизнью. Поэтому картина Сарьяна понятна и близка всем, кто любит землю. Она скажет многое сердцу каждого, кто дорожит жизнью и трудом людей, добывающих хлеб, поливая пашню потом.

Я так осязаемо чувствую эту картину Сарьяна, будто трогаю рукой и снег на вершинах, и зелень на склонах, и сухое ярмо на шее буйвола, и зеленеющее дерево, будто по пашне идут волы моего деда или отца в Чегеме и я в теплый весенний день шагаю за медлительными волами, как бы несущими на рогах вечность, утреннюю зарю и вечерние сумерки. Искусствоведы могут не согласиться со мной, но для меня, неспециалиста, нет разрыва между ранним и поздним Сарьяном. Прежние и теперешние его произведения кажутся мне главами одной поэмы, они цельно сливаются в одну прекрасную симфонию красок. Мне очень близка картина «Константинополь. Улица. Полдень», написанная в 1910 году. Она говорит моему сердцу так много, будто художник изобразил улочку Че-

гема, где я родился. Это от подлинности вещи. А еще от того, что в ней я вижу любимых мною осликов, которых в моем детстве в Чегеме было так много. Повторяю, жизнь всюду остается жизнью. Так же дорога мне и картина «Армения», созданная совсем недавно — в 1957 году. Вот почему я говорю, что нет для меня разрыва между ранним и поздним Сарьяном.

Много лет я наслаждаюсь горами, долинами, дорогами, деревьями, улочками старых восточных городов, изображенных художником. Особенно же я благодарен ему за мулов, осликов и волов. Мне кажется, что никто во всем мире не изображал их, как это сделал Мартирос Сарьян. Я видел его пасущихся на траве и тянущих арбу или плуг буйволов и волов, видел его осликов, бредущих по узким улочкам или везущих на спине тяжелый груз. Как извечны и терпеливы эти животные — постоянные спутники жизни восточного крестьянина, без которых он не мог существовать. В них есть какая-то вечная мудрость жизни, ее древность и бессмертие. Все это в картинах Сарьяна остается для меня равным воспоминаниям о детстве — сладчайшим моим воспоминаниям. Во всем этом заключена для меня большая поэзия. Я издавна любил ослика Санчо Пансы, как тех, на каких ездил мальчиком в родном ауле. Испанцы тоже, как мне кажется, умели писать осликов и мулов (я говорю в данном случае о живописцах). Но сарьяновские — особые. У него, как у великого художника, все особое — горы, деревья, пашня, фрукты, пахари, увиденные его глазами, созданные только его воображением, его гением.

Сарьян во всем особенный. Это и понятно, иначе он не был бы Сарьяном и не стал бы мировым художником. Его картины кажутся мне споведаниями, претившимися счастливым днем, именно днем, а не ночью, а еще вернее — на рассвете.

5

Думаю, что я знаю все известные портреты, созданные Сарьяном. И должен признаться, что для меня главным и самым пленительным является не эта сторона его творчества. Притом я понимаю, какой он крупный портретист. Чтобы понять это, достаточно было бы знать портреты поэтов Цатуряна и Ахматовой, академиков Тамапя-

на и Орбели. Мне просто больше по душе его пахари на паше и сборщики фруктов. Но я знаю один портрет, который очень дорог мне. Это Аветик Исаакян, изображенный художником в 1940 году. Поэт сидит, как царь мысли, великий и простой, это мудрость и воля, горечь и человечность Армении.

Особые воспоминания у меня связаны с одним изображением Исаакяна. В Средней Азии вскоре после войны я купил книгу армянского поэта. В ней был рисунок — портрет автора книги работы Сарьяна. Исаакян сидел, опустив подбородок на руки. За его спиной по пустыне шли верблюды. Этот портрет был мне очень хорошо понятен. Он не только доставлял мне удовольствие, но и давал утешение. Исаакян был из тех поэтов, которые спасали меня в тяжкие для меня дни. Иначе и не могло быть. Гуманный и простой, как пахарь, всем существом привязанный к своей земле, к ее бедам и праздникам, скиталец, долгие годы тосковавший по огню родного очага, он был мне очень близок, будто делил со мной трудности моего существования, став снова, как я, изгнанником. Он был для меня опорой и поддержкой так же, как Шевченко, Мицкевич, Петеффи, Лорка, Бараташвили, Пшавела, как и многие трагические поэты во главе с Пушкиным и Лермонтовым, как и лучший поэт моей Балкарии Кязим. Для меня Аветик Исаакян стоит в одном ряду с крупнейшими лириками мира. Поэтому портрет армянского поэта работы Мартirosa Сарьяна я с благодарностью пронес через все испытания и привез на родной Кавказ. Тут же хочу признаться, что многим обязан я армянской культуре, древней и мудрой, как сама родная земля, прошедшей через все испытания, уцелевшей под всеми бурями и жестокими ударами судьбы.

Большому художнику чаще всего приходится отстаивать свои принципы, порой преодолевать боль одиночества, непонимание его искусства людьми, обязанными понять, как говорил Блок. Мы знаем, что путь Мартirosa Сарьяна, пыле всеми признанного, несущего на плечах груз всемирной славы, далеко не всегда был устлан цветами. Но от этого становятся еще более прекрасными плоды одержанной победы. Большому художнику никогда легко не живется: трудное дело всегда требует много труда и самоотверженности. Только посредственность идет по протоптанной дорожке. Хочет легко прожить. И искуст-

во для таких — только способ существования. Я далек от утверждения, что крупные таланты не должны есть, одеваться, иметь жилье. Да, конечно, должны, ибо они тоже люди, а не боги. Но, кроме того, они еще умеют отстаивать свое искусство и, когда необходимо, страдать за него. А малодаровитому человеку это не дано, у него нет для этого достаточного мужества. Чем значительнее талант, тем больше он ищет и меньше всего доволен собой. Но это и приводит его в конце концов к победе.

Нам же нередко кажется, что художнику всегда было легко и хорошо, будто постоянно жил он празднично. К такому заблуждению приводит то обстоятельство, что результаты работы выдающихся творцов всегда прекрасны и праздничны: не все понимают, что они добились этого в тяжелой борьбе не только со всем внешним, что мешало художнику работать, не только с косностью, непониманием, но и с самим собой, со своими сомнениями. Так жил, трудился и шел к своей победе и Мартирос Сарьян, опираясь на свое мудрое упорство и убежденность.

Мне известно, что о молодом Сарьяне писал Максимилиан Волошин. Он, кажется, в какой-то степени знал Восток и его культуру, интересовался им. Я давно читал его статью. Мне трудно вспомнить сейчас подробности, но помню, что она понравилась мне. Если я не путаю, то Волошин делал большой акцент на «восточность» армянского художника. Мне тоже хочется коснуться «восточного колорита» в творчестве Мартироса Сарьяна. Арарат его смотрит на нас, как сама вечность; тропинки армянских предгорий и нагорий, долины, сады на рассвете или в сумерках, узкие улочки древних восточных городов, загорелые сборщики и сборщицы персиков; жепщины, несущие кувшины на плечах; девушки в разноцветных шалих, задумчивое шествие верблюдов по бесконечным дорогам, сбор фруктов и нагруженные ими ослики; арбы, которые тянут буйволы с вытянутыми шеями — все пахнет воздухом Востока и согрето его солнцем. Тут его вековые самобытные краски, его история, быт, мудрость, поэзия, философия, сила и слабость, вечная радость и горе.

К Востоку обращались многие художники мира, но я не знаю живописца, воплотившего Восток с такой оригинальной мощью, так поэтично, как Мартирос Сарьян. Но

только ли восточный он художник? Убежден, что нет. Ни один великий талант не может быть только восточным или западным, только армянским или только испанским. Большой талант ломает все рамки, все барьеры и становится мировым, общечеловеческим. Это случилось и с Сарьяном. А разве не то же самое произошло с Федерико Гарсиа Лоркой, самым национальным из испанских поэтов нового времени?! Он впервые после Лопе де Вега возродил народный дух Испании, много писал, используя темы, приемы и образы фольклора. И несмотря на это стал одним из любимейших во всем мире поэтов.

Пусть никому это не покажется странным, но я нахожу много общего в поэзии испанского поэта и в живописи армянского художника. Их роднит темперамент, любовь к родной земле, пронзительность, эмоциональность в самом высшем смысле слова, умение видеть и остро чувствовать краски, плодородие и горечь земли. Вот строки Лорки:

Деревья! Вы, наверно, стрелы,
Укавшие с голубизны.

Или:

У неба нежный цвет,
А у деревьев — белый,
Черные, черные угли —
Жизнь сгорело.
Покрыта засохшей кровью
Рана заката.

Я говорю о двух своих любимцах, о двух выдающихся людях современной культуры. Я уверен, что моя мысль, сближающая их, не искусственна. Я так их воспринимаю. И мне кажется, что это не должно смущать никого — даже самых строгих специалистов. Мне понятно, что поэзия и живопись — не одно и то же, у них разные средства, но они не так далеки друг от друга, как кажется на поверхностный взгляд. К тому же я веду речь о родстве испанского поэта и армянского художника, о родстве душ, их близости в восприятии мира, Сарьян и Лорка достойны друг друга. Им не обидно стоять рядом.

Одновременно думал я о двух картинах. Это «Арагатская долина» и «Сбор персиков в колхозе». В первой снова гора Арагат — снег и сумерки. Ниже — темный склон.

Еще ниже — желтизна долины и темно-зеленые деревья. Лицо женщины. Сарьян видит земную красоту, знает ее бессмертнее и то, что сам он уйдет, а эта земная прелесть останется. И живые снова будут удивляться ей. Художник вновь беседует с вечностью, как это делали все великие поэты от Данте до Исаакяна. На второй картине — склоненные к земле персиковые деревья. Женщина и мужчина с полными корзинами. Гора золотых плодов. Опять нагруженный ослик, смирный и задумчивый. И тут Сарьян с чарующей силой, полной поэтического очарования, выразил непобедимое плодоношение земли, ее материнскую сущность, хорошо поняв, что она никогда не оскудеет, какие бы беды на нее ни обрушивались! Я смотрю на картину и осязаемо чувствую эту силу земли, трудолюбие людей, их извечную терпеливость, мудрость — ту силу, которая одолела все тяготы, все бедствия на свете и будет побеждать всегда; вижу гармонию природы и людей, их нерасторжимую слитность. Здесь снова выражена несокрушимая вера художника в жизнь, в ее созидательные истоки, ее мудрый смысл.

Отсюда же, мне думается, идет и оптимизм живописи Сарьяна, — его волшебной поэзии. Его дала художнику связь с землей, с жизнью народа, его трудом, которому нет конца. Это в самой крови великого мастера, в сущности и характере его дарования. Его живопись жизнеперадостна в самом глубоком смысле этого понятия. Такая жизнеперадостность не имеет ничего общего с глупым и бездарным бодрячеством, которое оскорбительно для искусства. Насколько полезна людям настоящая, через все испытания прошедшая жизнеперадостность, которую я бы назвал мудрой, насреддиновской, настолько же вредно парочитое и бездумное бодрячество, вянувшее при первых же испытаниях и трудностях. Это мы видели и хорошо поняли на войне с фашизмом.

В непобедимых красках выразил Сарьян свою проникновенную и великую любовь к жизни, к земле, к ее работающим людям, к животным, к траве, плодам, рассветам, закатам, сумеркам, к хлебу и воде. Все ликует или грустит, поет, думает, зевает. И мы становимся счастливыми, соприкоснувшись с таким искусством, становимся богаче и чище, лучше чувствуем и ощущаем красоту и прелесть жизни, величие земли — нашей матери. Мартирос Сарьян своими красками заворожил нас, как вол-

небник. Такое выпадает только на долю великанов. Мне кажется, что даже тропинка, вослетая Сарьяном, чувствует себя счастливой. Какая радость, что были и есть такие певцы земной красоты!

7

Так случилось, что с Мартиросом Сарьяном меня познакомила Анна Андреевна Ахматова снежным декабрьским днем в Москве. Тогда я был молод, а художник — в полной силе. Позже я бывал у него в Ереване. Дружелюбное отношение великого мастера, разумеется, явилось для меня большой радостью. Я получил от него два письма. Одно касалось в основном моей книги «Раненый камень», другое — заметок о ней, напечатанных в «Литературной России». Я понял, что моя книга чем-то оказалась близкой Мартиросу Сергеевичу, что-то сказала его душе. И вполне естественно, что я был рад — одобрение твоей скромной работы художником, которого ты обожаешь, — огромное дело. В данном случае я пишу не воспоминания о любимом художнике. Позже, может быть, мне удастся это сделать. А пока хочу сказать, хотя бы вскользь, о последней моей встрече с ним.

Когда я приехал к Мартиросу Сергеевичу в новый его дом в Ереване, он был у себя вместе с женой, Люсьей Лазаревной. Узнав, что я у отца, сразу же подъехал сын Мартироса Сергеевича, Лазарь Мартиросович, ректор консерватории. Он хотел пройти со мной по дому, показать картины, чтобы избавить отца от лишних хлопот, чтобы престарелый художник не утомил себя. С этой целью и подъехал Лазарь, но Мартирос Сергеевич и слышать не хотел, несмотря на мои уговоры. Мы пошли втроем. Сарьян показал мне все свои картины, всю свою великую работу за долгую жизнь. Я попал в мир сказки и поэзии. Когда мы поднялись на второй этаж, я спросил у хозяйки:

— Мартирос Сергеевич, а почему не видно Арарата?

— А потому, что между Араратом и мной поставили дом гораздо выше моего. Стало быть, есть люди, которые думают, что мне не надобно видеть Арарат! Вот взяли и закрыли его от меня! Очень обидно!

Он сказал это с такой горечью, что у меня сжалось сердце. Как могло случиться, что от всемирно известного художника закрыли самое любимое им на свете? Неве-
роятно! Перед глазами тех, кто впервые приезжает в Ере-
ван, Арарат возникает вдруг таким белым чудом, что че-
ловек, увидев его однажды, запоминает на всю жизнь.
А ереванские строители лишили великого певца великой
горы, постоянного, ежечасного общения с ней! Арарат
и Сарьян — высочайшие вершины Армении, видные всему
миру. Они никогда не расстанутся потому, что бессмерт-
ный художник бессмертно воспел обожаемую им биб-
лейскую гору — белое чудо древней земли. Вся жи-
вопись Мартироса Сарьяна освещена светом Арарата.
Так они и останутся вместе, радуя живущих высотой
и величием.

В тот день Мартирос Сергеевич за обедом даже выпил
со мной две рюмочки коньяку, не посчитавшись со своим
возрастом. Он, видимо, этим хотел выразить свое отноше-
ние ко мне. Когда мы вышли в садик перед домом, Сарьян
сказал мне:

— Здесь есть и Ваше дерево!

Это было сказано очень ласково, даже с нежностью.
Разве Сарьян мог говорить иначе о деревьях, которые он
писал с такой необыкновенной любовью? Сначала я не
попал его. «Почему, — подумал я, — мое дерево?» Когда
же художник повел меня к молодому кизилу, мне все ста-
ло ясно: он имел в виду, что родина кизила — наши горы.
Тот сентябрьский день 1967 года стал одним из счастли-
вых в моей жизни.

О Сарьяне пишут во всем мире. Я не ставил себе
целью умножить литературу о нем. Я всего-навсего хотел
выразить свою любовь к удивительному художнику, ред-
кому явлению в нашей жизни, высказать мое восхищение
его живописью. О любви своей можно и молчать. Но это
удается не всем и не всегда. Я не смог смолчать еще и по-
тому, что хотел поделиться своей радостью с другими.
В данном случае я не боюсь своего восторга, хотя в поэ-
зии я за сдержанность — темперамент должен быть внут-
ренним, а не внешним. Внутреннее горение сильнее. Вос-
хищения остерегаются исследователи искусства и крити-
ки. Я уважаю работу многих из них и понимаю, что им
необходима трезвость. Надеюсь, что они также поймут
меня, не осудят и не сочтут чрезмерным мое горячее от-

ношение к одному из самых поразительных явлений современного искусства. Эти строки — гимн и ода моей души волшебному живописцу — поэту.

Окончив мои размышления о живописи великого кавказца Мартироса Сарьяна, я снова стою, онемев, перед его необыкновенным искусством, как перед Араратом или Эльбрусом. Оно прекрасно, как наш родной Кавказ. И я счастлив, что знаю его!

1966—1973

БЕССМЕРТНЫЙ ГОЛОС

1

В 1916 году Брюсов писал, что армянская средневековая лирика — одно из самых замечательных явлений в поэзии этого древнего народа, его глубочайшее духовное достижение. Но несмотря на это, несмотря на выход Брюсовской Антологии армянской поэзии, куда вошли и образцы лирики средневековья, знать ее за пределами Армении имели возможность лишь редкие специалисты, и то в немногих образцах, а сколько-нибудь широкому кругу читателей она оставалась неизвестной.

Эта поэзия полна глубоких мыслей и переживаний человеческой души, часто охваченной трагической болью и стремящейся к свету. В произведениях крупнейших поэтов армянского средневековья мы слышим крик души человека, живущего под гнетом церкви, ее религиозных догм, под гнетом жестокости светской власти, видим отчаянный протест, обращенный к людям и богу. Прекрасную песню талант может высечь из своего сердца и во мраке неволи. Конечной целью человека и поэта остаются радость и свобода, во имя которых работает художник и ведется борьба, всегда полная драматизма. Это мы ощущаем и в лучших образцах средневековой армянской лирики.

Истинной поэзией веет на нас от древнейших песен:

Золотой дождь шел на свадьбе Арташеса,

Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатеннк.

(«О царе Арташесе»)

Или:

О, кто бы мне вернул былое
И даю бы увидеть дым очага,
И утро Навасарда — Нового года,
И скакание лакей,
И бег оленя,
И то, как мы в трубы трубим,
Как пристало царям.
(«Воспоминания Арташеса»)

Замечательны трудовые песни армянского народа. В них поэзия разлита, как воздух летнего утра, полдня или вечера над пашнями и горами, над домами и деревьями. Эти песни подкупающе непосредственны. В них сохранены вкус хлеба, воды и соли, созревание колосьев и зелень травы, работа крестьянина в них выражена со всей ее полнотой, как надежда пахаря на урожай.

Армянские трудовые песни освещены светом добра, согреты сердцем работающего человека. Из них на нас смотрят мудрые и усталые, но не отчаивающиеся глаза пахарей, каменотесов, косарей и пастухов, которые мечтают о лучшем, зная цену жизни и хлебу, мудро делающих свое дело, умеющих переносить трудности и pseudобства, не теряющих веры в жизнь, не отвергающих ее смысл. Они как на работу, так и на дождь и снег спокойно смотрят, потому что знают: без влаги и поле не уродит и не будет травы на пастбищах. А звезды над полем и пастбищем, над дорогой и двором также говорят им о многом, своим спокойным вечным горением помогая не отчаиваться. Так входит мир в народную поэзию, детски непосредственную, незатейливую, безхитростную, естественную, как течение реки и белизна снега. Все эти свойства народной поэзии есть в армянских песнях. Выраженные по-своему, эти песни родственны и созданиям других народов. Так и должно быть в общей человеческой семье, ибо люди всюду остаются людьми. Их труд и надежды, радости и страдания всегда схожи. Я вовсе не утверждаю, что все народы слагают свои песни одинаково, пользуясь одними и теми же красками и образами. Я говорю лишь о родстве сути искусства всех народов. Эта мысль подтверждается и народной поэзией Армении. Многие армянские трудовые песни имеют своеобразные рефрены-повторы:

Ты лети, коса, лети!
Ты свисти, коса, свисти!

Хыше чик-чик,
Хыше чик-чик!

(«Песня косаря»)

А вот рефрен другой песни:

Милые мои волы,
Знаю — сохи тяжелы.
Хоо!
Но и мне ведь рукоять
Тоже нелегко сжимать,
Хоо!

(«Песня пахаря»)

Своеобразные повторы создают особую атмосферу армянской трудовой жизни, подчеркивая ее самобытный характер и колорит.

2

Много в армянской поэзии и песен любви, в которых остро ощущаются страсть, огонь и свет влюбленного человеческого сердца. Эти песни яркие, эмоциональные, своеобразные. Они — еще одно подтверждение, какую прекрасную поэзию создало человечество на всех языках, какую изумительную Песнь пропело женщине, любовью которой согрета вся жизнь, все наше бытие, весь мир. Армянская народная лирика, горячая и трепетная, — замечательнейшее явление мировой лирики. Вот порывистые строки, которые выдохнул человек, ослеслаивленный красотой женщины, любовью к ней:

Солнце сияло, и розы цвели.
Разве не знала, что ждал я вдали?
Самая лучшая роза земли —
Ты, моя милая!

(«Ты — моя милая»)

Это восторг любви. А вот стихи о боли, рожденной любовью:

Стан твой, словно рукоять кинжала,
Вот ты вышла, вот у двери встала!
Стал больным я от любви к тебе,
А тебе, насмешница, все мало!

Известно, любовь бывает и неразделенной, нередко она приносит не только радость, но и страдания. Несмотря на это влюбленный человек все равно счастлив — его душа

не пуста, он живет полной жизнью. Любящее сердце, если даже оно страдает, полно жизни, ее огня, света, силы. А сердце, которому не знакомо это чувство, просто подобно смоковнице, бесплодной и никому не нужной, в нем нет ни огня, ни силы, оно убого и мертво. Это я ощущал все время, читая армянские песни любви.

Удивительное дело! От старинных песен повеяло на меня свежестью мира, нестареющей новизной любви, поэзии и жизни. Читать их — и наслаждение и урок: не тускнея, долго живет в искусстве, не теряет свежести, первоначальной силы только глубоко правдивое, искреннее, а потому и истинное.

Как известно, армяне живут по всему миру, многие из них были гонимы, испытали безумие и жестокость резни и другие горчайшие бедствия, жили изгнанниками, лишены родной земли и крова. И вполне естественно, что в армянской поэзии — от старинных песен до лирики Аветика Исаакяна — сильны мотивы скитальчества — гарбиства. «Песни изгнания» — тоже очень сильны. Они пронизаны горечью тоски по родине и любовью к ней. В этих песнях рыдает плененная душа армянина-изгнанника, армянки-пленницы. Читая их, думаешь: господи! Чего только не пережила, не перенесла человеческая душа! Через какие только бедствия она не прошла, какие только страдания, горе и издевательства не испытала, чего только не вынесла и не выдержала! Какие только тяготы и беды не преодолели народы!

Но люди не только продолжали жить наперекор всем испытаниям, выпадавшим на их долю, но и высекали огонь поэзии даже из своих несчастий, продолжали творить и создавать, выдвигая героев и мастеров, светом своих сердец и мощью своего гения освещавших тяжелый мрак жизни. Давние мучители трудовых людей и народов, коверкавшие и уродовавшие жизнь, давно стали прахом, а поэтические творения живут и будут жить. Как могуч коллективный ум и талант народа, как беспрельпная энергия и жизнестойкость, как мощно стремление и как неистребима надежда! Именно об этом говорят нам армянские «Песни изгнания», которые древний народ пропел, побеждая великую боль и великие страдания:

Птица — я поймана, в клетке глухой заперта,
Нету мне счастья с тех пор, как отбилась от стаи,
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!

Несмотря на горечь жалобы пленной армянки, в заключительные строки песни врывается свет надежды, без которой народная душа не остается никогда:

Может, за много вернется родимая стая.
Может быть, в жизни моей все еще переживается!

(«Я несчастная пленница»)

Одной из самых характерных для этого цикла и замечательных мне кажется песня «Журавль». В ней любовь к родине и тоска по ней выражены с покоряющей силой, леденящей душу. Начинается она так:

Отчего ты, журавль, в небе стоишь —
Нет ли вести из страны моей?
Чуть помедли, ты свой шаг догонишь.
Нет ли вести из страны моей?

А вот последняя строфа:

На пути к Сахрату или Багдаду
Буду ждать пролет твой, как награду.
О журавль! Мне так нежного надо —
Нет ли вести из страны моей?!

При чтении «Песен изгнания» я чувствовал себя так, будто всю боль, всю тоску, выраженные в них, пережил я сам, беды и горе скитальцев армян как бы стали моими, и я проникся еще большим уважением к удивительному и великому народу, ко всему, что он вынес и выдержал. Разве это не важнейший признак большой поэзии?

Так же самобытны, поэтичны песни о природе, обрядовые, колыбельные, плачи, религиозные заклинания. Этим, может быть, и надо бы закончить разговор о народной лирике. А все же не могу преодолеть соблазна и очень коротко скажу о колыбельных песнях. У меня особое отношение и привязанность к колыбельной песне, какому бы народу она ни принадлежала — будь то колыбельная балкарской крестьянки, Моцарта или Шопена. В мире нет песен лучше и новее колыбельных. Они прекраснее всех на свете, потому что согреты материнским сердцем, освещены его светом, его невыразимой любовью и страданиями, в них живет чистота материнского молока. Ни в одном произведении искусства так непосредственно не выражены тревоги и надежды человеческой души, как в колыбельной песне, где чистота материнской любви слилась с чистой невинности ребенка. Над зыбкой Бетховена и Льва Толстого тоже, думаю, плыли колыбельные. Вся

нежность мира, все его тепло, все песни птиц и шелест всех трав, все самое лучшее, самое человеческое в мире перешло в колыбельную песню. В самые холодные, трудные и мрачные наши дни она возвращает нас к тем временам, когда мы не знали никаких бед, когда спилсь нам только счастливые сны и спяло для нас самое прекрасное лицо на свете — лицо матери. Колыбельная песня согрета сердцами всех матерей на свете, ее не сумели убить жестокость и кровавые мечи, потому что она охраняема матерями всех народов. Материнская любовь к ребенку и тепло детской колыбели никогда не умрут. А потому вечно будет жить колыбельная песня — одно из самых добрых и сердечных созданий человеческой души и фантазии.

В армянских колыбельных песнях есть все это. Есть запахи цветов родной земли, шелест ее деревьев:

Колыбель твою качает южный ветер,
Песню напевает южный ветер.
Лапъ степная молока
Своего
Не жалеет для сынка
Моего.
Солнце над сыном моим светило,
Днем оно сыночку нянькой было.
«Зензегун» теперь поет
Ветерок,
Чтоб всю ночь напролет
Снял сынок.

Я уверен, что колыбельная песня, как и само материнство, сильнее всех орудий смерти, придуманных для истребления людей и, значит, против жизни. Колыбельная песня создана для жизни и непобедима, как сама жизнь. Я благодарен сложившим эти песни и низко кланяюсь той земле, где их пели.

3

В сборник средневековой армянской поэзии вошли произведения более двадцати лириков средневековья. Два из них крупнейшие мастера стиха. Григор Нарекаци (X век) и Наапет Кучак (XVI век). Главы из «Книги скорбных песнопений» — гигантского создания Нарекаци звучат так мощно, с такой силой, так серьезны, что невольно приходит сравнение с Бахом, мне вспоминается звучание могу-

чих творений композитора в больших католических храмах. Послушаем самого поэта:

Мой стон, ставший песнопеньем,
Прими не с гневом, а благоволеньем!
Из дальних келий, тайных уголков
Достал я слово, как со дна колодца,
Пусть дым сожжения моих грехов
К тебе, всемплосердный, вознесется!

Это, конечно, вырвалось из сердца человека, много думающего, страдающего, нищущего, душа которого в смятении. Обращение его к богу вполне естественно. Но, по-моему, это и разговор со всем сущим — с Судьбой, Жизнью, Смертью, Вечностью.

Ты недоступен для рабов своих,
Но близок в вышине своей нездеишей,
Целитель пецелимых ран людских
И утешитель боли неутешной!

Духовные песнопения Нарекаци так сильны, в них такая поэтическая мощь, искренность, такие взлеты мысли, такая боль и смятение человеческого сердца, а также стремление к истине, правде и чистоте, таким могучим светом трагедии освещены его монологи, что нет сомнения: Григор Нарекаци — один из великих поэтов средневековья. Я уверен, человечество еще воздаст ему должное. Главы из «Книги песнопений», дают представление о поэтическом гении Нарекаци и оставляют сильное впечатление.

Наапет Кучак достоин более подробного разговора, а сейчас мне лишь хочется подчеркнуть: он так воспел женщину и любовь к ней и радость, блаженство, муки любви, а также прелесть женского тела, что, читая его айрены, диву даешься, как он это в то время осмелился сделать. Для этого, думается, нужна не только смелость, но и бесстрашие. Стало быть, Кучак обладал драгоценнейшим для поэта качеством, а потому и мог написать, не боясь церкви, такие стихи:

Хоть господь меня сотворил,
Я к священникам не ходил,
Не хотел праведников знать я —
Храм священный мне был не мил,
Не страшили меня проклятья —
Лишь красавиц я в мире чтл.
На груди их в жарких объятьях
И молился я и грешил!

Как прекрасны такая свобода духа, смелость и правдивость!

Том «Средневековая армянская лирика» подготовлен был к печати в серии «Библиотека поэта» одним из талантливейших молодых литературоведов Армении доктором филологических наук Леоном Мкртчяном — знатоком родной поэзии и ее истории. Он проделал огромную работу и блестяще выполнил свою задачу. Его обширная вступительная статья — серьезное исследование. Она написана живо, хорошим языком. Мкртчян не только прекрасно знает родную поэзию, но и горячо ее любит. Он приводит ряд малозвестных противоречивых высказываний и мнений различных авторов разных эпох, писавших о средневековой армянской литературе. Короче говоря — это серьезная работа талантливого ученого.

4

Я позволил себе написать эти заметки, не будучи специалистом в области истории армянской литературы. Но я пишу не как исследователь, а как литератор и читатель, любящий армянскую культуру.

Многие произведения, прочитанные впервые в этой антологии, в частности песнопения Нарекаци, удивили меня и потрясли. Я даже позавидовал армянам: каких замечательных, глубоких и мощных поэтов имели они еще в далекие времена!

1971

НААПЕТ КУЧАК — ВЕЛИКИЙ ЛИРИК

1

Даже знатоки армянской поэзии и ее истории мало знают о жизни Наапета Кучака. Неизвестен и год его рождения, считают, что он умер в 1592 году. Значит, жил в XVI веке. И все же я могу сказать, что мы знаем о Кучаке много, знаем главное — его лирику, которая живет уже четыре века. Конечно, интересно знать все подробности жизни крупного художника, но сутью его бытия и главным в нем являются его создания, они и есть его жизнь, его сердце, его мысль, тревоги и надежды. Мы благодарны безымянным создателям сокровищ народной поэзии, не зная ни их имен, ни их жизни. А потомки автора знаменитых айрепов — крупнейшего поэта армянского средневековья — знают, кому быть благодарным за одно из лучших выражений своего национального духа: Наапету Кучаку — великому лирику. Я прочел его стихи в точном подстрочном воспроизведении и поэтических переводах. От них повеяло на меня душевной мощью большого художника и светом сердца мудреца. Мудрыми были и Пушкин, и Исаакян, и Блок, и Лорка. Мудрость художника особая, это мудрость сердца. Ее не надо путать с умением жить благополучно и хорошо устроиться в жизни. Последнее плохо удавалось поэтам.

Прозорливость художника тоже особая, ибо его сердце — сердце народа, его глаза — глаза народа, иначе художник не знал бы, куда направить свои силы, не видел

бы света будущего. Стойкость и мужество придают ему особую художническую мудрость и прозорливость.

Вот таким я вижу и сегодня армянского лирика. Я вижу его таким и оглядываясь на четыре столетия назад. Только человек, наделенный выдающимся талантом, высокой мудростью и большой прозорливостью, мог писать в эпоху средневековья стихи, прославляющие жизнь и любовь. А верить в жизнь и человеческое сердце — значит верить в будущее своего народа и человечества. Стихи Кучака вызывают горячий интерес не только армянских читателей, но и всех, кто интересуется поэзией, любит ее.

Валерий Брюсов, приступая к подготовке и изданию Антологии армянской поэзии, которая вышла в 1916 году, изучил историю Армении, ее литературу. Вот что он писал о Наапете Кучаке: «...стихи его остаются прекраснейшими жемчужинами армянской поэзии. Среди всех средневековых лириков Кучак выделяется непосредственностью и безыскусственностью своих вдохновений». И дальше: «Он независим в выражении своих чувств, он ближе к уличной толпе, нежели к дворцовым ступеням, его голос звучал не для «сильных мира сего», а в народных собраниях». И не будучи таким знатоком армянской культуры, каким был Брюсов, я сегодня воспринимаю Кучака так же горячо и такого же высокого мнения о нем. В высказывании Брюсова о Наапете Кучаке особенно метким и точным мне кажется замечание, что «его голос звучал не для сильных мира сего»... Дело в том, что на старом Востоке, да и не только там, даже талантливые поэты часто отдавали свой дар властителям, дворцовой знати, став придворными, восхваляя деспотов, воспевая мнимые подвиги жесточайших тиранов, песни народам разорение и гибель. Такие поэты проходили мимо судьбы народа, мимо труда, ума, радости и страданий человека. Губили себя, свой талант, лишали себя совести, достоинства, чести — драгоценнейших качеств человека и поэта, душили в себе искренности, без которой не может быть поэзии. А Наапет Кучак стал поэтом жизни, поэтом людей.

2

Говорят, что Наапет Кучак родился в селении Хараконис недалеко от города Ван и похоронен там же. О популярности и значительности поэта свидетельствует то,

что могила его стала местом поклонения. Не всякому поэту выпадают такая посмертная честь и слава.

Брюсов считал главным в творчестве армянского лирика его айрепы — четверостишия о любви. Он подчеркивал: «Единственный султан, перед которым Кучак склонял голову, была его вечная и властная повелительница — любовь». Тема любви была и остается одной из самых высоких и неисчерпаемых тем мировой лирики. Какой великий или малый из поэтов всех народов не принадлежал к вечно живому роднику любви! Они делали это отважно, как Кучак, и в те времена, когда любовь к женщине и жизни считались грехом, запретным плодом, а женщина и ее красота — не достойными поклонения.

Бесстрашие — самое прекрасное в человеке и самое труднодоступное. И для художника оно большое благо наряду с талантом. Бесстрашие так же прекрасно, как совесть и талант. Кучак обладал не только выдающимся талантом, но и бесстрашием, иначе он не смог бы оставить потомству свои песни, спетые во славу человека и его любви, и бросить свое сердце в будущее, как раскрывшийся на рассвете цветок.

Где женщина — основа жизни, закреплена, притеснена, забита и убога, там неблагополучна вся жизнь и несчастен народ. Женщина не только вскормила человечество, но и светом сердца, светом доброты, материнского чувства осветила жизнь. Кто не любит женщину, тот не может любить жизнь. Красотой женщины озарено все наше бытие. Женская красота — великий дар живущим, ничем не заменимое благо и счастье. Так думали все большие поэты на свете, так думал и Наалет Кучак. Вот его строки, дышащие вдохновением и страстью:

Ты в мире — перстень золотой, а я — алмаз на нем,
Ты — зелень, нежащая пруд, а я росника днем.
Ты — яблоко, что берегут, я — лист в венце твоём,
И я, когда тебя сорвут, иссохну под лучом.

Поэт, охваченный страстью, ради любви готов прыгнуть в пропасть, как тур во имя своей свободы. Только благодаря силе самозабвенного чувства, пронизывшего его стихи, благодаря такой безоглядности создания Наалета Кучака обрели долговечность, стали прекрасными, как сама любовь, как сама женская красота. Армянский лирик знал не только радость и восторг любви, но и ее горечь:

Мы пылали с тобой огнем,
 Мы сгорали с тобой живьем.
 Все прошло, ты узнать захотела,
 Что со мною стало потом?
 Все случилось, как ты хотела,
 Что могло, все давно сгорело,
 На костях моих нету тела,
 Есть лишь пепел в сердце моем.

Признание, потрясающее глубиной боли, пронзительностью. Эти стихи относятся к редчайшим и сильнейшим в мировой трагической лирике.

Не меньшая драматическая сила заключена и в следующем стихотворении:

Я в любви, как ребенок малый,
 Силой отнятый от груди.
 Погляди, что со мною сталось,
 Погоди уходить, пощади!
 Ничего у меня не осталось,
 Только тьма теперь впереди.
 Сделай мне хоть малую малость:
 Дай воды, мой огонь остуди!

Это голос человека, который жил четыре столетия назад! Он обжигает и потрясает нас и сегодня. Вот какую силу, какой негасимый огонь несет в себе поэзия! Слова, сказанные четыреста лет назад, живы и ныне, волнуют и удивляют нас, возвышают и ошастлиивают. Великие поэты — вечные спутники живущих, как рассвет и сумерки, как облака над полем и лунный свет на дороге.

Наапет Кучак, сказавший горчайшие слова о любви, знал, однако, что роза не перестает быть прекрасной от того, что у нее имеются шипы. Так же и женщина, но, все равно, она прекрасна. И благословенна ее красота, ее сердце! Разве не об этом говорят вот такие стихи, сказанные как бы на рассвете, в счастливый час, когда женщина озарила душу поэта ни с чем не сравнимым светом красоты и любви, светом высшего блага для человека:

О, царица, пусть будет восне-
 та, что в муках тебя родила,
 Ни луна, ни другая планета
 Не светлей твоего чела.
 Ты — звезда, что лишь в пору рассвета
 Блещет где-то во тьме облаков,
 Темноту отделяя от света
 Там — у греческих берегов.

Поэты всегда знали, что на свете нет ничего прекраснее женщины, что она самоотверженнее мужчины, даже сильнее его; они знали, что несравненны и ничем не заменимы красота ее лица, глаз, рук, свет ее души. Они понимали, как прекрасна мать, склоненная над колыбелью ребенка, или женщина, разжигающая огонь в очаге на заре, или латающая одежду своего мужа зимним вечером, или месящая тесто, чтобы испечь хлеб своим детям. Поэтому женщина и любовь к ней так мощно, так бессмертно воспеты поэтами мира от Петрарки до Александра Блока, от Саят-Новы до Пушкина и Гарсиа Лорки, от Кучака до Есенина. Лирика любви — одно из величайших достижений мировой поэзии и культуры, и среди тех, кого мы должны благодарить за нее, сверкает имя армянского поэта Наапета Кучака.

Но Кучак был не только поэтом любви. Через его сердце прошли беды его времени, его многострадальной страны, родного народа. Честное сердце большого художника не могло не быть раненым тяжелой жизнью простых людей:

Цари, князья, врата закона, властители земли,
Вы злых начальников поставив, скрываетесь вдали.
Пришли к вам те, кого на горе, на смерть вы обрекли.
Подумайте, они не к богу — к вам с жалобой пришли!

Поэт говорит здесь от имени обездоленных тружеников. Кучак был поэтом пессимизма, народным поэтом. Каждый истинный художник живет и трудится на благо народа, он не на стороне тех, кто угнетает, а — угнетенных, тех, кто нуждается в опоре и поддержке. О бедах Армении, которую терзали бесчисленные враги, Кучак пишет:

Если б стало чернилами все бесконечное море,
Тростники всех болот стали перьями б,
с лучшими споря,—
Все монахи Стамбула и Рима и наших нагорий,
Мудрецы Хоросана, Мугри — будь хоть все они
в сборе, —
Не могли бы прочесть эту длинную летопись горя.

В эпоху, когда жил Кучак, опустопали Армению чужеземные захватчики от Тамерлана до турецких и персидских завоевателей, страна на время теряла государственную самостоятельность. Историк пишет: «Армения превратилась в отчизну скорби». Вот чем порождены приведенные выше

горчайшие строки. В них слышится сквозь века голос горя и протеста армянских пахарей, каменотесов, мыслителей. Кучак дал нам возможность ощутить боль и страдания, которые терпел народ в те мрачные годы, с болью и горечью он писал о харибах-скитальцах, изгнанниках, лишившихся родной страны и очага.

Удивительны судьба, душевная мощь и жизнестойкость народа, выдвинувшего большого поэта, сделавшего его выразителем своих чаяний и надежд, своей стойкости и мудрости. Не думаю, чтобы на свете был народ, который прошел бы легкий путь, каждый народ жил трудно. Но думается, что судьба Армении и ее история полны особого драматизма. Это легко может увидеть, ощутить, почувствовать каждый, кто проходил по долинам и пагорбам древней страны, приглядываясь к ее горам, холмам, развалинам древних храмов — творениям замечательных зодчих, — читал книги ее поэтов и мыслителей. Поэт Геворг Эмин пишет: «Армяне свою страну называют «страной армян», Айастаном. Но есть и другое, созвучное этому слово — Карасан, «страда камней». Я тоже, не раз бывая в Армении, думал о том, что на армянской земле так много камней, потому что убить камень невозможно. Но враги, как они ни старались веками, не могли убить и армянский народ, его трудолюбие, его мысль, талант, надежды и упорство. Народ, так много вынесший на своем веку и перенявший стойкость камня, принес в дар миру неповторимые творения художников и поэтов, обогатив ими культуру человечества. Армянский народ один из самых мудрых и жизнестойких на свете. И его родина — его библейская земля — одна из удивительнейших.

Рокуэлл Кент сказал: «Если бы меня спросили, где на планете Земля больше всего можно встретить чудес, — я назвал бы в первую очередь Армению». Армения не только страна камня. Я видел Араратскую долину в пору созревания персиков и абрикосов. Глаза мои были счастливы. Это одна из самых прекрасных долин из виденных мною. Я смотрел на леса Лорийских гор и на вечно синий простор озера Севан, видел Арарат. Поразительны контрасты Армении. Такая страна не могла не стать родиной великих поэтов и художников, народ такой судьбы и стойкости не мог не породить выдающихся людей. Чтобы Армения своей культурой прославилась на весь мир, достаточно таких славных творцов, как Саят-Нова, Кучак, Комитас,

Туманян, Исаакян, Сарьян, поднявших искусство своей родины до мировых высот. Я назвал несколько любимых мною имен, а сколько их еще у Армении!

4

Интересно, кем был Кучак? Я могу представить себе его ученым, склонившимся над древними книгами и рукописями, видящим, как возвышались и рушились царства, а народы оставались трудолюбивыми созидателями, и человеческая мысль сияла, как звезды над пашней. Я могу представить себе Кучака каменотесом-философом, понявшим язык камня, который он тесал, полюбив его неподатливость и вечность. Могу представить себе его и монахом, который на старости лет за монастырскими стенами коротал вечера и проводил бессонные ночи, думая о горькой судьбе своего народа, слагавшим глубокие стихи, полные боли и веры в бессмертие армянской мысли, а когда он выходил на рассвете из своей кельи, радовался, видя синее небо над полями, видя горы, белым чудом высящиеся над родной страной. Но главное для нас — он был поэтом, только потому мы и почитаем его. Поэзия Наапета Кучака — доказательство того, как прекрасен талант, какое чудо — человеческое упорство и мысль. Каждое крупное явление человеческого духа — урок не только современникам, но и потомкам. Таким уроком остается и Наапет Кучак.

Мы должны доказать свою любовь к культуре других народов не только застольными тостами и речами с трибуны на совещаниях. Прекрасное в каждой культуре принадлежит всем людям. Замечательные создания армянского народа, его великих поэтов и художников дороги, близки мне, стали неотъемлемой частью моего духовного мира.

Я читал и перечитывал стихи Наапета Кучака, проникался их светом и горечью. Я беседовал с крупным человеком и проникновеннейшим лириком. Мне было хорошо, как тому, кто зимой запоздал в дороге и, добравшись до дома, сидит у горящего очага, и хотя он уже дремлет, но не хочет лечь спать: так блаженно у огня. Рукопись айрендов Кучака еще лежит, раскрытая, на моем столе. Я смотрю на нее с нежностью и думаю о долговечности настоящего слова и хрупкости жизни человека, о силе его духа, величии созданий его рук, ума, фантазии, о том, ценой каких

страданий заслужили многие большие художники и мыслители признательность потомков.

Наапет Кучак! Длиннен путь твоего слова. И я, твой скромный собрат в потомстве, благодарен тебе за твое мудрое, чуткое сердце, неувядающее слово.

Поэзия большой любви

После таких поэтов, как Туманян, Исаакян, Терян, Чаренц, нелегко быть достойным певцом синей чаши Севана и вечно белой высоты Арарата, мудрости мастеров камня и винограда, вековых страданий и вековой стойкости Армении, трудолюбия ее пахарей и доблести ее воинов. Но Сильве Капутикян, к счастью, это удалось. Жизнь одарила ее незаурядным, истинным талантом. Благодаря большому дарованию ей посчастливилось стать значительным художником слова не только своей земли, но и всей нашей великой Родины. Она давно заняла свое место в многонациональной и многоцветной советской поэзии. Она давно снискала любовь широкого круга читателей всей страны, сумев вызвать горячий интерес тех, кому нужна поэзия.

В чем же секрет ее успеха? Ответ один: в подлинности дарования. Все остальные качества идут от значительности таланта, с которым в близком родстве глубина содержания, неповторимость образов, взлеты фантазии, чувство формы, ясность, проникновенный лиризм, пронзительность мысли — все то, что делает стихи поэзией.

Одним из замечательнейших свойств стихов Сильвы Капутикян я считаю их немногословие. Многословие и пустая декламация болтливых стихотворцев только утомляют читателей. Сильва цепит слово, как мастер, и дорожит им, зная, что нельзя бросать его на ветер. Болтливость неприятна в быту, а в поэзии она невыпосима. Капутикян в таком грехе не обвинишь. Может быть, этой хорошей скупости научили поэта камни родной земли и создатели тех армянских храмов, где нет ничего лишнего. Вот пример:

Да, я сказала: «Уходи», —
 Но почему ты не остался?
 Сказала я: «Прощай, не жди», —
 Но как же ты со мной расстался?
 Моим словам наперекор

Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?

Это все. Но все, что хотелось сказать, сказано. Вот еще пример:

Наверное, меня поймет лишь мать:
У материнских душ один язык.
Ступая тихо, чтоб не расплескать,
Стакан воды принес мне Араик.

Благословен труд материнский мой!
Всю жажду долгих лет в короткий миг
Я утолила этою водой,
Которую принес мне Араик...

Я вовсе не утверждаю, что все замечательные стихи на свете только короткие. Нет, но даже в тех вещах, где несравненно больше строк, Сильва Капутикян не допускает лишних, ненужных, бесполезных слов. Она ведет себя, как мастер, и со словом обращается, как знаток. В произведениях мастеров стиха не бывает ненужных, пустых слов, независимо от размеров стихотворения.

Много лет к поэзии Капутикян я отношусь с любовью. В этой поэзии старые раны и беды Родины поэта соседствуют с новым цветением абрикоса, с новой радостью земли:

О камни —
Вы сами история!
Мы жили в бедах, в нищете
И зданья траурные строили,
Как памятники темноте.

О былой судьбе Родины сказано серьезно, образно, сильно. А вот совсем другой — светлый мотив новой Армении:

И вот уже льды на пруду раскалываться стали,
И вдруг увидишь поутру на небе птичьих стаи.
Ручей чего-то бормотал, а тут развел рудады,
И расцвели уже цветы и тянутся из сада.

Сильва Капутикян — поэт глубокий, драматичный. Она прямо смотрит не только на счастье жизни, но и на ее трагедию. Это делает ее сильной. Она называет радость — радостью, горе — горем. Мне дороги правдивость, истинность, искренность ее чувств, ее смелость. С поэзией нельзя шутить, так же как с молоком матери, с хлебом родной земли. Сильва из тех, кто хорошо это помнит.

Я люблю мудрость и мужество этой женщины. Мне

всегда казалось, что она умнее и сильнее многих из нас, нынешних литераторов Кавказа. Общаясь с ней, я каждый раз чувствовал, будто ее глаза смотрят из глубины армянской истории, такой драматической и прекрасной. Только поэт, тесно слитый с судьбой своего древнего народа и его историей, может быть таким. И только поэт такого типа способен написать трагически-прекрасные строки, могущие пронзить сердце:

Наш пантеон не пышен, не просторен:
Всего лишь несколько простых могил.
О мой народ, богатый смертью, горем,
Где ж ты других великих схоронил?

От таких стихов берет дрожь! Они порождены такой же необходимостью, как вздох или рыдание в горчайший час. В этом вообще сила поэзии. Ужасно, когда стихи пишутся только потому, что автору хочется написать стихи, а какие — неважно. Так рождаются строки холодные, как камень у дороги зимней ночью, не трогающие никого, не нужные никому. Стихи же должны потрясти или порадовать человека. Иначе не стоит их писать.

Мне близко сочетание суровости и женственности в стихах Капутикян, как соседство камня и винограда на родной земле. Я люблю соседство строгости и материнской нежности, отсутствие развязной болтливости и пустой декламации, мне дорого внутреннее горение ее стихов. О любви женщины она пишет правдиво, без слащавости, с драматизмом чувств, лаконизмом, смелостью и откровенностью. Вот одно из самых известных ее стихотворений:

Любовь большую мы несем,
Но я — к тебе, а ты — к другой.
Опалены большим огнем,
Но я — твоим, а ты — другой.

Ты слова ждешь, я слова жду,
Я — от тебя, ты — от другой.
Твой образ вижу я в бреду,
Ты бредишь образом другой.

И что уж тут поделать, раз
Самой судьбе не жалко нас.
Что нас жалеть? Живем любя,
Хоть ты — другую, я — тебя.

Поэзия Сплывы Капутикян рождена горячей, всепоглощающей любовью к родной армянской земле, к истории

народа, болью за трагические повороты его судеб и радостью возрождения. Она рождена любовью ко всему прекрасному на свете. Ее стихи — поэзия большой любви. Оставаясь с ними наедине, я остаюсь один на один с совестью и любовью человека, которому дорого все, достойное уважения и любви. Я люблю эту цельную чистоту и откровенность. Без них стихи — мертвы. Читая Сильву Капутикян, я словно трогаю рукой камень и траву армянской земли, снег ее склонов и зелень ореха, становлюсь причастным к судьбам ее родины, к ее собственной боли, радости и любви. Ее сердце распахнуто миру.

1973

5

МОЯ
ГРУЗИЯ

МОЯ ГРУЗИЯ

1

Мне довелось увидеть довольно много стран и краев. Но Грузия, наряду с землей отцов, увенчанной белым Эльбрусом, остается моей глубочайшей привязанностью, моей горячей любовью. Я люблю грузинскую землю и небо над ней, бессмертные виноградной лозы и грузинской речи. Когда я поднимаюсь на Крестовый перевал, передо мною открывается такой прекрасный мир, такая красота — белые вершины, зеленые склоны и долины, синие речки, — что все это кажется приспавшимся в счастливый час. А что может сравниться с тем, как на рассвете внезапно возникает Казбек, удивляя и поражая своей высотой и белизной! Суровая красота и мощь Дарьяльского ущелья, где Терек так же буйно несется, как в те дни, когда смотрел на него Лермонтов, заставляет торжественно молчать. Глядя с Мтацминды на Тбилиси, я думаю о том, что счастлив народ, сумевший создать такой город, который красуется на прекрасной земле второе тысячелетие, заставляя влюбляться в себя лучших поэтов и художников. Проспект Ру斯塔вели с его светлоствольными платанами — одна из лучших улиц городов мира.

Счастлив грузинский народ — великий мастер земли, взрастивший не только чудесные сорта винограда, но создавший замечательные города и храмы — общий памятник гению своих мастеров — зодчих, а пеувядающие произведения поэзии — лучшее выражение души, судьбы и характера народа. Грузинская Муза так же прекрасна, как

сама Грузия. Мир, читающий Руставели, Бараташвили и Важа Пшавелу, навсегда признателен грузинской Музе.

В храмах Кахетии я видел фрески, пробитые вражескими стрелами, и мне казалось, что до сих пор из них сочится кровь. В течение веков не было числа врагам этой высокой земли. Грузины, отдавая жизни, не хотели отдать врагам родную землю, ее горы, долины, виноградники, города и храмы — ее красоту. Для них жизнь и свобода были одним понятием. Грузинский народ всегда мужественно отстаивал свое отечество, свою мысль, надежды и поэзию.

За все это я люблю грузинскую историю. Она выковала грузинский характер, который так понятен, близок и дорог мне. В том, что небольшая страна дала миру много великих и выдающихся людей, значительную роль сыграли ее исторические судьбы.

Мне приходилось бывать в Грузии в дни ее радостных праздников и горьких утрат. Грузины одинаково сохраняют достоинство, верны своему национальному характеру в радости и в горе. Я люблю открытость, эмоциональность и возвышенность грузинского характера, которые перешли в искусство и поэзию этого одного из самых эмоциональных народов мира. Потому так пронзительно и обворожительно искусство Грузии. Это страна не только красивых гор, долин и рек, но и красивых людей. Не зря Лермонтов сказал о ней: «Счастливый, пышный край земли!» И не зря его Демон, пролетая над Кавказом и увидев Грузию, был потрясен и покорен впервые после изгнания из рая.

В течение многих лет одной из самых горячих моих привязанностей остается грузинская поэзия. Я люблю ее старых и новых мастеров от Руставели до Леонидзе, от Гурамишвили до Чиковани, от Бараташвили до Маргиани. Она была и остается для меня большой школой, а грузинские мастера моими учителями, наряду с Пушкиным, Лермонтовым и родным Кязимом Мечиевым. Кто любит Кавказ, тот не может не любить грузинскую поэзию, она — одно из самых достойных и ярких выражений Кавказа. Большим благом для меня было общение с выдающимися грузинскими поэтами.

Мне дорог облик новой советской Грузии, мне дороги новые мастера — строители и создатели прекрасной Грузии, моей Грузии. Я пою хвалу Грузии, которая не

нуждается в моих похвалах — столько великих поэтов ее воспевало! Но моя хвала ей — это песня моей души, песня моей любви, зреющая в моем сердце долгие годы. И я присоединяю свое скромное слово, рожденное любовью, к петускпеющим словам, сказанным Грузии многими великими поэтами. Грузия, ты — сердце Кавказа. Много счастливых праздников тебе, Грузия!

2

В горах идет дождь, мокнул снега на склонах Эльбруса, чинары, скалы, дороги, домики под красной черепицей, дворы и огороды. Мир, омытый дождем, первозданно свеж. Мне хорошо и сладостно думать. А думаю я сейчас о поэзии, ее силе воздействия на людей, на их души, ее свежести и первозданной мощи, волшебной неотразимости, образной и эмоциональной красоте. Всеми этими чертами отмечена грузинская поэзия. Она пленила меня еще юншей. Она стала одной из моих бесценных радостей в жизни.

На моем столе лежит в изящных коробках Антология современной грузинской поэзии, подаренная мне Ревазом Маргиани. Я с нежностью раскрываю каждую из этих маленьких разноцветных книжек и с душевным трепетом повторяю одно за другим дорогие моему сердцу имена — Галактион Табидзе, Георгий Леопидзе, Тициан Табидзе, Симон Чиковани... — и вспоминаю многие дни моей жизни, которым уже не повториться, многое из того, что я пережил и испытал. Так много эти выдающиеся грузинские мастера значили в моей жизни и судьбе.

Иные из них осчастливили меня дружеским расположением и добрым отношением ко мне, пристальным вниманием к моей работе, с другими я встречался, а главное — постоянно читал, наслаждаясь и учась у них. Я не оговорился, сказав, что постоянно читал. Есть поэты, к которым относишься с уважением, даже почитаешь, но снимаешь их книги с полки лишь время от времени. К поэтам же, имена которых я называл выше, я отношусь не только с почтением или уважением, но и с горячей любовью, хотя их произведения, к моему глубочайшему огорчению, доступны мне только в переводах. К ним я обращаюсь так же часто, как к Блоку и Есенину. Куда лучше читать переводные стихи больших поэтов, чем посредственность в оригинале. Замечательные поэты Грузии настолько вошли в мою жизнь,

стали своими, необходимыми, что мне кажется невозможным жить без них, как без Чегемских гор, как без деревьев, мокнущих сейчас под дождем в моем дворе.

Я, полюбив грузинскую землю и грузинскую поэзию, стал богаче и счастливей.

Я привык ценить каждое благо, которое отпускает мне жизнь. А грузинская поэзия — одно из тех благ, которыми одарила меня судьба. В ней рдеют розы и сверкают клинки, шуршат колосья и парят орлы, белеют горы и зеленеют платаны, сияют женские глаза и живет мужество храбрых мужчин, мудрый труд крестьянина и трепетная любовь девушки, судьба страны и судьба народа, мрак и свет ее истории. И какими самобытными образами, как эмоционально и трепетно, как ярко и крупно все это выражено поэтами Грузии! В грузинской поэзии могуче и нежно запечатлен облик родной земли, полный нестрасимой красоты и очарования. Как воспета в ней женищина, без которой земля казалась бы пустыней! Как эта лирика светла, пронзительна и высока!

«Витязя в тигровой шкуре» мне посчастливилось прочесть еще юношей. Прийти к выводам, к каким прихожу теперь, разумеется, я в те годы не мог.

О поэме, признанной шедевром мировой эпической поэзии, написано достаточно много. И было бы весьма опрометчивым шагом с моей стороны пытаться растолковать грузинам их гениальное произведение. Однако не могу не отметить одну черту поэмы, особенно запомнившуюся: из известных мне эпических созданий я не знаю ни одного, в котором бы так слились эпическое и лирическое, не знаю такого пронзительного и эмоционального сказания. Это я считаю особенно важным подчеркнуть, памятуя тот неоспоримый для меня факт, что все лучшее в современной грузинской лирике отмечено этими же важнейшими свойствами искусства — эмоциональностью и пронзительностью, чувственностью, вещностью и осязаемостью. Значит, это в характере народа и языка.

Нельзя не плениться горами и морем, зеленью луга и желтизной подсолнуха в поле. То же и с поэзией Никола Бараташвили. Она захватывает полностью при первом же соприкосновении с ней. Как бешено несется Мерани, не признающий никаких преград и барьеров, весь отданный порыву и движению вперед, символ непобедимости жизни, творчества, поэзии, отваги и свободы! Как сокрушительно

глубоки трагические раздумья поэта, ставшего равным крупнейшим лирикам Европы, как гармонически слились в нем национальное и всечеловеческое, без чего, по моему убеждению, великих поэтов не бывает. Поэзия Бараташвили предельно искренняя, пронзительно-глубокая — поучительнейшее явление. Я не мог не думать об этом, ибо мне хотелось научиться лучше понять секреты творчества, шире ознакомиться с крупнейшими явлениями поэзии. Мое обращение к Бараташвили было естественным. Я стал читать и изучать его так же, как Гете, Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Китса, Тютчева, Лорку.

А что касается другого моего любимца — Важа Пшавелы, то он представляется мне то непреступной горой, над которой века проходят, как облака, то титаном. Пшавела особенно дорог мне как великий горец. Вполне естественно, что самыми близкими для меня людьми остаются жители гор; я родился и рос среди них, меня вскормила горянка. Мне близки жизнь, мысли, облик, радости и страдания гениального поэта-горца Важа Пшавелы. Мощь его поэм, похожих на скалы, кажется невероятной. Никто так не воспел человеческое мужество и благородство. Он воспел горы и их детей лучше, сильнее всех поэтов-горцев. Достаточно побывать в селенье Чаргали, посмотреть на дом и очаг поэта, узпаты, как он жил, чтобы навсегда полюбить его. Он пахал, пас скот, ковал железо, жил обычной крестьянской жизнью в горах.

Поэзия действительно похожа на радугу, прекрасна, как она.

Верно сказано, что радуга поэзии сближает и объединяет людей, она служит их братству. Культура всегда служила и продолжает служить этой благородной миссии. Это особенно заметно на примере братского содружества культур всех народов Советского Союза. У нас, как никогда прежде, как нигде, явления поэзии одного народа становятся достоянием других. Это одна из замечательнейших черт нашей жизни. Мой учитель Кязим жил рядом с Важа и не знал даже о его существовании, а для меня грузинская поэзия стала откровением и радостью.

Поэзия Грузии прекрасной семицветной радугой перекинулась через горы, она озарила мою душу и мою жизнь, стала необходимой для меня. Я мог бы подкрепить свои слова многими фактами моей жизни, но приведу лишь один пример. Уезжая на фронт, я взял немного книг. Среди них

был и первый сборник на русском языке Георгия Леонидзе.

Я имел радость пожимать руку Тициану Табидзе, Георгию Леонидзе, Симону Чиковани. Эти руки были из лучших — руки мастеров. Я никогда не забуду их.

Я имел радость общаться, делить хлеб и вино дружбы не только с теми грузинскими поэтами, которых больше не увижу, и читал не только их замечательные произведения. Я знаю также творчество моих друзей — известных мастеров грузинской поэзии — Ираклия Абашидзе, Григола Абашидзе, Карло Каладзе, Алеко Шенгелиа, Реваза Маргиани, Иосифа Понешвили и более молодых — Отара Чиладзе, Мурмана Лебанидзе, Отара Челидзе, Мориса Поцхишвили.

Радугу грузинской поэзии я постоянно вижу над моим домом.

Песнь земной красоте

1

Бальмонт впервые узнал о Шота Руставели в океане. Ему можно позавидовать. Океанская ширь и мощь очень подходят для такого знакомства.

Каждый счастлив по-своему. Я узнал о Руставели юношей в горах. Его Поэма открылась мне в моем родном Чегемском ущелье. Читая это мощное произведение, я как бы беседовал с горами, с самой вечностью. Тогда я не мог знать, какие трудные и трагические дни ждут нас впереди — дни тяжелой народной войны с фашизмом. Я говорю и о себе потому, что каждый лучше других знает себя, и потому, что должен сказать, чем была для меня поэзия Шота Руставели.

Для того чтобы с честью выдержать все выпавшее на нашу долю в годы Отечественной войны и победить, каждый из нас должен был быть подготовленным не только физически, но и нравственно. Наряду с революционными идеями марксизма-ленинизма перед войной и в годы битв с фашизмом у нас на вооружении была вся великая человеческая культура. И тут одно из почетных мест занимал Шота Руставели. Лично для меня было так. До войны я успел войти в его мир, полный красоты, мудрости и человеческой стойкости. Для того чтобы победить злого сильного врага, необходимо было мужество. А «Витязь в тигровой шкуре» — песнь мужеству. В годы неслыханно

тяжелой войны подвиг был нам необходим, как хлеб. Поэма Руставели — это прославление подвига, его неумирающей красоты. Нельзя было победить гитлеровские орды без дружбы — дружбы людей и народов. Поэма Руставели — песнь о братстве. Для нашей победы необходимыми являлись любовь и верность, благородство и преданность. Невозможно победить врага без любви и преданности родной земле, ее истории, языку, хлебу, ее камню и винограду, ее дереву и воде, без любви и преданности к родному очагу, где мать по утрам разжигает огонь, без любви ко всему живому и святому. «Витязь в тигровой шкуре» — песнь любви, преданности, верности и непреклонности. Мир благородства и больших чувств, крупных мыслей и чистых помыслов всегда учит нас достоинству и бесстрашию.

Все эти высокие понятия, без которых нет созидания, нет победы Добра над Злом, воплощены Руставели с чарующей красотой. И мы можем черпать из великой грузинской Поэмы очень многое не только для повседневной нашей жизни, но и для творчества. При ее чтении возникает множество мыслей, не только о жизни, судьбах народов, участи человека, его месте в мире, об отношениях между людьми, между властью и человеком, но и о смысле и назначении поэзии, о том, какой она должна быть, чтобы наилучшим образом служить людям, войти в их быт, стать им опорой и поддержкой. И все это сохранилось почти восемьсот лет! Такое долголетие и величие произведения поражают нас, как горы и море, когда мы их видим впервые. Вот так удивили толстовского Оленипа Кавказские горы, когда они открылись ему в первый раз. Читаешь через восемь столетий Руставели и думаешь: как хорошо, что могут быть такими долговечными создания искусства! Еще и еще раз убеждаешься, что какие бы злые силы ни угрожали земле и людям, какие бы сети ни ставились, все равно конечная победа останется за прекрасным. Пусть в этом убедятся сегодня еще раз враги всего живого и на примере Шота Руставели! Восемьсот лет не молкнет среди живущих живой голос Руставели.

Все прекрасное на свете принадлежит всем, кто заслуживает имени Человека, всем народам. И поэзия Руставели

тоже является сокровищем и гордостью не только одних грузин, но только всех кавказцев, но всех, кому дороги мысль и поэзия, кому дорога сама жизнь. Верно сказал Есенин: большое видится на расстоянии.

Снова я возвращаюсь мыслью к трудным дням, когда Шота Руставели стал для меня опорой и поддержкой. Он протягивал мне руку помощи из невероятной дали веков! Не только трава под ногами, но и облака надо мной были в крови. Или жесточайшие бои. И я в те дни не раз повторял могучие и мудрые слова: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор!»

Этот стих наполнял меня силой, как воздух родных нагорий, поддерживал и воодушевлял. Его я приводил и в письме к матери, чтобы поддержать ее.

Я считал большим благом для себя, что знаю эти стихи. «Витязь в тигровой шкуре» — песнь мужеству, человеческой дружбе, верности и мудрости. Но эта поэма также песнь справедливости и милосердию. Это необходимо особо подчеркнуть. Руставели знал: не будь на свете справедливости и милосердия, дерево жизни было бы срублено. Но он также понимал, что это не под силу врагам жизни. Недаром Авташвили в своем завещании так горячо призывает царя Ростевана к справедливости.

Нам апостолы писали, что любовь живет сердца,
Расточали ей так щедро восхваленья без конца,
По возвышенный их голос — как бречанье бубенца,
Если ты не разумеешь вечной правды мудреца.

Светом вечной правды, любовью ко всему прекрасному пронизана Поэма. Она завораживает стройной красотой. Прекрасны слова, которыми Руставели срамит ложь: «Ложь сначала смертной плоти, а потом душе вредна». И дальше: «Ложь — начало всех несчастий, к другу я ищу возврата»...

Хочется коснуться еще одной очень близкой мне стороны «Витязя в тигровой шкуре». Драматизма прославленной поэмы. Мне ближе поэзия драматичная, искусство трагическое. В поэме воедино слились моц эпоса и драматичный лиризм, мудрость мыслителя и боль влюбленного человека, в ней одинаково почетное место отведено уму и сердцу. Лиричны, драматичны и эти стихи из Вступления:

Дай мне пыл Миджпура, чтобы он меня до смерти жег,
Облегчи грехи, что к небу мы уносим в твой чертог!

Или:

Воспоем Тамар-царицу, слезы с кровью проливая!

Должен признаться, что ни в одной эпической поэме, из всех мне известных, я не встречал такого пронзительного лиризма.

3

Поэма Руставели дорога мне как великая книга жизни, книга разума и мудрости, книга любви и света.

Хочу привести один факт, свидетелем которого был. Факт, говорящий о громадной популярности поэмы Руставели у разных народов. Мне приходилось бывать в горах Тянь-Шаня. Там во многих аулах я встречал мальчиков и девочек, носящих имена героев знаменитой грузинской поэмы. Она стала для киргизов настолько своей, что табунщики и чабаны называют своих детей Тариэлами, Автандами, Настанамц, Тинатинами. Такая честь не часто выпадает на долю чужезычного произведения. С глубоким уважением хочу вспомнить имя замечательного и рано умершего поэта Алыкула Осмонова, который так прекрасно перевел на киргизский язык поэму Руставели. Когда же я был в Монголии, зная, что я кавказец, мне подарили иллюстрированное издание «Витязя в тигровой шкуре» на монгольском языке.

Всемирная слава Шота Руставели — это честь всего Кавказа. И мы, нынешние работники кавказских литератур, должны стараться быть достойными своих великих предшественников. Поэма Руставели обращена к разуму и свету. В этом одна из причин ее долговечности. Она — песнь земной красоте, безмерной и бессмертной.

4

Как я уже старался подчеркнуть, всякий, кто хочет понять до конца великую поэму Руставели, неизбежно будет думать о той силе, которая дает ей возможность оставаться не литературным памятником, а живым произведением, и через восемь веков вызывающим восторг и слезы. В чем же секрет? Вот что нам, нынешним стихотворцам, прежде всего необходимо постичь. А как это нелегко сделать! Меня сразу обезоруживает Руставели, как бы ударив

по рукам львиной лапой. И я долго стою, онемев перед ним. Но все же я хочу понять эту гору, постичь, в чем ее мощь и красота, сила ее вечности.

Стараясь понять суть бессмертия поэзии Руставели, прежде всего хочется сказать, что мы имеем дело с гением. А гений всегда верен жизни. У него необыкновенное чутье. Поэтому он не знает фальши и лжи. Таким был Бетховен. Гениальность и верность жизни кажутся синонимами. Они два склона одной горы. Руставели был берег человеческой душе, ее глубочайшим переживаниям и движениям, ее потрясениям, любви, боли и радости и выразил их с необыкновенной силой. У меня, например, вызывает слезы обращение Автандила к звездам. Внешний мир бесконечно меняется. А радость человека остается радостью, боль — болью, смерть — смертью, жизнь — жизнью.

Шота Руставели был пленен красотой человеческого труда, правды, справедливости, красотой женщины, подвига, дружбы, верности и преданности. А это та сила, выше которой человек не знал и не знает. Это те категории, которые будут жить всегда, ибо без них нет жизни. Долговечность «Витязя в тигровой шкуре» дарована ему громадностью его содержания, без чего никакая виртуозность и чеканность стиха не могли бы быть спасением. Сколько чеканных стихов умерло за восемь веков во всем мире!

Пример Шота Руставели — серьезный урок для современных поэтов. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что главным для стихов остается их содержательность. Самые изощренные рифмы и ритмические ходы никогда не заменят силу живой жизни, значительность идей, вложенных в произведение. В этом нас убеждает история поэзии всех времен и народов. И поэма Руставели остается одним из убедительнейших примеров и образцов.

Подлинные создания поэзии рождаются только гуманизмом, служат его идеям. Без любви к жизни и человеку, без большой радости и боли за человека не может быть крупных произведений поэзии и вообще искусства. Так обстоит дело начиная с мифа о Прометее и кончая лирикой и трагедиями Гарсна Лорки. Неувядающую силу поэмы Руставели я вижу в том, что она вся пронизана светом гуманизма. Недаром Автандил призывает царя Ростевана к справедливости. В какую бы эпоху поэт ни

жил, он остается и останется врагом злобы, жестокости и смерти.

Творчество есть плененность художника жизнью, ибо за гранью жизни, дальше ее и больше ее нет ничего. Современный поэт это должен понимать особенно хорошо и чувствовать глубоко, потому что он живет в сложнейшую эпоху, когда оружие истребления достигло невиданной мощи, неслыханно усилился трагизм человеческого существования, тревога за все живое и прекрасное на свете, за лучшие создания культуры, являющиеся гордостью всего человечества. Умалчивать это невозможно, больше того — вредно и опасно. Художнику нельзя притворяться так же, как голодному утверждать, что он сыт. Это гибельно. Его сила в полной откровенности. Это и отличает его от многих.

Полная гармония — удел гениальных и редкостных созданий искусства. Такую гармонию мы находим в «Битязе в тигровой шкуре». Шота Руставели сам говорит, что прежде всего нужно поэту для создания подлинного произведения поэзии: «Мастерство, язык и чувство мне нужны в моем творенье».

Никакое холодное мастерство не выручит без глубины и подлинности чувств, без постижения силы и красоты родного языка: «Я, Руставели, спел стихами, сердцем раненым с ним дружен».

Это сказано о Тариеле. Отсюда вывод: поэт не может быть не ранен, если ранен его герой, если ранена его любовь, если ранена сама жизнь — высшее благо для человека.

Я осмеливаюсь утверждать: одно только эпическое величие не могло бы сделать поэму Руставели такой, чтобы она и через восемь веков оставалась для нас живым и трепетным произведением, вызывающим не только уважение, но восхищение и удивление. В ней есть все — эпос, лирика, трагедия, то есть — жизнь, человеческое сердце, борющееся и страдающее; в ней есть боль поражения и радость победы. Будь в ней только одно эпическое величие, тогда создание грузинского поэта уже давно стало бы лишь уважаемым специалистами литературным памятником.

Пусть сам Руставели подтвердит мои догадки. У него сказано: «Вновь миджпуром стало сердце — не спастись в полях глухих».

Думается, что неотразимая сила поэзии заключена в ее пронзительности. Вот что об этом говорит Шота Руставели:

Есть другие стихотворцы: куций стих — вот их отличие.
Грудь пронзить нам совершенством не позволит их обычай.

И еще:

Но поэт лишь тот, кто пишет в неизбывном вдохновенье.

Писать с вдохновеньем, с пронзённым сердцем и пропалать сердца — вот первая задача поэта. Поэзия должна пленять, завоевывать человеческие души. Именно этой силой жива и будет жить еще долго после нас великая грузинская Поэма. Не знаю, как для кого, а для меня мысли Руставели о поэзии в его знаменитом Вступлении к Поэме неоспоримы, свежи, словно написаны поэтом сегодня.

Мы, нынешние стихотворцы, изучая поэму Руставели, можем сделать очень много полезных для себя выводов. Главными из них считаю: основное для стихов — содержательность. Поэт всегда должен оставаться верным правде жизни, ее вечно живой красоте. Он должен уметь слить воедино мысль и эмоцию, краски мира, которыми живет поэзия. Ему одинаково близки радость и боль человеческого сердца. Он обязан знать, что человек не может жить ни в одну эпоху без мужества и мудрости, как без хлеба и воды, как без труда и любви. Настоящий художник всегда стремится к бесстрашию и справедливости. Его дело не менее трудное, чем дело героя. Творчество всегда открытие, всегда подвиг. Заинтересованность в счастье людей никогда не покинет подлинного поэта. Во имя этого он и работает. Новизна в творчестве так же необходима, как появление листвы каждой весной. Но новаторство перасторжимо связано с подлинностью и естественностью. Большая радость и большая боль — главные силы искусства. Прекрасно только естественное, как зеленое дерево и спелый колос. Сказанное здесь не имеет ничего общего с мертвыми догмами, являющимися отрицанием поиска, а значит, — и творчества. Догмы — враг поэзии. Она не терпит фальши и лжи. Сошлемся и тут на авторитет Шота Руставели. Он говорит: «Ложь — начало всех несчастий».

Все, кому доводилось побывать в Грузии, знают, как она прекрасна, о красоте ее паслышаны и те, которые не видали ее, никогда не смотрели на долины Кахетии, на горы Сванетии и Хевсуретии, на Казбек и Мтацминду, на Куру и Арагви, не проходили по проспекту Руставели, когда в Тбилиси зеленеют или желтеют благородные платаны. На этой красивой земле грузины веками возводили города самобытной архитектуры, строили храмы, возделывали поля, растили виноград и создавали замечательные образцы поэзии.

В течение столетий на Грузию шли жадные захватчики, разоряя ее, грабя, сжигая города, села, виноградники. Пахарям и пастухам слишком часто приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свои очаги и своих детей, виноградарю и каменотесу одновременно надо было быть и воинами. Один из таких драматических периодов истории родной страны и закрепил в своей поэме «Судьба Грузии» Николоз Бараташвили. В ней царь Ираклий Второй в тяжкий для измученной и разграбленной родины час решает отдать ее под покровительство России с целью ее избавления и спасения.

На такой земле родился в 1817 году в городе Тбилиси Николоз Бараташвили — величайший из грузинских лириков. Подумать только — поэт такого дарования не увидел напечатанной ни одной своей строки! Его стихи были обнаружены через много лет после смерти автора. Это говорит о том, какими пелегкими путями шла грузинская культура, как кремнисты были дороги ее литературы.

Николоз Бараташвили происходил из княжеской семьи, во его отец, промотав состояние, обеднел. Ко времени окончания Николозом гимназии семья уже не имела достатка. А потому, должно быть, он не смог позволить себе поехать в Россию, продолжить учебу в университете, о чем мечтал, и был вынужден поступить на службу, чтобы поддерживать семью.

На долю поэта выпала чиновничья служба, неинтересная и тягостная.

Эти нерадостные обстоятельства, драматизм грузинской истории и непримиримая современная действительность, по-

родили мотивы одиночества и скорби в поэзии Бараташвили, сделали его трагическим поэтом. Поэзия — эхо жизни, в созданиях же лирика — его собственная душа, ликующая или рыдающая. Чем она откровеннее и обнаженнее, тем больше покоряет и пленяет поэт. В данном случае необходимо еще учесть и несчастливую любовь Бараташвили к княжне Екатерине Чавчавадзе, сестре жены Грибоедова, Нины. Блистательная княжна Екатерина Чавчавадзе предпочла одного из менгрельских владетельных князей Дадияни. Судьба на всю жизнь нанесла поэту тяжелую рану. Многие его стихи порождены этой болью и произаны ею.

Но нельзя согласиться с мнением, что главной чертой поэзии Бараташвили является пессимизм, если это понимать как отрицание жизни и ее смысла. При всем трагизме, которым проникнута его лирика, в ней так ярки образы жизни, такая привязанность ко всему живому, такая жажда деятельности.

Чехова, например, злило, когда видели в нем пессимиста, называли его певцом сумерек и печали. Его тошнило от подобных слов газетных писак, не понимавших ни жизни, ни назначения искусства, глупо и праздно мудрствовавших о творчестве.

Стихотворение «Соловей и роза» открывает книжку Бараташвили. Вот его заключительная строфа:

Я желал совсем темного, не сбылось мое желанье —
Я хотел расцвета розы, а увидел увяданье.

Боль за увядшую розу, горькое сожаление о гибели ее, страстное желание видеть ее живой и цветущей — это благословление жизни, а не смерти. Как можно такого поэта называть пессимистом? Не могу поверить, чтобы истинный художник отрицал жизнь, во имя которой сам работает. Когда горька жизнь, и поэзия бывает горькой, потому что она верна ей — своей матери. Каждый поэт хорошо понимает, что нет ничего драгоценнее жизни, и хочет видеть ее прекрасной, а землю, нашу милую землю — цветущей. Всякие разговоры о пессимизме, когда речь идет о больших художниках, — выдуманные горе-теоретиками слова.

О том же говорит нам и стихотворение Бараташвили о Мераби — Пегасе грузинской поэзии: гениальное выражение вечного движения жизни вперед, жажды творчества и обновления, героического порыва крупной личности,

сознающей, что труды и страдания того, кто во мраке почти прошел вперед, прокладывая трудную дорогу, не пропадут даром, ибо вслед за ним пройдут другие, продолжая его путь и его деяния. Это и дает бессмертие человеческой семье, творчеству и жизни. В таком отношении к бытию мы видим мудрость и гуманизм. Это стихотворение — героический порыв, сквозь века и сквозь все бури летящий вперед на крылатом копье вольный дух человека. В нем я ощущаю бетховенскую мощь и героизм. Оно озарено светом сердца гения, который смело спорит с беспощадным временем и смертью. Так я воспринимаю шедевр Бараташвили и считаю его одним из поразительнейших созданий мировой поэзии:

Не бесплодно стремленье души, обреченной в борьбе, —
Путь, пробитый тобой, не исчезнет бесследно, как дым.

Или:

Нет предела движенью. Мерапи, резвей!
Ветром бешеным мрак моих мыслей развеи!

А автора этих строк не раз называли пессимистом! Какой парадокс!

Одним из самых потрясающих и горчайших созданий Бараташвили кажется мне стихотворение о синем цветке:

Вместо слез родных — на прах
На моих похоронах
Небо синей полосой
Опрокинется росой.

Это стихи о смерти. Но поэзия — такое явление, такое чудо, что даже когда она говорит о смерти, все равно благословляет жизнь. Для нее нет ничего горестнее небытия. Это мы видим и в стихах о синем цветке. Как они ни горьки, все равно в них торжествует не смерть, а жизнь. Ведь со смертью героя не приходит конец жизни. Наоборот, герой погибает во имя ее торжества. Художник всегда на стороне жизни:

Жизнь, сгоревшую дотла,
Жертвенная скроет мгла,
И оставит легкий след
В синем небе синий цвет.

Герой уйдет в небытие, но останутся зеленая земля и синее небо — останется жизнь. Поэты знают это, и только потому они, подобно Бетховену, высекают долговечные строфы даже из собственных страданий.

Николоз Бараташвили из числа тех гениальных юношей девятнадцатого века, каждый из которых прошел, как молния, ярчайшим светом сердца осветив страницы мировой поэзии. Бараташвили брат Лермонтову, Шелли, Китсу, Петефи.

Около сорока стихотворений и одна небольшая поэма — вот все его наследие. И несмотря на это, он стал величайшим лириком своей родины и вошел в семью мировых поэтов. Его пример убеждает нас, что значение художника определяется вовсе не количеством произведений. Как тут не вспомнить справедливые и прозорливые слова Фета о томике Тютчева:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Гениальность Бараташвили отмечали уже его великие соотечественники — духовные вожди грузинского народа, классики родной литературы — Акакий Церетели и Илья Чавчавадзе. Борис Пастернак, блестяще переводивший Бараташвили, писал о нем: «Может быть, тот вид, в котором лежат его стихи перед нами, не представляет их окончательной редакции и автор предполагал еще подвергнуть их дальнейшему отбору в шлифовке. Однако след гения, оставшийся в них, так велик, что именно гениальность, проникающая их, придает им последнее совершенство, более, может быть, значительное, чем если бы автор имел больше времени позаботиться об их внешности».

Поэту, конечно, необходимо кропотливо работать над своими вещами, но никакая отделка не может заменить первородной силы таланта. Прекрасно мастерство. Им, разумеется, надо овладевать. Но оно мертво без обаяния и размаха таланта, без его волшебства. Только талант способен вдохнуть в произведение жизнь.

В 1845 году Николоз Бараташвили приехал в город Гянджа (ныне Кировобад, Азербайджанской ССР) на службу в должности помощника уездного начальника. Там он заболел и умер осенью того же года, на двадцать восьмом году от роду.

Рано умерший поэт стал славой и гордостью грузинской поэзии. Его стихи переведены на многие языки наро-

дов нашей страны, а также Запада и Востока. Судьба, подарив ему слишком короткую жизнь, уготовила бессмертие его поэзии.

2

Судьба Грузии стала судьбой Бараташвили. Потому он и смог стать великим национальным поэтом. Такие художники, как он, бросают свои сердца под копыта неудержимо мчащихся коней времени. Эта душевная открытость, эти самоотверженность и бесстрашие делают их крылатыми, дают им право на бессмертие.

Я говорю о своей любви к Грузии, к ее культуре, к ее поэзии, завовавшей всех своей высокой мощью и эмоциональностью. Народ, живущий на такой поэтичной земле, народ, история которого полна драматизма, такой мужественный, эмоциональный, душевно открытый народ не мог не иметь достойных его поэтов. Поэтому вполне естественно появление в Грузии поэтов мировой мощи — Руставели, Бараташвили, Пшавелы, а также прекрасной плеяды современников — продолжателей их дела.

Автор знаменитого «Мерани», Николоз Бараташвили стал символом крылатости, стремительности родной поэзии, всегда обращенной к будущему. В этом редкостном стихотворении целиком выражен поэт:

Мчится, летит без дорог и тропинок мой Мерани,
Вслед мне каркает злоокий, черный ворон.

И, рассекая мрак этих строк, звучит широкий стремительно мужественный стих:

Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела...

Этим стихом автор утверждал беспредельность жизни и творчества, бессмертие народа и его культуры. Бараташвили своим необъяснимо прекрасным стихотворением еще раз доказал, что трагическое в искусстве не есть пессимизм, не есть отрицание жизни. В трагедии всегда идет смертельная борьба лучшего с худшим. А где борьба — там не может быть равнодушия к жизни.

Перечитывая стихотворение Бараташвили о сином цветке, каждый раз я убеждаюсь в том, что оно принадлежит к самым лучшим созданиям мировой лирики. Восхититель-

пы строфы, в которых выражена любовь к вечным краскам мира, к женщине, в которых звучит и трагизм, неотвратимость конца:

Он прекрасен без прикрас.
 Это цвет любимых глаз,
 Это взгляд бездонный твой,
 Напоепный синевой.

Это цвет моей мечты.
 Это краска высоты.
 В этот голубой раствор
 Погружен земной простор.

Это легкий переход
 В неизвестность от забот
 И от плачущих родных
 На похоронах моих.

Это синий, негустой
 Иней над моей плитой.
 Это сизый, зимний дым
 Мглы над именем моим.

Об этих стихах ничего не возможно сказать. Прочитав их, мы молчим, потрясенные.

Наследство Бараташвили — маленький томик, менее чем сто страниц небольшого формата — одно из веских доказательств того, что не количество строк дает поэту право на любовь современников и память потомства.

1967—1971

Обнаженное сердце

Имя замечательного поэта века Тициана Табидзе каждый раз я произношу, как одно из самых дорогих и близких для меня имен. Только открытость сердца, мощное вдохновение и неподдельный темперамент могли продиктовать такие пронзительные строки:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
 Меня, и жизни ход сопровождает их.
 Что стих? Обвал снегов. Дохнет —

и с места сдышит,
 И заживо схоронит. Вот что стих.

Непосредственность и прямота, плененность земной красотой, то есть самой жизнью — эти черты присущи Тициану Табидзе. Недаром поэт утверждал, что он «мучим

красой грузинской речи, грузинским днем». Есть поэты, которые творят с таким волнением и вдохновением, так эмоционально, что, когда их читаешь, захватывает дух, будто идешь над пропастью. И ты заморожен ими и навсегда остаешься в их власти. Тициан Табидзе из их числа. В своей повседневной жизни я часто возвращаюсь к его поэзии, и каждый раз приводят меня в трепет его шедевры «Не я пишу стихи...», «Иду со стороны черкесской...», «Ликование», «Если ты — брат мне...».

Прислушаемся к голосу самого поэта, попытаемся проникнуться той привязанностью к жизни, откровенностью, взволнованностью и нежностью этих строк:

Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу.

Из поэтов-современников, может быть, только у одного Сергея Есенина была такая обнаженность сердца, Тициан Табидзе писал:

Поэзия и под чадрой бывает
Такой, что невозможно не влюбиться.

И в его собственную поэзию невозможно не влюбиться — так она полна высокого вдохновения, силы и обаяния. Великое свойство поэзии — искренность — присуще стихам Табидзе, что «и содрогнешься, стихом пронзенный». Он был рожден для творчества, он — поэт во всем — горел такой любовью к своей Грузии, к высокому имени Кавказа, ко всему подлинному на свете, что мы ощущаем это всей кровью.

Мне повезло. Начинаящим литератором несколько раз видел я Тициана Табидзе, говорил с ним. Он — одно из ярчайших впечатлений, оставшихся у меня от встреч с крупными поэтами. А среди них были Пастернак, Ахматова, Твардовский, Леопидзе, Чиковани, Неруда, Альберти, Фаиз Ахмад Фаиз. Весь его облик как бы высечен из цельного гранита горной породы. Собеседник сразу же чувствовал, что он имеет дело с крупным человеком. Я же смотрел на Тициана, как на Казбек. Помню и красную гвоздику на его груди, о которой теперь упоминают часто. Думается, что образ грузинского поэта, вся его сущность неповторимо верно переданы Пастернаком в его стихотворении о Табидзе.

Выводя эти строки, я как бы слышу неподдельный, трагический голос, обращенный к бессмертной Родине, к земной красоте, не знающей оскудения:

Меня убили за Арагвой,
Ты в этой смерти неповинна.

И, став перед хребтом лицом к его самой большой любви — к Грузии, «со стороны черкесской», отвечаю своему дорогому собрату:

— Я слышу тебя! Ты всегда с живыми. Поэзия не умирает.

Он писал:

Замолвят без меня они в мою защиту,
И будет то поэт — так подтвердит поэт.

Сегодня — в день его светлой памяти — мы подтверждаем, что Тициан Табидзе был и остается одним из лучших советских поэтов, любимых в любом краю, что он был честнейшим и чистейшим сыном Грузии, всего Кавказа и всей нашей великой Родины. Я слышу его полный драматизма и любви к жизни голос:

Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.

Поэзия Тициана Табидзе не расстается с жизнью, рожденная любовью к ней, остается с людьми.

1968

Песня зеленого дерева

Грузия! Зелень долин, снега, вершин, синева моря, темные силуэты древних храмов, крепостей, скал. Вечное безмолвие камня и немолчный звон ручьев. Труд крестьянина и подвиг воина. Мудрая мысль ученого и неуемная фантазия художника. Грузия! Как она прекрасна в своих контрастах, как неповторим ее облик! В этот край влюблялись все большие и малые поэты — от Пушкина и Лермонтова до Михаила Луконина и меня. Увидев однажды, пикто не может забыть ее, как не забывают лицо, глаза, руки и голос матери, как не забывают мир своего детства — его свет и легкость, краски его рассветов, цвет его высокого неба, его пестрые счастливые сповидания. Потому-то облик Грузии навсегда вошел и в великую русскую поэзию.

Как хорошо было глазам знаменитых поэтов России смотреть на синее грузинское небо, на долины Кахетии и на Арагви, на платаны и балконы в Тбилиси. Как точны и обворожительны, подобные счастливому вздоху, пушкинские строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.

А вот что увидел лермонтовский Демон:

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!

Грузинская поэзия — явление мировое. Руставелиевой поэмой «Витязь в тигровой шкуре» мир восхищается и сегодня — через восемьсот лет после ее создания. Шота Руставели становится современником все новых и новых поколений.

Хочу еще раз напомнить и о знаменитом поэте-романтике Николозе Бараташвили, жившем в первой половине девятнадцатого столетия.

Назовем еще двух властителей дум грузинского народа, его духовных вождей, поэтов-классиков Илью Чавчавадзе и Акакия Церетели. А такой гигант, суровый горец, поэт земли и мужества, как Важа Пшавела?! Он высится в поэзии, подобно Большой горе, самобытный и могучий, похожий только на самого себя.

В наше время Грузия также выдвинула целое созвездие выдающихся поэтов. Кому из тех, кто читает стихи, не дороги многоцветные создания Галактиона Табидзе, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе?

Их младший собрат — одна из ярчайших звезд этого ослепительного созвездия, проникновенный, тонкий художник, мудрый мастер, один из любимых моих поэтов века — Симон Чиковани. Он родился в 1903 году в Западной Грузии, на берегу реки Риопи, учился в сельской школе и Кутаисском реальном училище, а затем завершал свое образование на филологическом факультете Тбилисского университета. Первая книга его стихов «Раздумья на берегу Куры» вышла в 1926 году.

Симон Чиковани писал в автобиографии: «Отец был инвалидом с молодых лет. Владел несколькими ремеслами.

Он любил поэзию, читал наизусть целые страницы из Руставели, был горячим поклонником Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Матери я не помню — она умерла на третий или четвертый день после моего рождения». Отец поэта умер в 1918 году, и Симону Чиковани пришлось очень рано начать самостоятельную жизнь. О начальной поре творчества Симон Иванович сообщал: «Печататься стал с 1924 года. В это время под влиянием русского футуризма образовалась литературная группа «Левизна». Группа объединяла моих кутанских и тбилисских друзей-литераторов и художников. Я был воспитан на классической грузинской и русской поэзии. Из русских поэтов, кроме Пушкина и Лермонтова, особенно любил Тютчева, поэтому переход на позиции футуризма означал для меня большую ломку привычных взглядов и вкусов. Как и следовало ожидать, после нескольких лет своеобразной работы над словом я и большинство моих друзей отошли от «Левизны». Это произошло еще и потому, что современная жизнь стала для меня главной темой творчества. К этому переходному (к реализму) периоду моей работы относятся такие мои стихи, как «Вечер застает в Хахматп», «Комсомол в Ушгуле», «Мевгрельские вечера» и другие».

Для художника первостепенное значение имеет сила таланта, чутье и верность изображения жизни, а не принадлежность к той или иной школе. Это подтверждается и творчеством Симона Чиковани, который еще до Отечественной войны стал одним из признанных мастеров советской поэзии. Среди поэтов Кавказа он отличался высокой культурой, острым и глубоким чувством истории родной земли. Удивительны и до осязаемости точны его стихи о грузинских мастерах-зодчих, художниках, поэтах. Будучи сам блистательным мастером, Симон Чиковани горячо любил творческую мощь и фантазию мастеров прошлого, прославляя красоту и силу их работы, постигал трагедию их судьбы. Прочтите такие стихи поэта, как «Рожденный из крепостной стены», «Вардзийский зодчий», «Мастера-переписчики «Вепхис ткаосани», «Николозу Бараташвили» и многие другие.

Писать так проникновенно, с такой радостью и болью о мастерах родной земли может только очень большой поэт, выше всего ставящий величие народа и хорошо понимающий драматизм хода истории, художник-патриот.

Самозабвенно, с горячей любовью воспел Симон Чиковани грузинскую землю, ее колосья и скалы, ее камень и дерево, небо и реки, траву и виноград, дождь и снег, рассвет над знаменитой горой Мтацминдой, на склоне которой он лежит в пантеоне с весны 1966 года, и тбилисские ночи с их лунным светом на балконах, и рыбака, пришедшего с Куры на заре со свежим уловом. А как он разговаривал с мощью гор Сванетии и с задумчивыми облаками над ними! Как подлинный живописец с большой щедростью и завидной свободой он сумел ввести в свою многогранную и многоцветную поэзию краски родной земли, ее бессмертный облик. Мало кто из нас, современников, мог соперничать с ним в живописности образов:

Уже полсолнца в море. Так олень,
Бросаясь в лагерь, по грудь уходит в море.

(«Менгрельские вечера»)

Или:

И листья ветру сыплются в ладони
И крыльями павлиньими цветут.

(Таймураз обозревает осень в Казети)

При всей эмоциональности натуры Симон Чиковани был мудр, при остром чувстве драматизма бытия и истории и несмотря на тяготы, выпадавшие на его долю, особенно в последние годы его прекрасной и вдохновенной жизни, он до конца оставался жизнелюбом, для которого были дороги и бессмертны краски земли, и непобедимая сила творчества. Мужественный человек и гражданин, Чиковани достойно встретил суровый час войны с фашизмом, час битвы за свободу Родины. Он писал тогда:

Мы ныне станем твердо, как скала,
И «гамарджаба» на мечях напишем.

У Чиковани есть вещи, которые я знаю наизусть много лет. Повторять их для меня так же естественно, как видеть рассвет и зеленые деревья.

Одной из замечательных черт его художнической манеры является соседство в его стихах самого простого и самого высокого, умение видеть наряду со сложными явлениями прозаические черты жизни. Образцом из такого рода вещей мне представляется стихотворение «У камина Важа Пшавела». Вчитайтесь в эти слова:

Сушилась развешанная одежда,
Шипя, закипала вода в котелке.

Точные бытовые приметы, и вдруг воображение художника взлетает ввысь:

И были на музыку горы похожи,
Безмолвные после дождя, вдалеке.

Контрастная, верная действительности, живописная, трепетно-эмоциональная поэзия Симона Чиковани прекрасна. Она — одно из лучших достижений многоязычной советской поэзии. Знаменитый грузинский мастер стоит в одном ряду с лучшими поэтами нашего времени.

Любой большой художник благожелателен ко всем народам, к их культуре. Симон Чиковани, самозабвенно любя родную прекрасную Грузию, оставался истинным интернационалистом. В этом мы легко убедимся, прочитав его стихи обращенные к русским и украинским друзьям, его поэму «Песнь о Давиде Гурамишвили» и циклы стихов об Армении, о Польше, о земле Гете.

Я хорошо запомнил его облик — топкое лицо и руки, внимательные, с легким прищуром глаза, большой лоб мыслителя, утомленного обширностью интересов и работы. Я запомнил его то внимательно-задумчивым в беседе, умеющим терпеливо и чутко слушать собеседника, то порывисто-нетерпеливым, но всегда великодушным и широким. Он был рыцарски предан жизни, поэзии, культуре, дружбе. Симон Чиковани любил содружество поэтов разных народов, братский союз муз.

Несчастен тот, кто не имеет друзей. У Симона Ивановича было много верных друзей от Варшавы и до ущелий Кавказа, от Берлина до Кисва, от Ленинграда до Еревана. Не случайно русский поэт Михаил Дудин посвятил душевные строки памяти своего грузинского собрата. Среди друзей Симона Чиковани были Пастернак, Тихонов, Заболоцкий, Исаакян, Бажан. Он до конца свято берег эту дружбу.

Проведенные с ним часы были для меня счастливыми и незаменимыми. Общение с большим человеком — всегда счастье. Он был моим учителем, внимательным, чутким и правдивым.

Я помню его, глядящего на оцепленные краски Кахетии, на развалины древнего города Вардзия, на скалы Дарьяльского ущелья и на снега Казбека, помню его тамадой за дру-

жеским столом. Всюду он оставался поэтом — и в тени платанов Тбилиси, которые он так прекрасно воспел, и на улицах зимней Москвы.

Само звучание его фамилии — прекрасно и выразительно — Чиковани! Будто создано для того, чтобы вырезать его на меди или на граните.

Я люблю его смелые метафоричные образы и сравнения:

Но ты — ты слышишь песнь мою, похожую
На ржанье одинокого копы?!

Своим легким взлетом приводит меня в восторг его строка: «Задуманное поведай облакам!» Его поэзия обращена к душе народа, к созревающему колосу и цветущему дереву, в ней живут мастера, труд которых вечен, она обращена к свету и добру, она вобрала в себя краски и цвета земли и закрепила их самобытно и неповторимо. Его творчество — песня зеленого дерева. В стихотворении «Гнездо ласточки», полном веселого света и любви ко всему живому, Симон Чиковани писал:

Я у слова расстегну рубаху
И птенца согрею на груди.

Таким и остался навсегда в своей трепетно-живой поэзии один из ярчайших и крупнейших советских поэтов, благородный и самобытный художник, человек-гражданин Симон Чиковани.

1968

Чудесный кахетинец

Мне посчастливилось видеть очень ярких и талантливых людей, общаться с ними. Одним из ярчайших среди них был Георгий Леонидзе. Рослый и живописный, он радовал нас одной своей внешностью, не говоря уже о его редком даровании, о его великодушии, широте, щедрости и общительности. Глядя на его большие руки, я каждый раз думал, что такими бывают руки пахаря, дровосека или каменотеса. А Георгий Николаевич был одним из образованнейших поэтов не только Кавказа. Он был знатоком литературы, искусства и истории. Леонидзе — большой жизнелюб, сильно привязанный к жизни, бурно радовавшийся всему прекрасному, всем краскам земли, один из

крупнейших певцов советской действительности и грузинской истории. А это ведь особый талант, не каждый даже крупный художник чувствует историю так осязаемо, как это было присуще Георгию Леонидзе. Именно на этой стороне поэзии знаменитого кахетинца мне и хочется остановиться.

Не столько ради подтверждения сказанного, сколько для удовольствия, хочу повторить стихотворение «После чтения «Картлис-Цховреба» (свод летописей Грузии), написанное поэтом в молодости:

До рассвета «Картлис-Цховреба»
Перечитывал полпый печали.
О, мой город, как рвали свирепо
Грудь твою и людей истерзали.

Устоял ли ты в бурю такую,
Или нет тебя больше на свете?
Я из комнаты воп — и ликую,
Увидав тебя в новом расцвете.

Запах хлеба вдыхаю сквозь слезы,
Слышу песен твоих переливы...
Слава вам, табакхельские розы,
И тому, для кого расцвели вы!

Он зорко видел связь прошлого с настоящим и замечательно умел это выразить языком поэзии. По моим наблюдениям, ликование являлось одной из характерных черт Леонидзе. Праздничное восприятие и ощущение бытия, благодарность жизни за земную красоту, ничем не заменимую для человека, не покидали его до конца дней. Он был далек от всего легковесного, поверхностного, от ложного оптимизма и пустого бодрчества. Оставаясь могучим кахетинцем, влюбленным во все земное, порой он поднимался до высот трагедии, был верен подлинной жизни, прозорливо видел в ней и светлое и темное.

О праздничной, ликующей, корневой силе поэзии Леонидзе говорит и его превосходное, давно ставшее знаменитым стихотворение «Поэту» — серьезное и глубокое по философии:

Мы прекраснейшим только то зовем,
Что созревшей силой отмечено,
Виноград степной, иль река весной,
Или пив налив, или жемчужина.

Все, что дышит сейчас на путях земли,
Все, что жизни живой присуще:

Облаков ли мыс, человек и лист
Ждут улыбки стихов цветущей.

И в стихи твои просится рев, грозя,
Десять тысяч рек в ожидании.
Стих и юность — их разделить нельзя —
Их одним чекапом чеканили.

Для того чтобы подчеркнуть, каким драматичным и трагичным бывал порой стих Леонидзе, при всем его подлинном оптимизме, орлином клетотании, сошлемся на строфы из «Мухранской баллады», написанной, как утверждал автор, по мотивам грузинского фольклора:

Встретил я раз печенега,
В тихой долине Мухрани,
Дал ему белого хлеба,
Дал ему мясо фазанье.

В кубок налил ему сула
Крови густой виноградной.
Выпил, — и смотрит он тускло
В очи жены ненаглядной.

Жепщина плачет. Бледнея,
Сжав рукоятку франгули,
Встал я тогда перед нею,
Оба мечами взмахнули.

Неистребимая злоба
Наземь обоих кладет.
Вот умираем мы оба.
Женщина с третьим уйдет.

Мне понятно, что цитировать много — не самый лучший прием, когда мы пишем о поэте. А все же хорошо, если сами стихи подтверждают сказанное о нем. Для подкрепления моего утверждения, что Георгий Леонидзе редкостно и осязаемо воспринимал историю и умел ярко передать в стихах свои ощущения, приведу несколько строк из стихотворения «Тринадцатый век»:

Гуляет погоня ли
По степи голой?
Ошпарены кони
Нагайкой монгола.

Подобны прожорливой
Тьме саранчи.

От клетота орлего
Черпо, как в почи.

Не горы ли рушатся
Сводом лазурным?
Лишь стоит прислушаться
К бубнам и зурнам.

Это острое чувство истории было у Леопидзе врожденным, всосанным с молоком матери и вполне соответствовало облику и сути Грузии, ее природе и воздуху. Если этого нет в душевном строе художника, его природе и характере, то как бы он ни старался писать ярко-оптимистически, едва ли будет толк. Каждый художник может выразить только то, что живет в нем. Если в кувшин была влита вода, из него не вылить вина. Поэтому каждому положено оставаться верным своей природе, петь, как говорится, своим голосом. Между прочим, оптимизм тоже бывает разным у разных художников. Есть оптимизм Бетховена и оптимизм России.

Свою последнюю поездку в родную, обожаемую им Кахетию он совершил со мной. Это было месяца за три или четыре до его смерти, такой неожиданной и непредвиденной. Великий поэт Грузии еще не знал, что болен, что так близок конец, что больше не увидит он милой Кахетии и отчий дом, любимое гнездо. Да и никто из нас в те дни не думал об этом. И в ту замечательную для меня поездку он оставался ярким, как всегда, бодрым, общительным и сильным, словно языческий бог. Он тогда рассказывал много, интересно, темпераментно. Мы посетили его родное селение Патардзеули, расположенное в самом начале Кахетии, были в двухэтажном отцовском домике, постояли под старым орехом. Это дерево раньше своего певца увидело рассветы Кахетии и синее небо над ней.

В запущенном дворике были врыты в землю два больших кувшина с крестьянским вином. Нас встретили земляки и родичи поэта. Дымились пашлыки, которые жарили тут же, во дворе. Гогла подошел к одному из кувшинов, поднял дерн, прикрывавший прекрасный сосуд, дал мне кружку и торжественно-весело сказал:

— Пей!

Потом он, подойдя ко второму кувшину, сделал тоже самое. Вино было замечательное. Вообще ведь вино нельзя перевозить, оно этого не любит, его надо пить там, где оно делается. Я пил. Гогла ликовал, ему было приятно, что

мне хорошо, это доставляло ему удовольствие, радовало, что он пригласил меня на свою родину, что я вижу его любимый край, самый обожаемый им на свете клочок земли. Георгий Николаевич был всегда таким, сам получал удовольствие от всего хорошего на земле и любил доставлять радость другим. Это высокое человеческое качество. Вот почему я и говорил выше о праздничности и яркости его жизневосприятия.

Перед нами лежала зеленая Кахетия, над нами простиралось синее небо. Стоял апрель. Я пил за Грузию и ее поэзию, за Кахетию и ее великого поэта. К несчастью, оказалось, что за него, живого, совсем не ведая о том, я пил в последний раз. С тех пор мне приходится пить только за светлую память моих любимцев — Георгия Леонидзе и Симона Чиковани.

В тот день Георгий Николаевич уверял меня, что кувшины во дворе были зарыты несколько десятилетий назад, еще при жизни его отца. Я, конечно, знал, что это не так. Их, может быть, зарыли кахетинцы только накануне нашего приезда по желанию своего любимого поэта. Однако я не проявил ни малейшего сомнения, этим доставив удовольствие одному из самых истинных грузин, гостеприимнейшему кавказцу. Гогла остался убежденным, что я поверил его словам. Его собственная выдумка доставляла ему удовольствие и мне тоже.

Я всегда радовался его дружелюбному отношению и вниманию. Встречи с таким крупным поэтом были не только приятны, но и полезны. Общение с большим художником — лучшая учеба. Надо еще учесть и то обстоятельство, что я к нему, так же как к Тициану Табидзе и Симону Чиковани, с юношеских дней относился любовно, а позже стал считать одним из ярчайших и неповторимых поэтов на свете, созданных жизнью для украшения и возвышения человеческого рода, для подтверждения того, какими талантливыми, яркими и красивыми могут быть люди.

Беседовать с Гоглой было для меня наслаждением. В то же время я никак не могу думать, что заслуживал расположения, внимания или интереса таких больших художников, каким был Георгий Леонидзе. Он, как и Пастернак, Твардовский, Чиковани, был просто добр ко мне. Так бывает. Крупные поэты чаще всего щедры. Как и многие из общавшихся с ним, я любил слушать, когда рассказывал

милый и клопочущий Гогла, похожий на большого ребенка и смелого полководца, на мудрого пахаря или сказочника с неудержимой фантазией, влюбленного в краски земли, радующегося своим выдумкам. Его рассказы были самобытны, как и он сам. Георгий Николаевич видел, с каким вниманием я слушал его, и каждый раз с удовольствием рассказывал. Карло Каладзе, тоже живописный поэт и человек, хороший рассказчик, однажды даже сказал: «Гогла выдумывает о себе всякую всячину, а Кайсын верит!»

Я, конечно, верил не всему, что рассказывал Георгий Николаевич, но истории Гоглы были так интересны, что, какие из них достоверны, а какие выдуманы, меня не интересовало. Он рассказывал не только то, что было связано с ним самим, отнюдь нет. Леонидзе понимал высокие человеческие качества. Во время нашей поездки о жене другого выдающегося грузинского поэта, тогда уже овдовевшей и безнадежно больной, Георгий Николаевич говорил: «Марика Чиковани великая женщина. Да, великая!»

К этой мысли он возвращался неоднократно, и я полностью разделял его мнение. Леонидзе знал ее лучше меня, и его суждения о Марии Николаевне имели куда большее значение и вес. Георгий Николаевич считал, что поэт должен иметь жену, хорошо его понимающую, добрую, преданную, способную стать поддержкой и опорой в трудный день. Гогла считал Марику именно такой спутницей Симона Чиковани, который к концу рано оборвавшейся жизни тяжело болел. В эти горькие для него дни жена, забыв о собственной болезни и о себе, выказала большую стойкость и самоотверженность, на какую способна только замечательная женщина. Георгий Леонидзе хвалил Марику Чиковани, восхищался ее самоотверженностью и любовью к мужу.

В ту нашу весеннюю поездку в Кахетию я еще раз понял, как любила Грузия одного из крупнейших своих поэтов. Тогда не было ни праздника, ни декады, ни официальных приемов. Леонидзе просто пригласил к себе на родину своего товарища. Но школьники кахетинских сел узнавали его, обступали на улицах, бурно приветствовали, засыпали цветами. Наша обычная дружеская поездка превратилась в праздник, хотя ездить с Георгием Леонидзе, быть с ним — было бы для меня праздником, если бы даже мы не видели никого и ели бы сухой чурек, запивая его водкой.

Когда мы выехали из Тбилиси, Георгий Николаевич сказал:

— Я бросил курить, перешел на женщин и вино. У меня три любовницы и каждая из них думает, что я люблю только ее.

Я, разумеется, понимал, что это его очередная выдумка, но смеялся. Меня веселили шутки шестидесятишестилетнего поэта. Не прошло и десяти минут, как он попросил у меня сигарету и закурил. Однажды поздно вечером ему захотелось обязательно посидеть в ресторане при старой гостинице «Тбилиси». Именно там. Мы пришли туда вдвоем, но ресторан уже был закрыт. Гогла огорчился. Ему не хотелось уходить, он стоял в серой кепке набекрень, которая очень ладно сидела на его прекрасной голове. Тогда он рассказал мне, как они с Сергеем Есениным дрались в этом ресторане в 1924 году. Живописно передав все детали, заключил:

— Что ж, жизнь. Молодые были!

Я не почувствовал, не уловил ноты сожаления в его рассказе. Может быть, ее и не было. Два больших поэта подрались, как мальчишки. Ну что ж, бывает. Жизнь есть жизнь. Они помирились так же легко, как вступили в драку. Об этом я напоминаю только для того, чтобы подчеркнуть живой, горячий характер Леонидзе, его открытость и непосредственность. Разговор об этих чертах поэта не только не вредит нашему представлению о нем, а наоборот, придает больше жизненности его образу. Он был горячий, полный жизни и энергии человек. В душе Гоглы, как и в его поэзии, было много света.

Георгию Леонидзе хотелось, чтобы я еще раз лучшим образом посмотрел памятники грузинской истории и культуры в Кахетии. Он велел открывать даже те храмы, которые давно не открывались, и, торжественно стоя у входа, словно кахетинский царь, пропускал меня вперед, а затем водил по храму, показывал и рассказывал. Лучший знаток и певец замечательных творений грузинского зодчества говорил о них так поэтично, с таким вдохновением! Я наблюдал, как углубленно смотрел Леонидзе на каждую фреску, как серьезно озирал каждый церковный или монастырский дворик, как остро воспринимал то, что сам показывал. Тогда он казался мне сосредоточенным мудрецом и возмущенным воином, готовым ринуться в бой, не страшась ран и гибели.

То, что я видел и пережил в Кахетии, осталось со мной навсегда. Остался навсегда и прекрасный, вдохновенный облик поэта-патриота. Осенью прошлого года я снова был в Кахетии, вновь посетил и домик в Патердзеули. Там встретил сестру Гоглы, очень похожую на него. Пожелтевший старый орех по-прежнему смотрел в небо Кахетии, как при своем прославленном певце, пережив поэта, любившего это мудрое дерево. Ну что ж, пусть остаются отчий кров и дерево. Земля, где они стоят, и небо над ними бессмертны. Поэт воспевал их вечность и верил в бессмертие жизни. Эта вера для художника необходима, как русло для реки. Кувшины, врытых в землю в дворике Гоглы, уже не было. Но его родная, его обожаемая Кахетия жила, собирала урожай, смотрела в глаза вечности, помнила своего неповторимого сына и поэта, чудесного кахетинца.

Георгий Леонидзе — один из крупнейших советских поэтов — ярко воспеал жизнь и красоту Родины, ее возрождение, считая это своим счастьем. Его песня неповторима:

Меняются века и мненья,
Приходят новые слова.

Поэзия Георгия Леонидзе явилась новым словом родной словесности, неповторимым словом в советской литературе. Оно сказано надолго. В нем живут и будут жить радость и боль человеческого сердца, гул эпохи, как гул моря в раковине. Его яркий облик, запомнившийся мне навсегда, его нетускнеющая песня, похожая на весеннюю зарю и летние сумерки, помогают мне жить, наполняют энергией, бросают свой свет на мою дорогу, умножают мою радость. Я не могу не любить землю, на которой жили такие люди, как Георгий Леонидзе — чудесный кахетинец.

1973

Поэзия высокой земли

Родина Реваза Маргиани — высокая земля Сванетии. Об этом я напоминаю не случайно. В современную грузинскую поэзию один из ее мастеров припес особый колорит, рожденный тем неповторимым краем, где качалась его колыбель, где он впервые увидел небо, белизну горы, зелень дерева и удивился высоте вершин, услышал голос матери,

радовался ее лицу, глазам и рукам. Мать некла для него хлеб, самый вкусный на свете, и в тепи горы или дерева он засыпал сладчайшим сном, прижавшись щекой к материнской груди. На высокой земле мужественных предков Реваз узнал о том, что на свете есть горы, реки, звезды, сказки, что матери над детьми поют колыбельные песни. Там начало не только его жизни, но и его песни, ставшей теперь дорогой и близкой многим читателям. Характер его родины, разумеется, сказался и в характере самого поэта, в его индивидуальных человеческих чертах, в отношении к людям и творчеству, она дала ему темы и ритмы, отметила своеобразием его лирику — поэзию высокой земли, поэзию, наполненную светом высокогорья, как парус морским воздухом. Никто, думаю, не станет отрицать, как важно все воспринятое в детстве и юности.

В лирику Реваза Маргиани вошли чистота снегов сванских высот и воды родников в ущельях. Человечность, задушевность колыбельной песни, отвага скалолазов, мужество мулахских охотников, терпеливость каменотесов, пахарей, их естественность и благородство — все можно найти в его стихах. со всем этим я встретился снова, раскрыв книгу Маргиани «Стихи», выпущенную издательством «Художественная литература» в серии «Библиотека советской поэзии».

Кто в Сванетии не был,
Тот не знает, наверное, как
Ты беседуешь с небом,
Звезды теплые держа в руках.

Когда я стал читать стихи Реваза Маргиани, у меня родилось чувство, будто я вновь встретился с другом, которого давно не видел, и опять с любовью смотрю на него, снова вижу его лицо, улыбку, слышу его голос, мы с ним беседуем как прежде, когда были моложе, а потому и счастливей. И мне хорошо, и в моем собственном доме становится теплее. Слушать умного, сердечного человека приятно каждый раз, а беседовать с другом — всегда большая радость. Реваз говорит мне:

Что стоит мир и наша жизнь
Без милрой, без Ингури! —

и я с радостью слушаю его и понимаю — ведь самому мне жизнь не в жизнь без моих Чегема и Эльбруса. Друг говорит о своей земле и своей реке то же, что мне хочется

сказать моему Башилю и Терсколу, моей матери и колосям моей земли. Давно отмечено: сила лирики заключается именно в том, что слово поэта содержит в себе чувства общепонятные. И нам хотелось бы сказать то же самое, что говорит поэт о своей радости и боли, о сомнениях и любви, обо всем, что нас греет или тревожит. Вечно негасимый огонь лирики, ее сокровенное свойство присуще и творчеству Реваза Маргиани.

Иные из нас, кавказских литераторов разных национальностей, порой становятся па ходули, подвержены украшательству, декоративности, которые пытаются выдавать за национальный колорит, стараясь ими прикрыть отсутствие мысли и настоящей образности. А на самом деле такая мишура не имеет отношения к национальному в искусстве, а говорит об эстетической малограмотности подобных авторов, об их творческом бескрылье и беспомощности. Обветшалые атрибуты и реквизит появляются только там, где отсутствуют глубина мысли, поиск и взыскательность к себе. И тогда сужается круг интересов поэта, сокращается его горизонт, начинает властвовать отсталость. Литераторы, придерживающиеся антитворческих взглядов, голос подлинной жизни подменяют декламацией, а пристальное внимание к жизни — позой. И сразу меркнет белизна вершинных снегов, трава увядает, гложет шум реки — в стихах исчезает живой голос жизни, они становятся фальшивыми.

Маргиани же оказался в числе тех лириков современного Кавказа, которым удалось счастливо избежать или преодолеть подобную мишуру и пустое украшательство, местническую ограниченность, вовремя понять их никчемность.

В лирике Маргиани есть главное — содержательность, образность, мысль, откровенная сердечность, плененность земной красотой, желание радости и счастья людям, в пей бьется горячее сердце поэта. В его лирику вошло все, чем он живет, чему радуется, что его тревожит и волнует, за что он благодарен жизни и судьбе. Поэт переживает, как и другие, он человек среди людей. Поэтому сказанное им интересует многих, становится близким многим сердцам. Его слово — опора и поддержка для тех, кто в них нуждается.

Очень хорошо, что горы не заслоняют от взора Маргиани остальной мир, что порой случается с некоторыми из

нас. В его лирике мы видим не только дорогой его сердцу облик Сванетии, Грузии, Кавказа. Он с сыновней любовью пишет о нашей Родине, о дальних ее уголках, отдавая свое слово и любовь детям разных народов. Из стихов Реваза смотрит на нас суровый и жестокий лик войны, в них звучит голос тех, кто своим мужеством, страданиями и трудом сокрушил фашизм, есть в них и радость за живых, и боль за погибших. Грузинский мастер умеет говорить языком поэзии о благе труда пахарей, виноградарей и всех, кто создает. Он не только сван и грузин, он сын нашей Родины, он — человек. Ему дорого не только собственное гнездо, не один отцовский кров, он радуется и тревожится не только за них. И это очень важно. Вот его четверостишие, обращенное к родной Сванетии:

Много видел на свете я
И такой не встречал красоты, —
Но без мира на свете
Быть не можешь счастливою ты.

Да, верно, и высокогорная родина поэта, Сванетия, живет в общей семье народов, деля радости и тревоги со всей страной, со всеми народами, со всем миром. Художник знает, что нет на свете таких островов, куда не доходили бы ветры остального мира, и гор таких нету, которые бы заслоняли от всех бурь на свете. Только поняв это, смог Маргиани написать строки, являющиеся продолжением приведенной выше строфы:

И деревня родная,
Где впервые, увидел я свет,
К дружбе тянется, зная,
Что без дружбы Сванетии нет.

Мы с Ревазом родились и росли по соседству — от моего Верхнего Чегема до его Мулахи всего несколько часов ходьбы: один склон горы смотрит на его селение, другой — на мое. Кстати, это обстоятельство дает мне право писать о Маргиани — его самого и его родную землю я знаю лучше, чем многие. И грузинское хоровое пение, обворожительное для меня, одно из лучших в мире, впервые я услышал мальчиком от земляков Реваза — мулахцев. Это стало началом моей любви к грузинской поэзии.

Стать поэту явлением в грузинской поэзии, конечно, трудно — в ней работали мастера, которые вывели родную словесность на мировую арену, придав ей всечеловеческое звучание. А все же поэт, который спустился со сванских

гор, сумел занять почетное место в поэзии своей страны. Созданное им стало своеобразным и чистым притоком, подобным воде рек, берущих начало у синих ледников Сванетии.

Все, о чем пишет, Маргиани увидел по-своему и по-своему сказал. Потому он и поэт, только потому. Есть стихотворцы, пишущие стихи и выпускающие книги, которые живут и ходят по земле как бы с закрытыми глазами и заткнув уши ватой; они только повторяют увиденное и услышанное другими, пользуясь объедками с чужого стола. Они не поэты, сколько бы книг ни удалось им выпустить. Не так уж мало теперь нас, литераторов, родившихся и выросших в горах, с детства видевших все то же, что и Реваз, но он в своей работе не похож ни на кого из нас. Он убирает урожай своего поля, разводит свой огонь и печет свой хлеб. Давно сказано: «какой сам человек — такие и его слова». А чегемские крестьяне даже говорят: «если скот не похож на хозяина, то его съедают волки». В поэзии же вообще невозможно притворяться — если человек идет по площади разутый, люди обязательно увидят, что он бос! То же самое и с поэтом. Он весь как на ладони. Реваз Маргиани, красивый своим талантом, сердечностью и скромностью, говорит слова, похожие на самого себя, на собственную жизнь и сущность. Вот о таком Ревазе Маргиани говорили при мне в тени тбилисских платанов грузинские мастера Григол Абашидзе, Карло Каладзе, Иосиф Нопешвили, несравненно лучше меня знающие, какое место он занимает в грузинской поэзии.

На благодатной грузинской земле, воспетой великими поэтами, живет и мудро делает свое дело мастер, наблюдая красоту гор и деревьев, пахарей и камепотесов. И вот что очень важно для художника и замечательно в Маргиани: он предан не суете, а родной земле, ее горам, виноградной лозе и деревьям, ее культуре, многовековому опыту славных мастеров, так же, как и братству муз. Я редко встречал поэтов-современников, которые бы так мало заботились об известности и так мало суетились, как Маргиани. Он не из тех, кто любой ценой стремится к популярности. Это делает его еще более симпатичным. Он так мил своей сокровенной сердечностью и непосредственностью, что при нем для меня и хлеб слаще и вино вкуснее. Многие из братьев, живущих в разных краях страны, рады дружбе и каждой встрече с ним, как и я, его сосед и брат.

Сколько их пребывало в его гостеприимном доме, стоящем прямо над Курой, с балконом, обращенным на знаменитую гору Мтацминду, воспетую лучшими поэтами от Бараташвили до Чиковаши. Много прекрасных часов проводил и я в этом доме и на этом балконе, очастлививший добрым отношением хозяев, дружеской беседой, братским застольем.

Закрыв книгу Реваза, я почувствовал себя так, будто только что вышел из его дома, где все мило и дорого моему сердцу, после долгой беседы с другом, доставившей мне радость и наслаждение. Во мне еще звучат стихи, рожденные на высокой земле, я серьезнее и собран. Мир, омытый дождем, опять стал для меня новым, горы сияют белизной, зеленые платаны мудро притихли, трава свежа, волны реки шуршат, как листья. Мне хорошо. Я благодарен поэту!

1972

Языческий певец

Одним из главных свойств Карло Каладзе, известного мастера грузинской и советской поэзии, мне представляется жизнелюбие. Он дорог нам буйством красок своих стихов, темпераментом, широтой, самобытностью восприятия жизни, эмоциональностью ощущений. Это вообще характерно для всех крупных явлений грузинской поэзии и грузинского искусства. У чегемских крестьян бытует поговорка: «По земле и урожай». Грузия такая прекрасная страна, что, когда едешь по ней, порою сна кажется тебе переальной, приснившейся в часы счастливого сновидения. Этот край создан для того, чтобы пленять поэтов. Тут есть кого вспомнить. Грузию любили не только Пушкин и Лермонтов, но и художники более скромного дарования.

Я всегда остро ощущал влюбленность поэтов и художников Грузии в свою землю. Эта любовь — сама пленительная песня. Грузинский художник, даже бедствуя и страдая, оставался плененным красками своей родины, мужеством ее героев, красотой ее женщин, сердечностью и мудростью ее матерей. Разве не так было со времен Пшавелы и до Пирсмани? Грузинская Муза, несмотря на многие трагические повороты истории родного края, всегда оставалась оптимистически влюбленной в землю

и в жизнь. Это подтверждается и знаменитейшим трагическим стихотворением Николоза Бараташвили «Мерани».

Поэт, современный по своей творческой сути, Карло Каладзе унаследовал лучшие черты предшественников — любовь к родине, к ее культуре, преданность ее краскам. Знать, понимать и любить своих предтеч — вовсе не значит повторять их. Карло Каладзе, не теряя уважения к традициям мастеров прошлого, вырос в самобытного художника, обогатившего родную поэзию.

Художник остается молодым, пока трудится. Свидетельством тому и одна из недавних книг Карло Каладзе с правящимся мне названием «За час до старости». Она радуется свежестью мыслей и красок, верой в жизнь, в человека, в будущее, молодостью энергии. В нее вошла древняя и новая красота Грузии, закреплена ее бессмертный облик. Поэзия Карло Каладзе все еще молода, она пропизана светом жизнелюбия:

Когда горизонт параспашку
И, кажется, весь белый свет
В одну голубую рубашку
С небрежностью майской одет,
Когда с беззаботностью бубна
Колотится солнце в кустах
И мчатся деревья, как будто
На цыпочки в танце привстав,
Когда в этой пляске грузинской
Деревьев, скользящих легко,
О чем-то на миг загрустивший,
Я вдруг улыбнусь широко, —

Когда в этот солнечный, ясный
Пейзаж в деревенском саду,
Как есть, в мой шляпе крестьянской,
Я просто и скромно войду.

И с головой побелевшей
Верну себе юность на миг.
И яростно ветер побережный
Рванет голубой воротник!

Я люблю пантеизм Каладзе, его распахнутость, широкие и смелые мазки, мужественное отношение к горю и преданность земной радости, чуткость к краскам и звукам земли, щедрость и пристальное внимание к випоградской лозе, дереву, дождю, лунному свету на снежном хреб-

те. Он из тех художников, которые хорошо знают, что человек не имеет ничего, кроме жизни, что она — высшее благо для него и цельзя ее не любить. Его поэзия каждый раз заряжает нас жизнелюбивой энергией. Если бы Карло был человеком верующим, то он наверняка был бы язычником, поклонялся бы скалам и деревьям, камню и виноградной лозе. Мне приходилось бывать с ним в разных краях, и каждый раз я радовался этой его языческой привязанности ко всему земному, его умению радоваться и радовать других, его неутомимой энергии. Кумыкский поэт Аткай писал, что Карло Каладзе и при коммунизме был бы лучшим тамадой за пиршественным столом. Все мы, кавказцы, считаем его ярчайшим, остроумнейшим, веселым тамадой. Но при этом он никогда не позволит себе превращать поэзию в шутку или забаву, остается серьезным и глубоким художником, свято относящимся к творчеству:

Кто он, — тот художник давний,—
Протянул меж нами нить?
Даже имя скрыто тайной,
Некого благодарить.

Очертанье глаз такое,
Ощущенье красоты
Не дает и мне покоя,
Время не сотрет черты.

Острым ощущением земной красоты, полнотою жизни, заинтересованностью в радости людей, любовью к труженикам родной земли и покоряет лирика замечательного мастера грузинской поэзии.

В книгах Карло Каладзе мы встречаемся с лирикой, полной свежей образности, молодой энергии и жизни. Таким именно я люблю его много лет, мне милы его буйная образность, львиная хватка! Меня всегда тянет к нему, хотя у нас разные характеры и пишем мы по-разному. Мне приятны его жизнерадостность, остроумие, живописность, подлинный оптимизм, которые не имеют ничего общего с так называемым телячьим восторгом, бездумным и легкомысленным отношением к жизни и искусству. Я всегда ищу встречи с этим широким человеком. Где Карло Каладзе — там кипение жизни, веселый смех, хорошее настроение. Появится этот языческий певец земли, славный остроумец и бражник, король кавказского застолья, — и в доме стано-

вится больше солнечного света, все начинают улыбаться, всем становится весело. Он человек пеистощимой энергии, знаток и ценитель хорошей кухни и вин.

Но не только этим привлекает меня Карло Каладзе — человек, отнюдь нет. Он — художник большой культуры, хорошо знающий не одну литературу, но и искусство, своеобразный собеседник, умеющий создавать высокую поэтическую атмосферу беседы. Его веселость и любовь к островам совсем не мешают ему быть глубоким в суждениях о творчестве. Наоборот, такие контрасты в характере придают ему еще большую привлекательность, а сказанному им — многообразие, широту, жизненность. Все это, характерное для человеческой сущности Каладзе, переходит в его поэзию, придавая ей многогранность.

Карло Каладзе любит радовать людей. Ради этого придумывает разные веселые истории, замечательно их рассказывает, пускает в ход острооты. О себе, например, он говорит: «Хотел быть орлом, а стал Карлом». Или: «Ираклий Абашидзе не дает расти вверх, и я расту вширь».

И еще: «Ираклий — высота грузинской поэзии, а я ее широта». Я мог бы вспомнить многие из историй Карло, но скажу только об одном случае. Прошлой весной я был в Казахстане, где отмечался юбилей Джамбула. Когда я прилетел, мне сказали, что приезжает и Каладзе. Я был рад его увидеть, ждал. Открывается торжественное заседание, а Карло еще нет, собрание идет долго, а его все нет, закрывается заседание, Карло все еще не видать. Наконец поздно вечером начинается банкет и появляется Карло Каладзе, живой, веселый, ликующий, будто совершил подвиг и все должны восхищаться им. И действительно все ему рады. Хозяева спрашивают:

— Где Вы были? Что с Вами? Мы ждали Вас, беспокоились.

А он все так же весело:

— Я взял в Тбилиси билет на Ташкент, думал, что это Казахстан, а оказывается — Узбекистан. И вот ехал целый день на такси!

При этом вид и настроение у него — победителя. Да, он один из колоритнейших людей.

Таким и живет на земле, которую самозабвенно любит и воспекает, самобытный, яркий человек и поэт Карло Каладзе, похожий только на горы Кавказа и на самого себя,

радуя нас своим живописным обликом, веселым нравом, жизнерадостным характером и высокой поэзией. Я, например, как только вспомню его, повторяю его имя, и мне становится веселее жить, лучше работается. Я люблю Карло и людей, подобных ему, — в них много энергии, света жизни.

1968—1974

6

ГЛУБОКИЕ
КОРНИ

ПЕСНИ ГОРЦЕВ

1

Горцы Кавказа всегда ценили слово. «Хорошее слово стоит скакуна», — говорят, сказано ими. Они не любят бросать слово на ветер. Оно дорого им, как хлеб и соль, что добывались в горах с большим трудом. Не зря лучший поэт балкарцев Кязим Мечиев писал:

Хорошее слово с отвагою слито,
Блестит, как дамасская сталь,
Для пищих — богатство, для слабых — защита,
Утешит, прогонит печаль.

Хорошее слово — твой разум и голос,
И солнце твое, и дуга,
Души твоей сказка, земли твоей колос,
Огонь твоего очага.

Хорошее слово — твой праздник и горе,
И горский тяжелый твой хлеб,
И меч, и кольчуга, и воздух пагорий,
Где ты возмужал и окреп.

Хорошее слово с тобою смеется,
С тобою грустит в трудный час,
Мы жизнь покидаем, — оно остается
И служит живым после нас.

Мечиев был учеником народа и его безымянных поэтов. Он точно выразил отношение своих земляков к слову. Лучшие слова горцев остаются в их песнях, пословицах, сказках, легендах и нартском героическом эпосе — сокровищем и бесценным богатством всех народов, населяющих

ущелья и долины Северного Кавказа. Напа изустная поэзия входит в мировую культуру как ее неотъемлемая часть.

Песни абазинцев, адыгейцев, балкарцев, ингушей, кабардинцев, калмыков, карачаевцев, черкесов, чеченцев... У народов-соседей, народов-братьев исторические судьбы во многом сходны. Они делили всегда не только радость и горе, но и хлеб и песню. У горских народов Кавказа быт, обычаи, облик мужчин и женщин, форма одежды издавна были одинаковы. У горских народов нередко встречаются одни и те же песни, сказки, пословицы. Необходимо отметить, что безымянные певцы часто переводили песни одного народа на язык другого. Так делалось в моем детстве и юности, когда я еще жил среди наших крестьян, в атмосфере родного фольклора, в мире горской сказки и песни. Мне было известно, что кабардинские народные певцы — пахари и пастухи — переложили на свой язык и спели, а за ними спел весь народ карачаево-балкарские песни о Таукане, об Али, об Абдулкериме и даже такие пюточные песни, как «Медвежата» и «Соллолу». Так поступали и безымянные балкарские поэты—крестьяне.

Надо подчеркнуть, что у балкарцев и карачаевцев один язык и один фольклор, то же самое — у адыгейцев, кабардинцев и черкесов, то же — у ингушей и чеченцев.

Но дело не только в одной близости языков некоторых народов гор, сходстве жизненного уклада и соседстве, хотя это, разумеется, сыграло большую роль. Народы вообще всегда влияли друг на друга, один у другого перенимал многое, в том числе сказки, песни, пословицы.

Разве не то же самое было с умением строить жилища и пахать землю? У людей во все времена было гораздо больше общего, чем это кажется на первый взгляд. Ведь все они жили и живут на одной земле и под одним небом, все они люди. Человеческая радость и горе сходны повсюду независимо от различия облика родной земли и языков. Люди повсюду трудятся, борются, терпят поражения, страдают, болеют, стареют и умирают одинаково. Даже народы, не знавшие о существовании друг друга, рассказывали одни и те же сказки, повторяли пословицы одного и того же содержания. Крестьянин, пахавший свой клочок земли в Чегемском ущелье, проповедовал те же идеи добра и справедливости, что и пахарь, живший, скажем, где-нибудь у Средиземного моря. Кязим Мечиев, скитаясь по

свету, писал, что радость и горе повсюду имеют один цвет. Горе везде пахнет пеплом, радость — плодами, согретыми солнцем и омытыми дождем.

Я с детства знал балкарскую сказку. Много раз я слышал ее от старших, а потом рассказывал и сам. Когда же, став взрослым, я читал Гомерову «Одиссею», оказалось, что она и балкарская сказка — по сюжету — это почти одно и то же. В нашей сказке тоже есть и одноглазый циклон, которого сказочник-горец назвал лесным человеком или лешим, есть пещера с овцами, костер и каленое железо, которым гость лишил лешего единственного глаза и спасся, надев баранью шкуру. А ведь балкарские крестьяне, наши сказочники и ашуги и слыхом не слыхивали о Гомере и ничего о греках не знали... Правда, говорят, что греки когда-то жили в ущельях и долинах Северного Кавказа. Прометей был прикован по воле Зевса именно к кавказской скале. Должно быть, в Чегемской теснине. А что касается горцев, то, будучи соседями, они в течение многих столетий влияли друг на друга. А потому совершенно естественно, что фольклор их родствен. В наших песнях — мощь гор, белизна вечных снегов, взметнувшиеся к тучам скалы и обыкновенный плетень у дома, каменистые дороги и звенящий родник, мятежные реки ущелий и притихшие деревья, зеленая чинара и засохшая ольха, дождь над пашней и звезды над белыми хребтами, луна над ущельем и маленькие дворики аула. Безымянные поэты гор, конечно, специально не писали пейзажи — облик родной земли неназойливо и естественно входил в их песни. Радости и страдания людей, их любовь и горе, праздники и похороны — все это окружает природа, принимая участие во всех событиях. В своих песнях горцы в час торжества или беды нередко обращаются к горе, скале, дереву, реке, дороге, звездам, призывая их в свидетели, ища у них помощи, считая их опорой, поддержкой, утешением. Влюбленный, глядя на горы, поет о возлюбленной, веря, что скалы понимают его и разделяют его чувства. Сраженный стрелой или пронзенный кинжалом герой, умирая, обнимает камень или траву, и последние его слова слышат они.

В карачаево-балкарской песне «Снег идет» снегопад сопровождает все события, происходящие в этой маленькой трагедии:

Снег идет, все снег и снег,
Спит богатый человек,

Спит богач, не спит жена,
 Все глядит: полна ль кошна.
 Дочь у зеркала сидит,
 Сын поет: он пьян и сыт.
 Снег идет, все снег и снег,
 Плачет бедный человек.
 Снег идет, в пути занос,
 Погибает водонос.
 Снег идет, в горах туман,
 Спотыкается чабал,
 Замерзает дровосек,
 Снег идет, все снег и снег...

Естествен в изустной поэзии горцев облик земли, которую они пахали, поливали потом и кровью, на которой строили свои жилища, тесали камень и дерево, пасли скот. Они любят эту землю, дававшую им хлеб, воду и последний приют. Пусть сказанное мною подтвердит старая чечено-ингушская песня, в которой есть такие строки:

Это сильнее небо мы, очи воздев,
 Видеть счастливы каждый раз.
 Словно старую бурку на плечи надев,
 Кто износит ее из нас?

Эту черную землю, где нам умирать,
 Где немало могил и дорог,
 Разве кто-нибудь может из смертных топтать,
 Как подошвы своих сапог?

Жители гор каждый клочок земли ценили выше золота. Зарывая в нее своих смертных братьев-тружеников, героев, мастеров и безымянных поэтов, оставивших потомкам нестареющие песни и сказки, они верили, что родная земля бессмертна.

Да, земля в горах ценилась больше золота. И как за ней ухаживали! Каждый метр, годный под пашню или огород, освобождали от множества камней, которые в любое время могли, срываясь со скал, вновь засыпать участок. Землю удобряли навозом, орошали, по склонам тянулись арыки, словно змеиные следы или брошенные арканы. Отцы мало спали и много работали.

Жители кавказских гор пасли стада над безднами. Луга были не менее ценны, чем пашни. Горцы косили сено на такой высоте, над такими пропастями, что непривычному человеку это покажется невероятным. Все это требовало умения, большого терпения, смекалки, стойкости. Таким и воспитывали с детства человека в горах. Его не убавляли

вали сладкими сказками, не обещали ему легкой жизни, не сулили рая на земле, а готовили к трудностям, которые необходимо преодолевать ради жизни. Ему внушали, что нет для человека ничего готового, что он сам должен научиться делать все необходимое для существования. Горский мальчик в 8—10 лет уже был работником — помощником родителей. Это я помню и по своему детству. Еще мальчиком я запомнил поговорку моих земляков — чегемских крестьян: «Тележэк бедняка несет службу вола».

Жизнь требовала от жителей гор мужества и трудолюбия, твердости и прозорливости. Они высоко ценили эти человеческие качества и упорно прививали их своим детям. Так складывался характер горца. Горец мог быть пахарем, пастухом, каменотесом и воином одновременно. Горцами давно сказано: «Какова земля — такова и трава». И песни их всегда были похожи на их родную землю — высокую, прекрасную, но скупую и трудную. Но горцы ее обожали, на ней они качали колыбели своих детей и слагали песни. Все было связано с ней: первый шаг и последний шаг, жизнь и смерть. Они умели не только пахать землю, но и отдавать за нее жизнь.

Жители гор, как известно, замечательные скотоводы. На мягкие травы пастбищ ложились тени от влажных облаков и орлиных крыл. Но известное всем горское трудолюбие проявило себя не только в скотоводстве и хлебопашестве. Крестьяне на воловьих арбах, на мулах и осликах через теснины провозили саженцы и разбивали сады в солнечных долинах и на горных склонах. Нас до сих пор удивляет такое упорство наших отцов. Они пробивали дороги по отвесным скалам, одолевая их вековой гранит. Сады, о которых идет речь, имелись и имеются, в частности, в Черекском ущелье Балкарии, там почти столет назад была проведена дорога по отвесной скале — явление уникальное даже для Кавказа. Горцы жили так, будто трудности были придуманы жизнью для них специально. Они, похожие на свои горы и скалы, трудились, сражались за родные очаги, отстаивали свободу, выше всего ставя честь и достоинство, преодолевая трудности, закаляя характер, не отчаиваясь, веками накапливая мужество и мудрость.

Наша земля всегда знала замечательных мастеров камня и дерева. Об их таланте и трудолюбии свидетельствуют те сакли, что стоят сотни лет, выдержав бури, снега и дож-

ди столетий, а также старинные башни и склепы, для которых в далекие времена так искусно жгли известь, что до сих пор трудно понять, как это делалось. Работа безымянных мастеров выдержала разрушительную силу времени. Башни в горах стоят долгие века, пережив многие поколения, став свидетельством того, как прекрасны труд, талант, воображение и упорство мастеров всех времен и народов. Давно забылись имена горских каменотесов — творцов замечательных строений, но плоды их фантазии и ума остались с живущими.

Человек творит, сознавая, что сделанное им переживет его. Открытое, найденное, сотворенное мастер оставляет тем, кто будет жить после него. Не боясь быть высокопарным, хочу сказать, что каждый труженик на земле является по-своему Прометеем, ибо повседневная жизнь его есть подвиг.

Иные ученые, литературоведы и критики не любят, когда пишут о смерти. Можно подумать, что сами они бессмертны, избавлены от старости и человеческих страданий. Только плохие литераторы боятся касаться темы смерти. А вот безымянные поэты гор — пахари и паездники, пастухи и воины — не боялись.

Когда-то наши крестьяне сказали: «Быть без песни — бездомным быть». Горцы не хотели быть бездомными. Они всегда слагали песни, пели их на свадьбах и во время обычного застолья, пели пастухи на пастбищах, путники в дороге, девушки за рукодельем. Не было дня, чтобы в горах не звучала песня. Думаю, что нет на свете народа, который бы не пел, иначе он был бы подобен глухонемому. Горцы любили и любят петь. В детстве я знал многих ашугов. Бывая с ними, я сам учился у них петь. Создания мастеров слова, безымянных поэтов и сказочников, оказались даже долговечнее дел мастеров камня. Если многие башни и склепы все же разрушены грозной силой времени и навсегда потеряны для нас, то песни, сказки и пословицы поныне живут в памяти народа, не потеряв свежести и силы. Слово оказалось прочнее камня!

Известное высказывание В. И. Ленина о двух культурах в каждой нации можно полностью отнести и к изустному творчеству горцев Северного Кавказа. В наших горах,

как и всюду, жили бедные и богатые, угнетенные и угнетатели. В создании произведений фольклора, конечно, участвовали те и другие. Можно пайти такие сказки, песни и поговорки, в которых явно обнаруживается попытка оправдать существование богатых и бедных, оправдать гнет и жестокость, воспеть мнимые подвиги князьков, возвеличить их и их подручных. Оно и понятно. У всякого, кто имел власть и силу, имелись и прихлебатели — лживые певцы, соврать для которых ничего не стоило: язык от этого не отнимался, а брюхо было сыто. Такие горе-поэты о совести и не думали. Она для них являлась слишком невыгодной и бесполезной, а иногда и небезопасной: шуточки с княжеским гневом были плохи.

Но не такого рода вещи составляют долговечную силу горской народной поэзии. Нашу признательность заслужили не лживые слагатели мертворожденных (как все лживое!) песен, славославящих князьков, а произведения, рожденные народной жизнью и народной совестью, ненавистью к гнету и угнетателям, защищающие слабых и гонимых, истинных хозяев жизни — тружеников. Настоящие пародные песни гор были похожи на счастливых своей свободой птиц, ясным утром вылетающих в синий простор неба, парящих над белыми вершинами и зелеными долинами. Создателями этих песен были крестьяне — пахари и пастухи, — которым, возможно, не каждый день хватало ячменного хлеба, но совести хватало всегда. Они ставили ее и справедливость выше всего.

Песни о судьбе трудящегося человека, о его чаяниях, мечтах и надеждах, борьбе за лучшую жизнь, о человеческой радости и горе составляют золотой фонд изустной поэзии горцев.

Горскому труженнику жилось трудно, он был унижаем и попираем. Кто только из имевших власть и силу не пытался лишить его хлеба и человеческого достоинства, кто только не топтал скудный посев крестьянина, не отнимал его скот и не сжигал его жилье! Это делали и местные феодалы, и хищные завоеватели. Хлеб его бывал скудным, а очень часто и горьким. Об этом слагались правдивые песни, простые, как очажный камень или плетень, чистые и честные, как хлеб и совесть. Вот такой и дошла до нас «Батрацкая песня». Горький голос кабардинского пахаря или пастуха слышим мы как бы из темноты ночи или из-за гор, окутанных туманом:

Мочит травы не роса,
Не ручей течет,
Чем длиннее полоса,
Тем обильней пот.

Ой, хозяйская мошна
Велика.
Ой, ты бедная спина
Батрака!

Этот голос крестьянина донесли до нас народные песни. В народных песнях — живая летопись, живы сердце и ум народа. Обратимся к осетинской «Песне женщин, изготавливающих бурки». Труженицы-осетинки вторят кабардинскому батраку:

Бурка, стоящая, ой, не дешево,
Для плохого или для хорошего?
Это бурка из руна заветного
Для богатого, а не для бедного.
Может быть, поймет богач, как тяжко нам,
Может, не зарежет он барашка нам.
Так по чашке каши хоть наложит нам,
Может быть, и каши пожалеет.
Сытый, разве нас он разумеет?

У горцев есть поговорка: «Здоровый не разумеет больного, сытый — голодного». О том, что сытый не разумеет голодного, и сказано во многих горских песнях. Какая жизнь — такие и песни. В правдивости и верности действительности — сила народной поэзии. Этим она подкупает, потому и долговечна.

Тяжелые условия жизни, невыносимый гнет со стороны местных феодалов и царских чиновников, социальная несправедливость породили в горах Кавказа то явление, которое в народе называют абречеством. Не вынося унижений и издевательств, храбрые и сильные люди покидали свои очаги, уходили в леса, не видя и не находя другого пути борьбы со своими мучителями. Это были благородные мстители. Их не надо путать с обыкновенными разбойниками и грабителями. Абречество — явление социальное. Абреки были заступниками бедных и грозой богачей, князей и чиновников. Царские власти вели с абречеством беспощадную борьбу: кого удавалось поймать, посылали в Сибирь на каторгу. Самым известным абреком в горах был чеченец Залимхан. Известен и карачаевец Капамат. О них горцы пели прекрасные песни, которые

дошли и до нас. Интересна судьба балкарского абрека из Чегемского ущелья Султан-Хамида, и популярно его имя. Меня сначала называли его именем, но двоюродный брат моего отца, который в юности был как-то оскорблен Султан-Хамидом, заставил моих родителей дать мне другое имя. Так я перестал быть Султан-Хамидом и стал Кайсыном. В 1912 году С. М. Киров, узнав о храбром абреке из Чегемского ущелья, под видом рыбака явился туда, нашел отважного чегемца. Благодаря Кирову Султан-Хамид перестал быть одиночкой-мстителем, стал активным участником гражданской войны на Кавказе, одним из ближайших друзей и соратников Сергея Мироновича. Он в 1918 году погиб у города Владикавказа от пули, прикрыв собой Кирова. Абреки были людьми свободы, борцами за нее. Горцы Кавказа, у которых всеми способами старались отнять свободу, не могли не отдавать лучшие порывы души свободным и отважным рыцарям гор. Об этом поется в карачаево-балкарской «Песне о Капамате».

Благородный и храбрый защитник бедных Капамат с несколькими товарищами семь лет находился в Черном, как сказано в песне, лесу, «ночью был волком, а днем лаял собакой». Капамата с друзьями выдал властям один его старый знакомый, и все они были убиты в отчаянной схватке с отрядом, окружившим их. Песня о них трагична и мужественна. Ее поэтическую мощь едва ли можно передать в переводе на другой язык. Поэзия подлинной жизнью живет только на том языке, на котором она создается. А потому и песню о Капамате очень трудно перевести, каким бы замечательным поэтом, каким бы крупным мастером не являлся переводчик. Запись «Песни о Капамате», по которой осуществлен перевод на русский язык, во многом не совпадает с тем замечательным вариантом, который запомнился мне с мальчишеских лет, когда мне посчастливилось слушать лучших народных певцов-сказителей, давно ушедших из жизни. Я не могу не процитировать то место, где один из товарищей Капамата Касбот рассказывает сон по дороге в аул, не ведая, что знакомый аульчанин предаст и погубит их. Вот их разговор в том виде, как его исполняли крупнейшие исполнители фольклора:

— Ой, Капамат, я хотел бы рассказать
Тебе один сон,
Если ты не станешь меня ругать.

— Расскажи, Касбот, расскажи,
 Зачем я стану тебя ругать?
 — Ой. Канамат, двор людей, куда мы идем,
 Был залит красной кровью,
 А сокол, похожий на тебя,
 Лежал мертвым в том дворе.
 Такой сон мне приснился этой ночью.
 — Ой. пегодный Касбот, ты, кажется, струсил,
 Сновиденья — это отбросы сна,
 А тот, кто верит им,— пегодный из людей!

Песни горцев об абреках поднимаются до высот большой трагедии, в них созданы могучие героические характеры, в них действуют люди, побеждающие все трудности, не только страх смерти, но и самое смерть.

Посмотрите, какой драматической силой дышат строки чечено-ингушской «Песни абрека»:

Если бы вдруг я
 Горе излил.
 Если б на луг я
 Слезу обронил.
 Знаю, печаль моя землю сожгла бы
 И на равнине трава не росла бы.
 Если бы в песне
 Я горе излил,
 В реку бы если
 Слезу обронил,
 То от соленой слезы и от горя
 Сразу река превратилась бы в море.
 Там, где скитаюсь я,
 Нету еды.
 Там, где скрываюсь я,
 Нету воды.

Мы ведем речь, повторяю, о народных мстителях, о заступниках бедных и обездоленных. Мы имеем в виду тех, «кто на князей точил кинжал», как сказано в песне о Канамате. Справедливость, свобода, мужество и бесстрашие — вот что являлось религией настоящих абреков.

3

Сила народных песен, их огромное значение заключается еще и в том, что в них отражены все стороны жизни народа, они остаются правдивейшим выражением человеческой души, всех ее переживаний. Горцам Кавказа в течение многих веков приходилось отстаивать свою землю, родные очаги и жизнь детей от посягательства бес-

численных захватчиков. Горский крестьянин всегда оставался воином, его в любой час мог призвать к бою огонь тревоги, заженный на вершине горы. Были времена, когда в аулах могли оказывалось больше живых жителей. Свидетелями той суровой жизни, наряду с произведениями фольклора, остались крепости и башни в горах, так часто встречающиеся, а еще надгробья из горного камня у дорог. В старину героев хоронили там, где они погибали. Любопытна одна деталь. Мне не раз приходилось видеть два памятника у дороги, стоящие рядом. Один из них обычно был повыше другого, и на нем изображалась голова мужчины, а на другом памятнике головы не было. Люди знали, что рядом лежат мужчина с женщиной — муж с женой. Многие из таких надмогильных камней у дорог сохранились до наших дней.

В Чегемской долине по пути в мое родное ущелье у дороги стоит одинокий высокий могильный камень — памятник герою, имя которого теперь забыто, потому что письмена стерлись от времени и прочесть их не могут даже такие знатоки, как старый поэт и специалист по горским памятникам Саид Шахмурза. Этот камень изрыт пулями разных эпох. Оказалось, что даже мертвому под землей нет покоя от войн. Герой погиб от стрелы или пули, бог весть когда и в каком из бесчисленных боев, происходивших в этой прекрасной долине, на которую с юга смотрят белые вершины гор. Однажды здесь, когда зеленая трава обступала этот камень, и над ним, как при жизни того, чей прах он сторожит, медленно проходили белые облака, и был виден весь могучий Кавказский хребет, «и горы на музыку были похожи», как сказал Симон Чиковани, пришло мне в голову название одной из моих книг — «Раненый камень».

Я многим обязан камню. В горах он особый. Как ни странно, камень учил меня мыслить, учил сдержанности, оберегал, как и деревья, от многословья и болтливости в стихах, камнем гор порождены многие мои мысли. Теплый камень очага греет босые ноги ребенка, стены своего жилья горцы делают из камня, а также жернова водяных мельниц (ветряных у нас нет) и ограды. Косы, кинжалы, пояса точили на камне. И стреляли по врагам мои земляки, лежа за камнем, и отдыхали, сидя на камне, и раненые опирались на камень, и погибали люди часто от камня, сорвавшегося со скалы. Камень, наконец, становится

надгробием жителя гор, сохраняя его имя на долгие годы. Камень сопровождал горца от рождения до смерти, он «общался» с ним каждый день.

Поэтому так часто встречается камень в горской поэзии, как, скажем, березка в русской. Образ камня в поэзии горцев — явление совершенно естественное. Каждый поэт — известный или безымянный — беседовал с камнем, вверял ему свои горькие мысли, как бы учась у него стойкости и терпению. Поэты всегда знали, что камень — самый древний свидетель всего, что происходило на земле, что он облит потом и кровью отцов, что он видел их мужество, свадьбы, похороны, радость, слезы, торжества и беды. Поэтому камень постоянно присутствует в нашей поэзии, как живое существо, понимающее человека.

Большое место в устной поэзии горцев занимает тема защиты родной земли и борьбы с ее врагами, тема мужества, самоотверженности и преданности родине. Мужество и стойкость мужчин — вот та черта, которую горцы возвели в культ. На этих качествах держалась свобода родной земли. Без них невозможно было жить, когда жизнь была столь сурова. Для горцев трус являлся самым жалким существом на свете. Даже родная мать самым ужасным в жизни считала быть матерью труса, это для нее было хуже смерти. Когда проклинали женщину, ей говорили: «Чтоб ты родила сына-труса!» Мужество и храбрость, честность и совесть почитались повсюду, а в условиях горской жизни они были особенно необходимы. Эти человеческие качества, разумеется, и теперь драгоценные. Даются они не каждому, так же, как талант и красота. О том, чем для жителей гор являлась храбрость, хорошо сказано в чечено-ингушской «Старой песне»:

Там, где синюю птицу настигнет мрак,
Эта птица уснет и спит.
Где лихому джигиту встретится враг,
Там падет он иль победит.

Пасть или победить — было девизом горцев, оставалось законом их жизни в течение многих столетий. Горцы и после смерти хотели лежать в земле только под сенью любимых гор. Об этом тоже сложена не одна песня. Наши предтечи — безымянные поэты возвеличили родную землю, ее сынов, ее пахарей и защитников, ее мастеров и героев. Имена тех бескорыстных поэтов забыты. Они и не искали известности или славы. Они оставили потомкам,

пестареющие песни, полные ума, таланта, фантазии и благородства.

Сказанное о воинственности горцев, о культе мужества и смелости, который прививался жителю гор с самого детства, вовсе не означает, что у наших народов не были в почете доброта и человечность. Нет, эти вечно живые свойства человеческой души, без которых человек не был бы человеком, очень ценились в горах, как и повсюду, где живут люди. Горца с малых лет учили быть храбрым и даже беспопачным там, где это необходимо, и быть добрым и человечным, где это возможно. Без человечности нет и мужества, без доброты не бывает и стойкости, подвиги совершаются только во имя благородных целей, ради человечности и справедливости. Между справедливым и несправедливым горские крестьяне проводили четкую границу. Они хорошо знали, что жестокость не имеет ничего общего с мужеством, ибо герой благороден всегда.

Во всем мире известно горское гостеприимство. Для гостя в доме постоянно держалась постель, давалась лучшая еда, чаще всего резали барана в его честь, даже выделялась для гостей комната, которая называлась купацкой. В горах существует проклятие: «Пусть твой дом будет тем домом, куда не приходят гости». Житель гор принимал даже кровника — своего злейшего врага, если он приходил к нему как гость, и не только сам не трогал, но и никому не давал его обидеть, пока тот находился в его доме и был гостем. Суровая жизнь, вынуждавшая людей порой идти на жестокость, рождала и прекрасные обычаи, неписанные законы, которые защищали людей, спасали им жизнь. Вот один из них. Если горец гнался за своим врагом, чтобы его убить, а тот успевал добежать до матери своего преследователя и прижимался лицом к ее груди, то враги становились братьями, приходил конец вражде, а родители каждого из них могли спать спокойно, не боясь, что их сын будет заколот кинжалом за любым поворотом каменистой дороги. Все это не сказка, не выдумка. Так было в жизни.

Матери-горянки над колыбелями детей пели такие же нежные песни, полные забот и тревоги, как все матери на свете. В горах юноши девушкам говорили такие же слова любви, пахнущие цветами и плодами, чистые и горячие, как и все юноши на земле. У любви, как и ненависти, один цвет и язык повсюду. А потому думать, что горцы

Кавказа в прошлом были более жестокими, чем жители других краев, не только неверно, но и противоестественно. Они были людьми, как и все живущие в мире, в них было и хорошее и дурное, как и у всех людей. Когда вдова оставалась с маленькими детьми, ей помогал весь аул: одни снабжали ее зерном, другие — картофелем, третьи — мясом, четвертые — дровами.

Если, скажем, потоком на горном пастбище уносило чей-нибудь скот, то попавшему в беду помогали всем селением.

Если сгорел чей-нибудь дом, аульчане строили ему новый. Когда женился молодой человек, ему также оказывали большую помощь.

Уважение к старшим, внимательное отношение к старикам и детям было обычным явлением в горах, неписаным законом. Конный, догнав в дороге старшего, идущего пешком, слезал с коня, уступал его старшему, а сам шел пешком. Все это кажется мне замечательным и говорит о высокой этике горцев Кавказа, об их уважении к человеку: а ведь писалось в иных книгах о постоянном желании горца убить человека, о том, что жители гор каждую минуту хватаются за кинжалы, размахивают ими, орут, суетятся, не слушают друг друга. Создатели подобных «художеств», видимо, стремились подчеркнуть темперамент горцев. Так делают в плохих спектаклях плохие актеры. Моим землякам нельзя отказать в темпераменте, но он у них совсем другой и по-другому проявляется. Я хорошо знаю, что в горах человека с малых лет учат сдержанности. Она очень ценится у нас. Даже есть поговорка: «Сдержанность — чистое золото». Горцы не любят суетливых. Самой часто встречающейся надписью на саблях и кинжалах была: «Без нужды не выпимай!» В горах за оружие хватались только в крайнем случае.

Убийца был обречен на проклятие и презрение. Жители гор относились к оружию очень осторожно — они знали, что шутки с ним плохи. Я не встречал ни в жизни, ни в нашем фольклоре, чтобы хвалили человека за ничем не оправданное убийство. Нет, в горах Кавказа знали цену жизни и не шутили с ней. Я не говорю, что не было исключений и не происходили жестокие, ничем не оправданные убийства. Конечно, они были у нас, как и везде, но я веду речь о народном отношении к человеческой жизни и к убийству.

У наших народов существовала, как известно, кровная месть: одно убийство вызывало другое. Зло повсюду рождает только зло: проклятая цепь, которую трудно разорвать. Вопрос о кровной мести у горцев Кавказа недостаточно изучен, хотя о нем много говорили, много писали. Но причины ее возникновения, как мне кажется, серьезно не вскрыты. Мы знаем, что ничто на свете так просто не возникает. Горцы, знавшие цену человеческой жизни, все же считали, что за отпугнутую жизнь надо отвечать жизнью, за кровь платить кровью. Этот древний закон кавказские горцы считали справедливым. Долгие времена они мстили друг другу, отнимая у детей отцов, кормильцев. Кровь на земле проливалась всегда — по разным причинам, под самыми разными предлогами и далеко не одними только горцами Кавказа. Если бы собрать всю человеческую кровь, пролитую за долгие века, получилось бы самое большое море на свете. От их ужасного обычая кровной мести горцев спасли только Октябрьская революция и Советская власть.

Жители кавказских гор знали цену уму, высоко ставили человеческий разум. Этому их учил накопленный веками опыт. Лучшие поэты Кавказа учились у народа и безымянных создателей устной поэзии сдержанности и внутреннему темпераменту.

Столетиями народы гор создавали свои песни, среди которых встречаются произведения самого разного характера — героические поэмы о древних богатырях — нартах, — где есть и Прометеев мотив похищения огня для людей, эпические песни о подвигах и мужестве героев, об их жизни и гибели в боях. В горской устной поэзии большое место занимают лирика, охотничьи, бытовые, трудовые, шуточные и колыбельные песни, причитания над погибшими и умершими. Народной поэзии горцев присуще большое жанровое разнообразие. Многие старинные песни горских народов не имеют рифмы или в них присутствует случайная рифма. Существует понятие «старые и новые песни». Думаю, что к последним относятся произведения, лирические по преимуществу, созданные с начала двадцатого столетия. В них уже есть рифма и обычно рифмуются только четкие строки в строфе. Так обстоит дело, в частности, с карачаево-балкарскими «новыми» песнями.

Многие из старинных песен гор говорят о тяжелой жизни крестьян, об их бесправном положении

и пужде. В карачаево-балкарской песне о старике Атаби сказано:

Жарят-варят, ждуд пменитых господ,
Что ни день, что ни ночь, пир горою пдет,
Пьют, гуляют богатые гости,
Атабию бросают лишь кости.
Стар бедняк Атаби, кости не разгрызет.

Бедняк Атаби находился в таком унижительном положении, что ему, как собаке, бросали обглоданные кости. Он был доведен до такого озлобления, что убил сына своего угнетателя — самый отчаянный шаг, на какой только мог решиться крепостной крестьянин. Он стал убийцей, не желая этого, на такое решение толкнула его невыносимая жизнь. Я хорошо помню эту песню, ее пели чегемские пастухи в мои мальчишеские годы. Народ не считал старика Атаби убийцей, его месть крестьяне принимали как справедливое возмездие.

Вопрос этот далеко не праздный.

Горские крестьяне считали, что оскорбленный человек имеет право на месть. А это означало: не оскорбляй, не угнетай, не унижай человека, иначе придет возмездие! Подобное воззрение противоположно христианской морали, непротивлению злу насиллием, хотя христиане убивали себе подобных не меньше, чем люди других верований. Правда, у горцев тоже существует присловие: «Кровь не смывай кровью!» Но ведь люди живут не по изречениям.

В народных песнях со всей обнаженной правдивостью выражена жизнь, полная противоречий, трагедий, бед и надежд трудящихся людей. Вот еще одно свидетельство бедственного положения горских крестьян, которых одинаково жадно обирали свои богатей и царские власти. В кабардино-черкесской песне «Жалоба крестьянина» бедняк горько сетует:

Ссем кукурузу мы,
Да не мы едим.
Ни тюрьмы, ни сумы
Мы не избежим.

Горькие, правдивые слова этой песни подобны камням, которыми бедняку хотелось бы забросать своих грабителей.

В горских песнях закреплена непаваемость крестьян не только к местным феодалам и богачам, но и к царизму, его сатрапам. Обратимся к той же песне. В ней есть и такие строки:

Бедному да слабому
 Нет нигде пути.
 Ходит писарь с грамотой,
 Говорит: «Плати!»

Загалдят начальники
 Громче индюков,
 За долги вчерашние
 Заберут быков.

Называют податью
 Истинный грабеж.
 Покинуть бы родину,
 Да куда пойдешь!

Неужели, господи,
 Не сожжет заря
 Все законы черные
 Белого царя!

Такие слова в комментариях не нуждаются, но в песнях, в которых отражены тяжкая доля народа, нужда и бедствия крестьян-бедняков, слышится не только горький голос жалобы, но и голос смелого протеста. Народ, выражая свое горе и боль, страдания и беды, нужду и гнет, оплакивая павших и умерших, никогда не отрицает жизнь, не считает ее бессмысленной и ненужной. Для этого он слишком мудр, мужествен и стоек. Народ возвышает своих героев и защитников, прославляет храбрость и трудолюбие. Это характерно вообще для народной поэзии, на каком бы языке она ни создавалась. Делать свое дело — пахать землю, пасти скот, возводить жилье, растить детей, защищать от врагов свой очаг, жить, как бы трудно ни приходилось, жить, преодолевая любое горе, любую беду, — вот задача и долг человека, по мнению лучшего на земле поэта — народа. Об этом же и большинство народных сказок. Трудиться и жить — основа философии горских крестьян, сложивших в родных горах наши лучшие песни. Они были слиты с горами, колосьями, водой, травой, деревьями, камнем, снегом, дождем, солнечным и лунным светом, огнем, горевшим в очагах, — всем сущим на земле, всем, что было дорого. У горцев, всеми корнями крепко связанными с землей, и песни рождались, похожие на них самих.

Несуетливо жили наши крестьяне, пахали землю, собирали урожай, тесали камень, слагали песни, глядя на дождь и снегопад, на звезды и облака, беседуя с деревья-

ми и скалами, любя родную землю и веря в ее бессмертие, как и в вечность солнца, неба, звезд и облаков. Эта вера оберегала их от отчаяния, помогала переносить нужду и тяготы. Народ никогда не был пессимистом. В этом могучая его сила и сила созданной им поэзии — песен, сказок, пословиц, шуток.

Подтверждением сказанного является также и образ вечного Ходжи Насреддина. Идущий через века, побеждая все, мудрец, вольнодумец, поэт и весельчак одновременно, он придуман трудовым Востоком для утверждения непобедимости народа и человека, неисчерпаемости их энергии, находчивости, неутомимости, для утверждения бессмертия ума, смелости и таланта. У нас в горах даже бытует присловие: «Тот день, когда не будет произнесено имя Ходжи Насреддина, станет последним днем мира». Значит, такого дня не может быть, чтобы где-нибудь и кто-нибудь не назвал имя любимца всех народов Востока. Наши крестьяне, помню, часто начинали разговор словами: «Как сказал Ходжа Насреддин»... Народ всегда оставался великим оптимистом. Потому его воображение и ум создали образ Ходжи Насреддина, образ, ставший одним из мировых литературных типов и вошедший в духовную сокровищницу человечества наравне с Дон-Кихотом и Гамлетом.

С детства помню, что даже на свадьбах пелись не только свадебные, застольные, любовные, шуточные, но и песни о героях и подвигах. Они там не были лишними, считались необходимыми. Это было традицией, воспитывающей в молодых людях любовь к Родине и подвигам, прививающей мужество и чувство собственного достоинства. Песни о героях и подвигах исполнялись каждый раз, по какому бы поводу ни собирались жители аула. Приведу несколько строк из кабардино-черкесской песни «Кербеч», которая представляется мне характерной для такого рода песен горцев:

Чтобы от недругов край свой сберечь,
Не затевают длинную речь.
Коня вороного седлает Кербеч,
Храбрых джигитов сзывает Кербеч, —
Им по руке и кремневка, и меч —
Недруга грудью встречает Кербеч,
Саблей кровавой сверкает Кербеч,
Головы вражьи срубает он с плеч.
В бегство врагов обращает Кербеч.

Над нами на небе одна луна,
 Под нами тропа на земле одна.
 На этой тропе есть кровавый след.
 И мертвые есть, а трусливых нет.

Труд, как основа жизни, изображен и воспет безымянными поэтами гор в полную меру. Чем земля скунее, тем больше труда она требует от человека. Жителям гор приходилось проливать много пота на своей каменистой земле, но они не проклинали ее и трудились день и ночь, добывая свой тяжелый хлеб. Они свои скудные клочки каждый день очищали от камней, поливали, и земля вознаграждала терпеливых тружеников. Об этом говорится в осетинской «Песне большой осени»:

Осень, осень, добро пожаловать,
 Будешь бить ты нас или жаловать?
 Эй, жнецы, молодые и сильные,
 Пусть серпы ваши будут звонкими,
 Пусть и камни ваши точильные
 Будут крепкими, да не ломкими.
 Ой, серпы ваши блещут в жите.
 Жните, жните, домой не спешите.

К трудовым песням примыкают бытовые и шуточные, между ними трудно провести четкую границу — так переплетены все эти мотивы. На долю людей часто выпадают всякие трудности, тяготы, беда и горе. Поддержкой для людей всегда были не только те произведения изустной поэзии, в которых воспеваются выносливость и стойкость, но бытовые и шуточные, которые всегда останутся замечательнейшим явлением народного творчества, народной фантазии и воображения. Крестьяне понимали, как прекрасен смех, спасающий людей от уныния, — ничем незаменимая поддержка в тяжкий час, избавляющая от горестного состояния души. В горах любили веселые шутки, прибаутки, загадки, игры. С любовью, с особой нежностью относились к шутникам, остроловам и забавникам. На Востоке говорят, что один шутник, едущий на осле по улицам, для здоровья людей нужнее сотни врачей.

Об угнетенном и несправедливом положении горянки написано много, хотя, к сожалению, чаще всего плохо. Нет спора, в прошлом горская женщина знала и гнет и несправедливости, но когда плохие литераторы пишут, что горянка день и ночь была занята только тем, что плакала, что горцы к своим женщинам относились по-зверски, согла-

ситься с этим никак нельзя. Не надо оскорблять память мудрых пахарей, пастухов, дровосеков и ашугов! Хочется напомнить авторам подобных книг, что уважение к матери, например, всегда оставалось для жителя гор первой заповедью. Сыновья, даже став седобородыми мужчинами, чутко прислушивались к ее мнению, а ее опыт и мудрость ставили куда выше своего ума. Осмелюсь утверждать, что и к жене горец относился не хуже, чем жители других земель. Этим я вовсе не утверждаю, что среди обычаев горских народов, касающихся отношений между мужчиной и женщиной, так же не было несправедливых и негодных. Они были, но ныне отвергнуты самой жизнью. Бить женщину, например, у горцев считалось позором. По обычаям горцев женщины не занимались тяжелым мужским трудом — не косили сено, не пасли скот, не возили дрова — у них хватало других забот. Образ женщины в нашем фольклоре живет во всей своей сложности — с радостью и горем, любовью и болью, угнетением и сердечными порывами.

Самое сердечное и нежное, что было в горянке, осталось в колыбельных песнях. Каждая мать шела колыбельную с любовью к ребенку и тревогой за него. На свете нет сердца чутче материнского. Мать первой слышит и щелканье волчьих клыков в темноте ночи, и шуршание дождя в ветвях чинары на рассвете. Материнская любовь и материнская тревога за судьбу детей породили в горах замечательные колыбельные песни, в которых созревание колоса и свет звезды перед рассветом, когда мать поднималась и, босая, мягкими шагами проходила к колыбели, чтобы дать грудь проснувшемуся ребенку. Нет на свете песен человечней и прекрасней колыбельных. Таковы и горские колыбельные. В них — человеческая и глубокая сущность жизни, которая не поддается объяснению и толкованию. Мне кажется, что истоком всей мировой лирики была колыбельная песня. Ее покоряющая сила неотразима, в ней — материнское сердце, которое вместило всю радость и все горе мира, всю нежность и все тревоги на земле. Мать качала колыбель, тихо напевая, — и в тот час, когда ее муж, отец ее ребенка, кормилец семьи, мирно спал глубоким сном, и в ту ночь, когда он уже лежал в той земле, которую пахал. Я люблю наши колыбельные с их непередаваемым припевом «Ляу, ляу, ляу». Каждый раз, когда повторяют этот припев,

я слышу голос моей матери, вижу, как желтеет подсолнух в нашем огороде перед домом в Чегеме, слышу, как шуршит дождь в ветвях зеленых чинар и звенит ручей. Я сижу, прикрыв глаза, повторяя колыбельную песню, и ко мне возвращается мир моего детства. Мать легкой походкой идет по двору, неся ведро воды или молока, молодая и стройная, без седины и морщин!.. Я завидую только тому поэту, который может написать настоящую колыбельную.

«Надев бурку, за прошедшим дождем не гонись». Это впервые сказал, конечно, горский труженик. И был он истинным поэтом. В его словах слились мудрость и поэзия. В них какой-то углубленный, без тени отчаяния, взгляд на жизнь, трудный житейский опыт, освещенный светом народной души. И этот свет мудрости делает долговечными пословицы горцев. В них слиты меткая мысль и живописная образность. Они действуют неотразимо, став той истинной поэзией, сила которой до конца непостижима и необъяснима. Замечательными образцами поэзии остаются пословицы и поговорки горских народов Кавказа. Их образность, национальный характер и особенность действительно неповторимы. Они порождены самостоятельным опытом каждого из народов и в то же время освещены общечеловеческим светом. Им конкретное национально-образное выражение придает поэтичность, емкость и самостоятельность, делает горские пословицы явлением духовной культуры человечества. Наши пословицы кажутся мне большой школой и для современных поэтов, они учат не только краткости и сжатости, но и точности образов, ошеломляющих своей неожиданностью и в то же время покоряющих естественностью.

Горские пословицы так замечательно отчеканены, так точны, мудры, образны, что стали высшим достижением поэзии горцев. При всей глубине и меткости мысли, в них нет тона наставления, дидактики, поучения. Осязаемая образность делает их поэзией. Некоторые из народов гор свои пословицы называют нартскими словами. Да, конечно, эти могучие слова, побеждающие неумолимое время, достойны благородных богатырей — нартов. Умирали те, кто сказал эти слова, изнашивался плуг, ветшали и рушились жилища, а богатырские слова-пословицы оставались. И мы повторяем их. Став нетускнеющей мыслью и поэзией, живет в них весь прекрасный мир родных гор, а также

ум и сердце народа, его чувства. Горские пословицы — большая наука и большая поэзия одновременно. Их свет постоянно ложится на нашу дорогу, помогая лучше понять ум и глупость, честность и коварство, сердечность и хитрость, помогая лучше разбираться во всех человеческих качествах, лучше понимать жизнь.

Пословица, подобно самым необходимым орудиям труда, служит людям в повседневной жизни. Когда мне было тридцать, я постоянно записывал карачаево-балкарские пословицы. Однажды на сватовстве девушки, где присутствовали и старики, за несколько часов я записал двадцать шесть пословиц. Среди них были настоящие шедевры, которые вошли теперь в том нартских слов, изданный на моем родном языке. Этот пример говорит о том, что горцы не расстаются с пословицами, пользуются ими для подкрепления своего отношения к тому или иному явлению жизни. Они считают их самыми лучшими словами, а мысли, заключенные в них, самыми мудрыми на свете. Когда у горца все хорошо, благополучно, то, желая подчеркнуть, что человек от счастья не должен стать кичливым, спесивым, не должен зазнаваться, обычно говорят: «Не плачь, когда у тебя всего мало, не гордись, когда всего много». Если житель гор недоволен сыном, он скажет: «Не бойся, что не будет сына, а бойся, что будет плохим». А в тяжкий день, когда он потерял близкого человека, ему на помощь приходит изречение: «Жизнь — истина, но и смерть — тоже истина». И так — по каждому поводу — в час радости и в час горя, на свадьбах и похоронах, на площади аула, где вечером обычно собираются мужчины и сидят, беседуя, или у домашнего очага, в дороге, на пахоте, пастбище — словом, везде, где сойдутся хотя бы два человека.

Наши пословицы созданы философами и поэтами гор — пахарями и каменотесами, пастухами и дровосеками, которые не могли увековечить свои мысли в фолиантах и томах. Изречения рождались за сохой, у пастушеского костра, под звездным небом, в дороге или у очага. И остался жить вместе со звездами, лунным светом, хлебом и водой. Они были рождены жизнью. Их главная сущность — правдивость и точность. Они выражают глубину, непосредственность и совесть народной философии. Они будут жить до тех пор, пока будут живы языки, на которых они созданы.

Может быть, у тех, кто высекал из своего ума и сердца эти изречения, эти несравненные слова, не было в достатке даже кукурузного хлеба. Возможно, они не имели даже сносной одежды, но зато они были подлинными поэтами и мыслителями. Лишь очень большой ум и талант могли высечь изречения, уцелевшие во времени, беспощадная работа которого сохраняет для жизни только шедевры. Хочется еще раз подчеркнуть, что горские пословицы — это не только мудрость, выраженная наиболее сжато, но и высшая поэзия, потрясающая своей образностью, осязаемостью и конкретностью.

Писать о пословицах трудно. Они лаконичны и выразительны. Каждое мое слово о них кажется мне беспомощным и бесцветным. Несмотря на определенный литературный опыт, я робею перед их силой. Повторяю: пословицы — лучшее наше поэтическое сокровище, на языках горцев не создано ничего более прекрасного. Они — наше бессмертие. Личного бессмертия нет, есть коллективное бессмертие людей, их труда, их общих условий, совместных стремлений. Каждый, уходя из жизни, оставляет живым свой опыт, умение, мастерство. Так передавались умение пахать землю, печь хлеб, строить жилище, ковать оружие, слагать песню. Люди учились на опыте живших до них. И во всем этом велика была роль слова, без которого мир стал бы немым.

Мы говорим о слове равном хлебу. Такими словами и являются пословицы горцев — богатырские слова. Большое счастье и утешение для людей, что свет их мудрости не погаснет никогда. Мы верим в то, что нет конца жизни и слову. Крестьянин, оставивший людям хоть одну из этих пословиц, — как я сегодня завидую тебе! Я говорю о тебе с робостью и благоговением. Твое слово — вечное дерево, оно постоянно дарит мне свою тень. Ты мой предтеча и мой учитель. Я вижу тебя идущим за плугом или за стадом, скачущим по ущелью в звездную ночь на копе с потным крупом, сидящим на древнем камне и глядящим на вечерние сумерки, опускающиеся на каменистые дороги и синие снега хребтов; я вижу тебя с твоими заботами о хлебе, сене, дровах; вижу глядящим на дождь над скалами и кремнистыми дорогами, на мокрый луг или двор. Так и рождались в твоей голове крылатые слова, как те птицы, которые ты видел в детстве. Они вылетали из твоей головы в те мгновения, когда ты в худом бешмете

сидел в маленьком дворе перед своей саклей, а в очаге женщины пекли ячменный хлеб. Ты, полный обычных крестьянских забот, и не знал, конечно, какой долгий путь сужден слову, что родилось в твоей голове. Ты смотрел на звезды вечности, нисколько не заботясь о бессмертии. Я люблю тебя такого — простого, естественного, как дерева, великого поэта. Я благодарю тебя через хребты времени. Драгоценные слова созревали в твоей душе, как колос на клочке земли, который ты так старательно пахал, они созревали, чтобы через столетия удивлять и меня. И я сегодня произношу, как молитву, слова преклонения перед тобой, перед твоей мудростью и талантом. Твоя мысль и слово стали бессмертием тех, кто жил рядом с тобой. Я преклоняюсь перед тобой за то, что твоя мысль и слово стали светом души народа!

Общеизвестен интерес классиков русской литературы и ученых востоковедов к устному творчеству кавказских горцев. Отзвуки нашей народной поэзии встречаются в произведениях Пушкина и Лермонтова. Читателям хорошо известен лермонтовский «Беглец», написанный по мотивам горских преданий. Замечательно, что Лев Толстой заинтересовался песнями горцев, читал их в записях, опубликовавшихся в Тифлисе — тогдашнем культурном центре Кавказа, — и дал им очень высокую оценку. Да и в произведениях этого великого писателя ощущается знакомство с изустным творчеством горцев. Я имею в виду, в первую очередь, «Хаджи-Мурата» и «Казаков». Вот, например, в «Хаджи-Мурате» Толстой приводит прозаический перевод двух чечено-ингушских песен, соединив их в одну.

Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твою горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть. Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя копом топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Из этого отрывка нетрудно понять, что песня эта нравилась Льву Толстому, так же, как и горцу Хаджи-Мурату.

Величайшего писателя России удивили песни горцев, и он некоторые из них в буквальном переводе послал поэту Фету, на которого они также произвели большое впечатление. Замечательный русский поэт благодарил за них Толстого и перевел их. Две песни, пересказанные Толстым в «Хаджи-Мурате» поются народом и до сих пор. Само собой разумеется, чтобы вызвать такой интерес у Льва Толстого, песни горцев действительно должны были быть шедеврами. Этот факт вызывает у нас гордость и свидетельствует о том, какие художественные, поэтические возможности таились в народе. И вполне естественно, что еще в прошлом веке русские ученые-ориенталисты заинтересовались горским фольклором. Первым опубликовал на русском языке образцы горских песен И. К. Услар. Это было в середине прошлого века. В его записях, видимо, и читал Лев Толстой те песни, которые ему так понравились. Надо благодарить судьбу за то, что титан мировой литературы Лев Толстой встретился с песнями гор.

В наше время на запись, сохранение и изучение фольклора горцев обращается серьезное внимание. Этим занимаются специальные научные учреждения в каждой республике и области, имеются знатоки народного творчества и хорошо подготовленные специалисты-фольклористы. За годы Советской власти многие произведения горской народной лирики переводились на русский язык и печатались неоднократно. Но первой лучшей книгой такого рода, по моему мнению, явился том «Песни горцев», выпущенный в 1939 году в Москве издательством «Художественная литература» под редакцией Эффе́нди Капнева, которым были выполнены также и переводы многих песен. Считаю своим долгом отметить, что велики заслуги этого

выдающегося писателя в деле перевода и популяризации устной поэзии народов Северного Кавказа. Эффенди Капиев обладал большим талантом, завидной энергией и культурой. Его блистательная деятельность была связана с горячей любовью к земле отцов, к ее поэзии и истории. Он делал свое дело с редкостным тактом и тонкостью.

Думаю, что стоит упомянуть и русского советского поэта Андрея Глобу, переводившего горские песни, которые были включены в сборник его переводов образцов народной поэзии и вошли в книгу «Песни народов СССР», выпущенную в Москве в тридцатых годах.

4

Человек, который никогда не пел или не поет, кажется мне несчастным. Недаром известный певец и сказитель из Чегемского ущелья Исмаил Эттеев, помню, говорил: «Человек с песней — всадник, а без нее он — постоянно пеший». Горским народам, у которых, как известно, до Октябрьской революции не было печати и театра, песни и сказки заменяли книги и театр. Надо сказать, что ни один народ никогда не обходился без поэзии.

Современная письменная поэзия горцев выросла из устной, в своем развитии опиралась на нее, как опиралась на русскую и мировую литературу. Даже самые крупные поэты гор учились у безымянных художников слова и продолжают учиться. Достаточно назвать имена таких мастеров, как Коста Хетагуров, Кязим Мечиев, Али Шогенцуков, Эффенди Капиев, Расул Гамзатов, Алим Кешоков. Каждый из них многим обязан устному слову своего народа. Эффенди Капиев писал: «Эту книгу песен дагестанских горцев я посвящаю скромным камешникам — народным певцам моей родины».

А Расул Гамзатов говорит: «Текут многочисленные реки и ручейки, то широкие, то узкие, то шумные, то спокойные. Различна их глубина, но все они берут начало из горных родников. Реки порой мутнеют, ручейки пересыхают, не дойдя до моря, но вечные и чистые воды горных родников не могут помутнеть. Сколько бы из них ни пили, они не иссякнут. Народные песни — это горные родники, откуда берут начало ручейки и реки, сливающиеся в бурном море советской поэзии».

И я, скромный ученик безымянных, по великих песнопевцов родных гор, счастлив повторять чародейные слова, которые с детских лет стали для меня благом и сокровищем, радостью и утешением. Я, знающий пыле Данте и Шекспира, Пушкина и Мицкевича, Руставели и Хафиза, склоняю голову перед силой таланта безымянных поэтов моей древней земли. С тех пор как родились эти песни, прошли столетия, освещенные грозами и окутанные туманами, но порывы и свет души народных песнопевцев дошли и до меня. Я как бы коснулся рукой святого колоса тех времен или благородной стали кинжала старинной работы. Безымянные поэты гор, песни которых удивляют нас своей художественной силой, красотой и чистотой, еще раз убеждают: как прекрасно хорошо сделанное дело, какое чудо талант!

1971—1972

АШУГ

Маленький аул Кам в верховьях Чегемского ущелья стоял над высоким каменистым берегом реки Чегем. С западной стороны на его плоские крыши смотрели темно-серые скалы, а с восточной — склоны, где летом крестьяне косили сено. В этом ауле жил очень интересный человек. Мне необходимо рассказать о нем. Его звали Исмаил. Ему вполне подходило его звучное имя. Он был ашуг. Мне хочется, чтобы о нем знало как можно больше людей. Он достоин этого, ибо не было в Чегеме такой свадьбы и праздника, где бы ему не радовались люди. Он украшал их торжества песнями, рассказами, сказками, своим живым нравом, остроумием и мужественно-роскошным обликом.

Его, близкого родственника моего отца, я хорошо знал с детства, запомнил навсегда. Аул Кам находился в нескольких верстах от нашего селения. Исмаил бывал у нас часто. Усы у него были так длинны, что он их закладывал за уши, а кулпевские невестки, в их числе и моя мать, называли его «Длинноусым» (горянки не имели права называть родственников мужей их настоящими именами и давали им прозвища). Исмаил был высок ростом. Зимой чаще всего ходил в шубе из волчьих шкур, в папахе коричневого цвета, не расставался с палкой, которая имела четырехгранный железный накопечник. Такую палку, необходимую для скалолазов, балкарцы и сваны называют мужра. На поясе у ашуга висел кинжал — в будни в простых черных пожах, а по торжественным случаям — по-

крытых серебром или даже позолоченных. Энергичное, мужественное лицо сказочника было прекрасно. Он улыбался замечательно, так бывает чаще всего с талантливыми людьми, душевно щедрыми и доброжелательными.

Таким я запомнил ашуга и сказочника Исмаила из мужественного рода Эттеляры. Его появление в нашем дворе для нас, детей, всегда было радостью и праздником. Еще бы! Он рассказывал нам такие сказки! Их ни от кого другого мы не могли услышать. Мы часто, стоя у дверей сакли, слушали песни, которые он пел на свадьбах. Он для нас был волшебником и кудесником. Люди в наших горах до сих пор повторяют рассказы, сказки, остроумные ответы Исмаила по разным поводам. Я и сам это делаю. Так остались с живущими имя и слова ашуга Исмаила. Не зря горцы издавна говорили: «Хоть мы и умрем, но наши слова будут повторять живые».

Чегемский сказочник славился не только умением петь и рассказывать. В старое время, когда не было никаких машин, за невестой, чтобы привезти ее к жениху, по обычаю, полагалось отправлять большую группу всадников. Ехать приходилось не только в ближние селения, но далеко, как горцы говорили, в чужие края. У нас это считалось одним из самых сложных, трудных и ответственных дел. И обычно такую группу возглавлял умный, находчивый, толковый человек; хорошо владеющий словом, чтобы не опозорился не только род жениха, но и родной аул. Исмаил чаще всех в Чегеме возглавлял всадников, ездивших за невестой. С этой миссией он часто бывал и у соседних народов — в Кабарде, Карачае, Осетии. Многие остроумные рассказы и анекдоты об ашуге, которые не забыты и сейчас, связаны с этими поездками.

Вспоминать Исмаила, говорить о нем — радость и наслаждение для меня, потому что он был красивым, ярким человеком, созданным для радости людей, для украшения их жизни, как светлая душа и большой талант. Приведу только один небольшой рассказ моего любимого земляка, который слышал от него самого.

На очередной свадьбе в ауле Исмаила, как всегда, попросили петь. Он спел веселую песню «Открой, красавица, мне дверь!» Один из подвыпивших аульчан, очень гордившийся тем, что он состоятельный человек, решил смутить ашуга и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Несчастный Исмаил! Когда ты образумишься!

— Когда ты станешь умным и добрым! — ответил ашуг.

— Всю жизнь трещишь, как сухой бубен! — продолжал гордец.

— Сухой бубен куда полезней и приятней тебя! — съязвил Исмаил.

— Неужели петь песни и рассказывать сказки ты считаешь делом, достойным серьезного мужчины? — не унимался спесивый человек.

Тогда ашуг спокойно приподнялся и, заложив усы за уши, также спокойно сказал:

— Верно, почтенный, я никого не бью плеткой. И ты имеешь основание считать меня несерьезным мужчиной. Каждому свое — у тебя плетка, а у меня — песня. Тебе нравится, когда люди плачут, я же люблю, когда они радуются. Так знай же: человек с песней — это всадник, а без нее он пеший. Вот ты, хотя у тебя целый табун лошадей, и есть тот пеший, которому за мной не угнаться!

Народу было много. Все смеялись, довольные ответом своего любимца. Спесивец же вынужден был оставить свадьбу, побежденный и посрамленный тем, кого он называл несерьезным мужчиной.

Ответ Исмаила точно определяет отношение горцев к песне. Да, они с ней оставались всадниками в любых условиях. Она являлась светом их души, их опорой, поддержкой и утешением в горький час, ароматом родной земли, была им так же необходима, как и крыша над головой. Во все времена жили в горах такие, как Исмаил, удивительные поэты и сказочники. Не зная грамоты, они слагали такие песни и сказки, которые способны состязаться с лучшими созданиями мировой поэзии. Ашуги и сказочники были простыми крестьянами-пастухами, пахарями или каменотесами. Одним из таких ашугов и сказочников был Исмаил из рода Эттеляры, славный чегемец, мой чудесный земляк.

Мой чегемский всадник и сказочник Исмаил! В моем детстве в горах ты дарил мне свои сказки — свет своей души, поэзию и мудрость родной земли. Ты один из моих учителей, волшебник родного слова. Тебя давно нет, но мы повторяем твои слова, похожие на звезды над хребтами. Благодарю тебя, сказочник и поэт моих гор!

ТАЛАНТ И МУДРОСТЬ

1

Каждый народ, независимо от его численности, прошел длинный путь. У каждого большая жизнь, большая судьба, большая память. Каждый терпелив и мудр.

Не составляет исключения и немногочисленный балкарский народ, живущий в ущельях и предгорьях Центрального Кавказа, между Эльбрусом и Казбеком, одна из коренных национальностей Кабардино-Балкарской АССР. Его предков называли половцами или куманами, язык которых закреплён в книге «Кодекс-куманикус». Он абсолютно совпадает с нынешним живым языком балкарцев.

Кязим — крупнейший поэт Балкарии. Он мало ещё известен за пределами родного края. Но это обусловлено многими причинами.

Никогда не забуду мою поездку в горы летом 1940 года. Тогда со мной были московский художник и литератор. Мы приехали в аул Безенги. Выше машина подняться не могла. Над ним висели снежные горы так близко, что мне подумалось: если подняться на вершину знаменитой Дых-Тау, надеть бурку и, раскинув её полы, броситься вниз, то упадёшь прямо в этот аул. Нам нужно было идти в Шики. Там жил человек, который вошёл в мою жизнь с самого моего детства. Я обожал его.

Детишки играли на плоских крышах, как при Лермонтове. Когда наш проводник, мальчик лет десяти, привел нас к малейкому дворику, а сам вошёл в дом, оттуда вышел хромящий старик, опирающийся на большой по-

сох. Это и был Кязим Мечиев, хромо́й от рождения, лучший поэт и мыслитель балкарских гор. Мои спутники, видевшие его впервые, сразу заметили, что этот человек с лицом крестьянина и мудреца всем своим обликом естественно сливается с обликом родных мест. Они очень скоро поняли главное в нем: благородство, мудрость и обаяние.

Чтобы лучше понять поэта, надо побывать на его родине, говорил Гете. К этому надо добавить: чтобы лучше понять страну, необходимо читать ее поэтов. Конечно же, куда глубже понимаешь, чувствуешь и постигаешь поэзию Кязима Мечиева, побывав на его родине, пройдя по тем тропинкам, где он проходил на утренней заре или в вечерних сумерках, где он смотрел на белые горы и зеленые высоты, на крестьянские огороды, притихшую траву, на медлительных волов, пдущих под ярмом. Даже молчащие камни здесь говорят о многом. Все здесь мне кажется книгой, которую раскрыл Кязим в последний свой вечер. Она так и осталась открытой, и я ее читаю, радуясь и плача. Да, родина всякого крупного поэта — всегда раскрытая книга, а поэзия — обнаженное сердце родной земли, оно остается вечно живым и праздничным, несмотря на следы горя и бед. Такова и судьба поэзии Мечиева. Еще в начале века он писал:

Багдад посетил я, увидел Стамбул,
Я в Мекке от тягот пути отдохнул,
Но мне показалось, что вловь я родился,
Когда возвратился в мой бедный аул.

Кто хочет коснуться живого сердца Балкарии, тот должен раскрыть кязимовскую книгу. В поэзии Мечиева, как и в народных песнях и поэмах, прежде всего мы видим честность, искренность и правдивость. Кязим наиболее полно выразил характер балкарского народа. В его поэзии живут гул свадебной пляски и рыдание женщин на похоронах. Она живописна и лаконична, как пословицы. В ней глубоко радость и боль. В ней выражены мудрость, трудолюбие, совесть и стойкость народа.

Кязим Мечиев называл себя посланцем — ходатаем народа. Все беды родины не миновали его сердца. Против произвола и насилия он протестовал перед людьми и богом:

Аллах, аллах, взгляни на горы!

В самом деле:

Их головы от бед и горя поседали!

Чтоб мой народ свободным стал навеки —
Помочь прошу я бога и людей.

Родина Кязима похожа на его поэзию. Когда я приехал в аул Шики, моим глазам открылся мир резких контрастов: белизна снеговых хребтов, зелень долин, шум рек и молчание камня, узенькие кривые улочки аула и широкие склоны, старое ослиное седло из дерева, печальный от усталости ослик с опущенными ушами и грызущий удила горячий конь под добротным седлом, задумчивые тропинки за аулом, а над ними тихие сумерки и рассветы, похожие на кизилковый отсвет. Такие же контрасты мы видим и в поэзии Кязима. Он сделал предметом изображения простые вещи наряду с трагически-высокими явлениями жизни. Он пишет о воробье, который снежным днем сел у него во дворе, и тут же — размышления о старости и смерти. Кязим создает раздумчивые строки о своем старом домике, у очага которого долгие годы слагал стихи, и поднимается до высот трагедии в поэме «Бузжигит». Поэт в незатейливых стихах обращается к своей корове, собаке, кувшину, а в поэме «Раненый тур» с большой и горькой силой выражает беды и боль старой Балкарши. В его поэзии соседствуют желтеющие чинары родных ущелий и песчаные аравийские степи, серый камень и фазан с шеей цвета очагового огня. В ней одинаково сильны живопись и эмоция, мысль и предметный образ.

Кязим Мечиев имел чуткое сердце и меткий глаз.

2

Поэт жил на высокой и прекрасной земле. Он и сам похож на Дых-Тау — так он высится в родной словесности. Для нас он — гора, гора и зеленое дерево одновременно. Мечиев был слит с родной землей, лучше всех понимал ее язык и душу, душу пастухов и каменотесов. Он мог бы сказать о себе словами испанского поэта Антонио Мачадо: «Я ученик народных знаний». Выше всего горские крестьяне ставили справедливость и стремление к ней. Светом той же народной философии освещены и произведения Мечиева. Вот слова того же Мачадо: «Любовь к истине благородней всех иных». Кстати, Мечиев сказал почти то же самое:

Только правде словом я служу,
Только правду чту, как госпожу.

В самые тягостные дни Кязим не терял веры в силу истины и добра. Утверждая, что жизнь тяжела, часто несправедлива и трагична, в то же время он никогда не отрицал смысл бытия:

Мир — тяжкая тропа, где скорбь и горе,—
По той тропе чьи ноги не прошли?
Мир — это взбаламученное море,—
И чьи в нем не тонули корабли?

Сказав такие горькие слова, дальше поэт утверждает, что человек должен жить и трудиться несмотря ни на что, Кязим говорит, что мир, в котором мы живем,— наш отчий дом, наше благо и любовь:

Каким бы ты ни был горьким морем,
Тебя мы любим, ты — наш отчий дом,
Пускай тропу в снегу, — мы с бурей спорим,
Сквозь вихрь и снег мы все-таки идем!

Нам дорого это мужественное начало в поэзии Мечиева. Кязим писал горькие стихи потому, что жизнь была такой и поэт оставался верным действительности. Больше всего любя радость, он часто писал с болью, как говорил сам, потому, что у простых людей на каждом шагу отнимали радость. А ему хотелось, чтобы ее было побольше. Вспомним его «разговор со старостью» или строфы о любви и гибели прекрасного юноши Бузжигита из одноименной поэмы, и станет ясно, что Кязим любил жизнь и потому ненавидел тех, кто ее коверкал, кто чинил насилие над людьми, неся им нищету, рабство и несчастье. Его злейшими врагами всегда оставались жестокость и произвол. Он поклялся никогда не смиряться перед ними и остался верным своей клятве.

Поэт знал, что пасильники, отнимая все, не в силах отнять мысль и песню, мечту и надежду. Он оставил нам об этом замечательные строки:

У нас отнимают и поле,
И хлеба голодный запас,
Но сказки, по песни о воле
Никто не отнимет у нас!

Коль не осталось другого оружия, поэт прибегал к слову правды и гнева. В горе и несчастье человеку помогают выстоять вера в торжество справедливости и надежда. Мечиев принадлежал к тем, кто верил в их силу:

Но в правду веровать, как в хлеб насущный, будем,
Надежду посохом избрав на радость людям.

Поэт старался вооружить мужеством и надеждой своих земляков — чабанов и дровосеков, тех, кто нуждался в поддержке. Его слово внушало достоинство и стойкость. Вот одно из его знаменитых на родине четверостиший:

Кругом жестокий вихрь, тяжелый снегопад,
Но горы, как всегда, без тремета стоят.
В годину бедствия, тревоги и невзгод
Учись у наших гор, несчастный мой народ!

В мою последнюю довоенную поездку в Шики я и мои спутники жили у Кязима несколько дней. Мы видели старого поэта в его сакле, в кругу семьи, в кузнице, среди крестьян, видели его занятого своими повседневными делами и заботами. И сейчас я вижу его идущим по улочке аула, сидящим на камне вечерними сумерками, беседующим с земляками на площади селения, неторопливо раскрывающим томик Хафиза в маленькой комнате с каменными стенами, где находились его книги и где в одиночестве он писал стихи.

3

Все в Кязиме вызывало уважение, все приковывало к нему пристальное внимание моих спутников-москвичей. Был такой случай. В сельском клубе устроили литературный вечер. Кязим сидел с нами за столиком на маленькой эстраде. Он читал первым, читал свои старые стихи, в которых тревоги и беды ночным снегом падают в дымоходы саклей горских крестьян. Кязим читал особенно. Другой такой манеры чтения стихов я не встречал. Еще до того приезда я неоднократно пытался имитировать его манеру чтения. Он смеялся: у меня ничего не получалось. На вечере в Шики, слушая Кязима, все плакали. Плакали старые неграмотные крестьяне и школьники. Затем стали выходить на эстраду один за другим старики и старухи. Они читали наизусть стихи своего земляка. Это не могло не удивить. Такое встречается очень редко. Никакие статьи не могли бы красноречивее доказать истинную народность поэзии Мечиева. Его стихи жили, подобно пословицам, в душе народа, а не определенного круга читающих людей.

В те дни мы, праздничные и счастливые встречи с горами и Кязимом, не знали, что так близка война. Я не ведал, что больше никогда не встречу Учителя, что пожимаю его сухую руку в последний раз, что больше не удастся мне посмотреть в его глаза, в которых горел огонь поэзии. В его глазах — столетия, их муки, радость и боль. Его глаза смотрели на нас как сквозь века, это были глаза народа — зоркие, чистые, полные мудрости и страдания. А улыбка Кязима! Даже старость не заставила ее потускнеть. Другой такой улыбки я не встречал больше в наших горах: улыбка ребенка и мудреца. И поныне я тоскую по ней. Изумительно улыбался этот человек, на долю которого выпадало много тяжкого горя.

Через много лет я снова увидел аул Шики. Аул, где он родился и прожил более восьмидесяти лет, был пуст, полуразрушен. Кязим умер в Талдыкурганской области Казахстана. Прекрасные глаза великого поэта гор закрылись в далеких степях. А ему так хотелось лежать в благословенной земле отцов — под сенью родных гор!

Гора Дых-Тау все так же белела вдали, речка, вся в пене, по-прежнему неслась вниз, дворик поэта зарос травой, за речкой перед аулом стояла полуразрушенная кузница, как и прежде задумчиво тянулись тропы, ведущие к пастбищам. Опять я увидел на рыжей скале и на зеленой траве тень пролетавшего орла. Удивительный горный мир, полный поразительных красок и величия, мир, воспетый Кязимом, снова сиял передо мною, как раскрытая вечная книга, не подвластный огню и мечу. А Кязима не было.

4

Мечиев родился в 1859 году. Народ его в те времена не имел печатных изданий на родном языке. Кязим свои балкарские произведения записывал арабскими знаками. Он никогда не шел собственные стихи, хотя их пели все близкие — жена, сестры, дочери, сыновья, аульчане. Но читал Кязим, как я уже говорил, прекрасно. Его интонации были то проникновенно-горестные, то сурово-энергичные, похожие на орлиный клекот, то задорные, как при рассказе народного анекдота о Ходже Насреддине, то мягкие, как шелест травы или дрожание зеленого листа.

Отец поэта — Бекки, неграмотный крестьянин, говорят, знал многие ремесла, и за это его ценили горцы. Ему хо-

телось, чтобы сын учился. Может быть, надеялся увидеть его муллой. Так начал учиться арабской грамоте будущий классик балкарской поэзии. Потом он много лет скитался по арабскому и тюркскому Востоку, изучал классическую литературу и языки. Кроме арабского и тюркских, хорошо знал персидский язык. Куда бы Кязима ни вела нелегкая дорога, он носил в душе облик родной земли. Но в то же время он желал добра не только своему аулу, но и всем селениям на свете, где работающие люди с таким же трудом добывали себе насущный хлеб, как и горские крестьяне. Кязим писал, что всюду богатый живет, как богатый, а бедный, как бедный, сильный гнет к земле слабого, что цвет радости или горя всюду один.

Если бы не боль за обездоленных и гонимых, если бы не острое чувство правды и справедливости, Мечиев не стал бы поэтом в старой Балкарии.

Остается сожалеть о том, что судьба и обстоятельства его жизни не дали Кязиму возможности так же хорошо знать русскую литературу, как он знал восточную. В этом смысле больше повезло его ровеснику Коста Хетагурову, отец которого был офицером русской службы и сумел определить сына в русскую школу. Отец же Кязима, к нашему большому сожалению, не сумел, а может быть, и не хотел этого, ибо не понимал значения подобного шага. Как обогатило бы благородного поэта Балкарии хорошее знание великой русской литературы. Учился он в русской школе, может быть, и поэтическая судьба его стала бы иной.

Четверостишия Мечиева я читаю каждый раз с удивлением. На старом Востоке любили писать четверостишия — рубаи. Мне хочется подчеркнуть, что кязимовские четверостишия отличаются от них не только формой рифмовки (рубаи рифмовались ааба), но и конкретной балкарской тематикой. Это настоящие горские стихи. Мечиев отлично знал великих мастеров Востока, до конца жизни изучал их. Однако он оставался оригинальным художником, верным горской действительности. Но и конкретно — горские темы он поднимал до всечеловеческого уровня. Даже сказанное в такой, казалось бы, чисто балкарской поэме, как «Раненый тур», можно отнести не только к судьбе одного горского охотника и нашего народа. За такую поэму Мечиев мог легко поплатиться, но он сам говорит:

«Посла не казнят» — есть присловье.
 Народ меня сделал послом,
 Чтоб пицее наше сословье
 Своим защищал я стихом.

И дальше:

Народ меня в горе не бросит:
 Я болью народною стал.

5

Поэма «Бужжигит» занимает особое место в творчестве балкарского мастера. В ней горят раны Балкарии и всего Востока, я бы сказал, даже — всего человечества, — так значительно сказанное в ней о любви и труде человека, о смысле бытия, о свободе, добре и зле. Мудрый Зодчий, отец героя поэмы, считает своим счастьем то, что дома, построенные им, стали красотой родной земли и радостью для людей. Он счастлив сознанием того, что в мире, полном жестокости, не заставил плакать ни одного ребенка. Меня каждый раз удивляет монолог Зодчего. Вот что сказано в нем о мастерах и мастерстве:

Пойми: оно безмерно.
 Мудрей и старше нас.
 Без мастерства б, наверно,
 Весь род людской угас.

Рать мастеров несметна,
 В них — свет и мощь добра.
 Да, мастерство бессмертно,
 Хоть смертны мастера.

Твердым убеждением, мудрой страстью и силой дышат эти строки. Какая у них классическая ясность!

Высшим желанием Кязима было, чтобы его труд стал светом для тех, кто в нем нуждался. Не зря же он создавал не только поэтические произведения, западавшие в душу народа, как пословицы, но также ковал железо для крестьян, выручая их ежедневно. Образ Зодчего является как бы образом самого Мечиева.

У нас в горах в обычае слагать песни о трагически погибших. К Кязиму часто приезжали из ближних и дальних аулов с просьбой сложить песню о погибшем родиче. И поэт слагал стихи, которые становились песнями. Но они, к сожалению, до сих пор не собраны. Многие рукописи

ранее не издававшихся произведений Мечиева стorerли во время оккупации Налъчика гитлеровцами.

Кязим Мечиев поднял папу национальную художественную мысль на большую высоту, стал для нас образцом поэта. Если есть что-нибудь значительное в нынешней балкарской поэзии, то оно выросло из кязимовских корней. Завещая потомкам свое замечательное наследство, он сказал:

Пришла ко мне старость, как тысяча зим...
Пусть с вами живет мое доброе слово!

Он, конечно, знал цену своему слову. И оно, не потускнев, прошло с нами через все испытания. Мы учились у него. Будут учиться и те, которые придут после нас.

К памятнику К. Мечиева школьники приносят цветы ущелей. Люди чтят его за любовь к ним и прозорливость. Талант долговечен. Поэт и горы смотрят друг на друга. Они были необходимы друг другу. Кязим верил, что вечен мир и бессмертна поэзия. И мы повторяем вслед за мудрым поэтом:

...Но, чтобы в человеке
Свет мысли не погас,
Огонь любви навеки
Горит для нас — и в нас.

1962—1967

Я РАД, ЧТО ЗНАЛ ЕГО

Не могу сказать, что я хорошо знал Эффе́нди Капиева или был с ним близок. Я даже не запомнил, какого цвета были его глаза. Мы были молоды. Началась война. Капиев не дожил до ее конца, но в 1938—1939 годах я несколько раз встречался с этим интереснейшим человеком, истинным поэтом. Никаких высказываний Эффе́нди Капиева, конечно, я не запомнил, однако мне важно вспомнить сейчас не только личное общение с замечательным горцем.

Самое сильное впечатление у меня осталось от обсуждения книги «Резьба по камню» в Союзе писателей СССР, кажется, в 1939 году. Участники этого разговора высоко оценили книгу. На меня же она произвела ошеломляющее впечатление. Думаю, я не столько понял тогда ее значение, сколько ощутил ее поэтичность, выразительность, колорит. Завидная судьба ждала эту книгу, которую я осмелюсь назвать шедевром горской поэзии.

В предвоенные годы мне также пришлось быть участником заседания в Союзе писателей СССР, где обсуждалось какое-то клеветническое письмо, автор которого пытался очернить Капиева, обвинял, что тот сознательно искажает содержание оригиналов Сулеймана Стальского, как переводчик его стихов. Эффе́нди Капиев горячо защищался, остроумно отводил обвинения клеветника. Он показался мне очень нервным человеком. Думаю, что действительно он был натурой эмоциональной, нервной. Полагаю, что жилось ему нелегко.

Случилось так, что на фронте почти два года я находился вместе с человеком, травившим Капиева, писавшим о нем «разоблачающие» статьи в дагестанской прессе. Тот сам признался мне в этом, говорил, что жалеет, что, мол, понял свою горькую ошибку. Может быть, он притворялся, а возможно, и нет, не знаю. Бог ему судья! Мало ли было их, маленьких хулителей больших поэтов!

Мое общение с Эффе́нди Капиевым не кончилось на нескольких случайных встречах и не кончится, пока я живу. Поэт остается жить в своих книгах, в них его сердце, мысли, все существо. Часто, очень часто я беседовал и беседую с поэтом Эффе́нди Капиевым, еще и еще раз возвращаясь к его прекрасным книгам «Резьба по камню», «Поэт».

Летом 1940 года я уехал на службу в Красную Армию. Вместе с томиками Лермонтова, Тютчева, Блока, Есенина и других необходимых мне поэтов, я взял с собой и первое издание «Резьбы по камню», вышедшее в том же году. Это была книжка маленького формата в твердом переплете стального цвета. Я стал парашютистом-десантником. В той части, где я служил, не было ни одного члена Союза писателей, кроме меня. Меня иногда просили принимать участие в вечерах художественной самодеятельности. На первом же вечере я прочитал панзусь капиевского «Хочбара». Тогда я был пленен этой трагической песней. Интересно, что врачом в нашей части служил земляк поэта, лакец доктор Исаев. Это было в городе Старая Русса, где в свое время жил Достоевский.

Мой экземпляр «Резьбы по камню» погиб вместе с другими книгами и с тетрадью стихов в первые дни войны, когда мы, группа парашютистов-подрывников, взрывали мост через Западную Двину в городе Даугавпилсе. Я с невыразимой нежностью вспоминаю эту книжку, именно это первое издание «Резьбы». Она долго была со мной, дала мне много радости и наслаждения. Сам факт, что я взял ее с собой вместе с томиками великих лириков, уезжая в армию, говорит о многом. Я несколько лет тосковал по «Резьбе». И вновь встретился с ней, только когда в Москве было выпущено «Избранное» Капиева. К моей радости, в него вошла и «Резьба по камню». Я купил книгу в городе Фрунзе, столице Киргизии. Я снова встретился с книгой, которая была мне так дорога, что казалась живым существом.

А за год до этого я читал книгу венгерского академика Преле, издавшую до революции. В ней было много старинных балкарских песен. Тогда в маленькой комнатке с земляным полом, в старом домике, крытом соломой, работая зимними почками, я написал большое стихотворение «Над старой книгой горских песен». Одновременно переводил лермонтовского «Демона». Стихи о горских песнях я посвятил памяти Эффеңди Каписва. Это было выражением моей любви к нему. В 1951 году в том же городе Фрунзе родился у меня первый сын. Мне очень хотелось назвать его Эффеңди. Но помешало осуществлению моего желания то, что слово «эффеңди» по-балкарски значит мулла. И моей матери казалось, что парню будет неловко носить такое имя среди балкарцев. Потому только я отказался от своего намерения и назвал мальчика Эльдаром.

Эффеңди Каписев явление уникальное. Сын горца из Лакши стал выдающимся поэтом. Он писал на русском языке. Я рад, что видел его — кавказского горца, художавого, горячего, мудрого, изящного, выразительнейшего и талантливейшего человека. Любовь к его книгам остается со мной. Она останется и с моими детьми.

ТАЛАНТ И МАСТЕРСТВО

Я не раз писал, что считаю Ибрагима Бабаева лучшим из балкарских поэтов. Начав печататься, лет десять назад, он сразу же обратил на себя внимание, и вскоре мы убедились в том, что дарование его — явление незаурядное. Казалось, что у него ученического периода и не было, что первые же опубликованные вещи написал зрелый мастер. В чем же секрет? Только в таланте, который всегда в ближайшем родстве с мастерством. Только один талант всегда бывает полон жизни и приобретенное мастерство может применять с истинной пользой.

Отсюда и содержательность стихов, их повизна, точный язык, свежая образность, неожиданные, впервые применяемые рифмы. Да, талант и мастерство гармонически слились в его стихах. И это дает прекрасные результаты. В литературу пришел еще один большой поэт. Я вовсе не думаю преувеличить его значение в нашей поэзии, а пытаюсь точно определить его место в ней. Могу с полной уверенностью сказать, что ему уготовано одно из первых мест среди поэтов балкарского языка.

В его стихах меня радует их самостоятельность, оригинальность, серьезность содержания. Ни у одного из молодых поэтов у нас я не встречал такой ранней самостоятельности, такой оригинальности во всем. Вполне естественно, что даже талантливые поэты в начальный период

своей работы идут от образов предшественников, зависимы от них, повторяют старших мастеров, подражают им, используют их открытия и достижения, пока, достигнув зрелости, не поймут это и не обретут свой почерк. Ибрагим Бабаев пришел в литературу уверенно, своей походкой, никого не повторяя. Такое бывает редко.

Разве мало мы писали о горских партизанах времен гражданской войны? Но вот Бабаев взялся за эту тему и написал совершенно по-своему. Его «Балкарская баллада» похожа только на самое себя. Или мало мы писали о камнях и звездах! У Бабаева и камни, и звезды заговорили другим, новым языком. То же самое с дождем, со снегом, с деревом — со всем, к чему бы ни обратился молодой поэт. А его «Стихи рано умершего поэта»! Большой драматической силой веет от них.

К тому времени, когда начал печататься Бабаев, балкарская поэзия, продолжая реалистические традиции Кязима Мечиева, достигла значительных успехов. Язык ее был уже хорошо сработан, стих достигал большой гибкости и культуры, трудились опытные мастера, смело и уверенно делающие свое дело. И это, конечно, сыграло свою роль.

Бабаев вырос не на пустом месте. Но он явился новым поэтом со своим образным миром, интонациями, стилем. У него и с самого начала редко, очень редко встречаются даже языковые промахи, что кажется почти невозможным для молодого литератора. О чем бы он ни писал, любая тема, любое жизненное явление, предмет, вещь в его стихах находит только одному ему присущее решение, отражение, краски, образное преломление — во всем сказывается его индивидуальность. Это и есть талант.

Ибрагиму Бабаеву уже за тридцать. Жизнь была к нему щедра и добра, одарив истинным талантом. Это счастье. Обязанность поэта — беречь его. С такими вещами не шутят. Талант, данный самой жизнью, — явление драгоценное. А к драгоценности полагается бережно относиться.

Талант — достояние не только того, кому он дан, но и принадлежит всем, является национальным богатством. Об этом необходимо помнить, чтобы быть достойным своего дарования, чувствовать ответственность перед народом, который вскормил тебя, дал тебе язык — лучшее

свое сокровище, вдохнул в тебя свои силы, мудрость, опыт. Талант, как горы и моря, как все большое, должен быть виден далеко.

У меня есть уверенность в том, что Ибрагим Бабаев не предаст забвению эти необходимые для художника истины, и его чистый, самобытный голос будет услышан не только вблизи, но и вдали.

1970

МЫ С НИМ ЧЕГЕМЦЫ

1

Многие годы моей жизни и работы связаны с Алимом Кешоковым. Да и в детстве пили мы воду одной реки Чегем, смотрели на вечно не тающие снега одних гор, над нами проносились одни и те же облака, бросая тень на крыши наших домов. Так получилось, что в трудные дни войны мы были вместе долгие месяцы, не раз над нами пролетали свистящие пули, нередко приходилось спать, укрывшись одной плащ-палаткой, есть из одного солдатского котелка, читать друг другу в завьюженных окопах торопливо написанные строки стихов.

Мы в дыму войны шли вместе через заснеженные волжские и донские степи, были среди освободителей Донбасса, лежали в воронках Перекопа, переходили через Сиваш, сражались в Крыму. Тогда мы с Алимом делили кусок хлеба и щепотку солдатской махорки, делились своими думами и стихами. Это было большой наградой и утешением. Сквозь дым боев одинаково мерещились нам горы и отцовские дворики с желтеющим подсолнухом. Мы были молоды. Горячо мечтали о книгах, которые думали писать после войны. Как говорится, человек познается в беде, а я был рядом с Алимом в труднейшие дни. Я знаю его лучше многих.

Одно стихотворение Алима, прочитанное им где-то в донских степях, запомнилось мне навсегда. О чем оно? Солдат тащил товарища, который говорил: «Оставь, меня, сам можешь погибнуть! Оставь меня. Счастье между нами

поровну никто не делил. Оставь меня!» Но солдат не оставил друга. Он полз под огнем противника, грыз землю, но товарища вынес.

Не случайно я начал свой разговор с этих, ставших далекими, воспоминаний. Они, как мне думается, важны не только как черточки биографии Алима Кешокова, но и для его поэзии, для всего его творчества. Он стал крупным мастером, известным всей стране поэтом, каким все мы знаем его ныне, пройдя суровую жизненную школу, тяжелые испытания войны, явившейся для поэта самым большим потрясением в жизни. Он закалял свой характер и свое слово, постигая красоту человеческой совести, чести, мужества, преданности народу и родной земле. Мужественный и мудрый человек, Алим Кешоков остался верным этим благородным чертам своего характера, как тот солдат в его стихах, который спасал раненого друга. Энергия и целеустремленность того фронтового стихотворения развивались и крепили в творчестве Кешокова, все больше совершенствуясь, достигая зрелости, приобретая размах.

Все прекрасное на земле создано общими, дружными усилиями честных людей, их руками и разумом, даже их страданиями и гибелью. Во все ими сделанное они вдохнули бессмертную силу благородства, красоты человеческой души и подвига. На лучших творениях художников и мыслителей всех народов лежит печать совести человечества. Ее мы чувствуем даже в каждой затерянной среди скал старинной башне — творении безымянных мастеров, совесть которых была чиста, как снега вершин, постоянно сверкавших перед их глазами.

Первое стихотворение Алима Кешокова было опубликовано тридцать лет назад. А первая книга стихов вышла летом 1941 года. И с авторскими экземплярами этого сборника в вещевом солдатском мешке, он ушел на фронт. Да, в вещевом мешке были книги, а в душе — горечь беды, обрушившейся на родную страну, и лучшие надежды. В раннем стихотворении «Дикая яблоня» Алим писал:

Наш хлеб горчил в минувшие года.
Могло быть иначе, если вместо
Воды, дружище, на слезах тогда
Крутое мы замешивали тесто!

Те времена давно прошли, поверь.
Растим плоды народу мы на радость,

На счастье... Понимаешь ли теперь
Откуда в яблонях берется сладость?

Алим Кешоков своей первой книгой принес в родную литературу новые мотивы, приемы, ритмы, краски, мысли. Рождался большой поэт. Первым это почувствовал и отметил наш старший друг и добрый учитель Али Шогенцуков. Али погиб на войне. Алим Кешоков поднял знамя, выпавшее из рук Шогенцукова и смело понес его дальше.

Поэзия — слишком прекрасный дом, чтобы вести себя в нем дурно. В этом сказочном доме жили такие великие люди, бились такие чистые и самозабвенные сердца. Сказанное имеет прямое отношение к Алиму Кешокову, к его личности и творчеству. Мне хорошо известно, как Алим относится к поэзии. Эхо скал точно повторяет голос. Так и поэзия передает сокровеннейшие мысли ее создателей, тончайшие и самые искренние движения человеческой души. Она очень далека от дипломатии. Она естественна, как вздох ребенка. Я говорю о поэзии, а не о рифмованных строчках. Каждый поэт всю жизнь слышит шум речки детства, куда бы его ни забрасывала судьба. И это самый чистый в мире мотив. Речь идет о верности художника всему светлому, доброму, народной душе, ее чаяниям. Этими благородными чертами отмечено все лучшее, что создано за три десятилетия Алимом Кешоковым — прозорливым и умным художником.

Долгие годы, живя рядом, пользуясь его дружбой, наблюдая за ним, я всегда замечал в нем черты строителя и создателя, человека, рожденного для действия, видел, как много в нем энергии, воли, любви к жизни, ее краскам. Эти благородные, так необходимые и незаменимые в жизни черты перешли в произведения поэта. Их мы хорошо чувствуем и тогда, когда Алим пишет о том, что свой последний час хотел бы встретить на скаку, и в искрометных стихах о всаднике, который проскакал по небу и проложил Млечный Путь, и в строчках о заоблачных людях-горняках, унесших красное знамя к вершинам, и о любимом поэте Лермонтове, которому и во сне кабардинский поэт с любовью поддерживает стремя, когда тот садится на коня, чтобы мчаться по горным дорогам. Всюду в стихах и поэмах Кешокова живет неистребимый оптимизм. Это подлинная любовь к жизни, к созиданию, вера в светлый смысл бытия. Он отлично знает, что легкой жиз-

ни не бывает, ему хорошо известно, какой ценой берется победа:

Нередко жалобы слышны: жизнь коротка.
Что удлинит ее? Нам труд, наш день рабочий.
Но если вред и зло творит твоя рука,
То будет жизнь твоя руки твоей короче.

Когда я думаю о биографии и внутреннем мире любого поэта, мне каждый раз вспоминается старое восточное изречение о пустом кувшине, из которого ничего не может вытечь. Биография художника имеет огромное значение. Она переходит в его произведения. Она создает личность художника, во многом определяет мировоззрение.

Биография поэта может складываться по-разному. Но чем она богаче, тем больше слита с жизнью, тем глубже, драгоценнее и творчество художника. Может ли быть поэтом человек, занятый только собой, равнодушный ко всем и ко всему? Поэзию потому и называют совестью народа, что она бьет из самых чистых источников. Поэты знают это хорошо. Наши реки рождаются от горных ледников и несут свои воды к нивам и садам, в долины и равнины, к людям. Творчество рождается у высот человеческой совести, добра и справедливости, у высот борьбы за них. И мне доставляет радость сказать, что биография Алима Кешокова тесно связана с жизнью нашего народа.

В дни бед и в дни праздников поэт был с народом, жил его жизнью, его интересами, заботами как художник и как общественный деятель. Алим Кешоков всегда находился и находится в рядах тех людей, тех мастеров слова, которые служат прекрасным идеалам добра и справедливости без которых люди стали бы слепыми и глухими. И его поэзия всегда будет служить этому свету жизни. Я не боюсь взятого высокого тона, ибо говорю о поэзии, о творчестве, о деятельности большого человека. Птица рождается для полета. Поэзия тоже.

Значение каждого писателя, его место в родной литературе, в истории народа определяется тем вкладом, который он внес в сокровищницу культуры, тем, что нового принес своим творчеством. Говоря о Кешокове, мы говорим о поэте, который сыграл первостепенную роль в развитии своей национальной поэзии, литературы и всей культуры. Он глубоко развил и поднял то, что было достигнуто предшественниками, он наполнил свои произве-

дения новым дыханием жизни. Как большой художник, Кешоков принес в поэзию одному ему присущие приемы и мотивы, высокую культуру и отчеканенность стиха. Алим Кешоков — поэт, творчеству которого свойственны подлинные черты новаторства.

До него кабардинская поэзия еще не имела той широкой аудитории, какую она имеет сейчас в стране. Голос Алима Кешокова слышали во всех концах Советского Союза. Поэт своей мужественной и самобытной поэзией умножил славу родного народа. Он дал возможность лучшим образом почувствовать огромному количеству читателей красоту души своего народа. Имя кабардинского поэта произносят с благодарностью во многих краях нашей великой Родины. Он широко известный советский поэт, один из выдающихся деятелей, выдвинутых кабардинским народом.

Творческая деятельность Алима Кешокова не ограничивается одной поэзией. Если лирическая повесть Адама Шогенцукова «Весна Сефийт» заслуженно завоевала широкую всесоюзную читательскую аудиторию, то этого еще несколько лет назад никак нельзя было сказать о нашем романе. Его совсем не знал всесоюзный читатель. И этот пробел восполнил Кешоков. Его большое полотно-роман «Чудесное мгновение» — о самом сложном и драматичном периоде истории горцев — гражданской войне — приобрел большую известность, за короткое время выдержал несколько изданий, о нем уже много написано. Роман вошел в золотой фонд историко-революционных произведений. Перу Алима Кешокова принадлежит также много публицистических и литературных статей.

Несколько лет назад в стихотворении «Сердце» Алим писал:

Дорога наша далеко ведет,
Так бейся, сердце, с яростною силой:
Я должен неснею ширококрылой
Достичь коммунистических высот.

Чтоб мой народ сказал свое сужденье:
«Хорошим сердцем обладал поэт!»

Радостно убедиться, что он обладает действительно хорошим сердцем, большим и благородным сердцем народного поэта. Пусть оно долгие годы высекает огонь и излучает свет для людей! Я знаю, Алим Кешоков всегда

будет идти по земле, как он шел в войну через Сиваш — мужественно и твердо, неся любовь к жизни, к земле, к людям.

2

Каждый автор знает себя хорошо. Во всяком случае, другие знают его хуже. Поэтому разговор о книжке Алима Кешокова мне хочется начать его же словами, в которых он определяет цель жизни и суть своей работы:

На благо людям долго жить хочу я,
Не повторяюсь, истину растить,
И в эту жизнь, кипучую, большую,
Три жизни создающих вместить.

(«Долголетие»)

Книжка, выпущенная Гослитиздатом в серии «Библиотека советской поэзии» передает краски родной земли поэта — блеск ледников Эльбруса, цвет осенних листьев горных лесов и темно-серый стали кинжала работы старых мастеров. Из этой книги веет свежестью родной земли и белизпой ее высот.

Но знаешь ли ты человека,
Которому одновременно
Видны и заря над вершиной
И ливень, шумящий внизу?

(«Заоблачные люди»)

Значительный поэт чаще всего многогранен, работа его охватывает многие стороны жизни народа. Такой я вижу и поэзию Алима Кешокова. В ней и отзвуки прошлого Кабардино-Балкарии, ее истории с ее укрытыми и трагическими поворотами, и довоенный созидательный труд. В книге Кешокова мы встретим отважных защитников Родины, с которыми поэт делил трудности военного пути, черствый кусок хлеба и задушевное слово, соприкоснемся с людьми, добывающими руду на заоблачных высотах, и со скромными работниками сельмага, девушкой-шофером, почтальоном, учительницей. В его стихи и поэмы, как в свой родной дом, входит большое число людей — наших современников. Каждый из них приносит в его книги свой

характер, облик своей жизни и деятельности, свою душевную силу.

В поэзии Алима Кешокова — вершины Эльбруса с их никогда не тающими снегами. Это хорошо передано в стихотворении «Собрание гор», которое построено оригинально — в нем сочетание хорошей фантазии с юмором и большими событиями нашей современной действительности. В нем автор своеобразно рассказал о переменах в жизни города, о том новом, которое преобразило облик родины. То же самое надо сказать и о «Разговоре рек». Эти стихи — плоды творческих поисков. Вот заключительные строфы «Собрания гор»:

И приняло тогда решение
Собрание Кавказских гор:
«Земли родной преображенье
Учсть в работе с этих пор.

Внести в стариннейшие списки
Те облака, что для страны
Не только Черным и Каспийским —
Цимлянским морем рождены.

Морей, полей и рек создатель
Велик советский человек...»
И подписался: председатель —
Эльбрус, а секретарь — Казбек.

Эти стихи подтверждают, что Алим Кешоков умеет писать художественно и поэтично на актуальные темы современности, избегая трескучей риторики, которая одолевает многих наших авторов, когда они берутся за темы строительства. Сколько на эту тему написано стихов, не поднимающихся выше обычной констатации фактов, отличающихся от сухой информации только рифмами, да и то плохими! Такая рифмованная риторика ничего не дает ни уму, ни сердцу. В ней не нуждается жизнь современников, в которой так много поэзии и глубокого смысла. Такие стихи безвкусны, похожи друг на друга, как суслики. Заметки и статьи в газетах тоже написаны на очень актуальные темы, они необходимы, однако никому и в голову не придет назвать их произведениями поэзии или искусства. Стало быть, у поэзии и искусства имеются свои законы и приемы. Эти азбучные истины, к сожалению, порой забываются при оценке художественных произведений.

Работа Алима Кешокова лишний раз свидетельствует о том, что непоэтичных тем не существует, только требуется талант, мастерство и творческие поиски. В книгах кабардинского поэта много удачно найденных точных деталей современной действительности, картин сегодняшней жизни. Любовь к строительству, уверенный взгляд вперед, воля в достижении цели, мужество и упорство — вот основные мотивы его поэзии.

Рядом с горными вершинами в стихах и поэмах Кешокова зеленеют под окном и скромные деревца, видим и арбу, на которой старый колхозник Апзор когда-то привозил себе жену, и белую от первого снега дорогу, ведущую из горного ущелья к равнине. Так создается поэтический образ родной земли, дорогой и близкой сердцу поэта. В его книгах, как и в жизни, высокое и простое живут рядом.

Изображение труда нашего народа средствами поэтического искусства и художественное решение горячих актуальных вопросов современности представляется мне самым трудным и сложным. Многие из нас пока не нашли для этого красок, а Алим Кешоков в этом отношении достиг многого, его опыт поучителен и полезен.

Например. В дом колхозника Жамбота провели водопровод. Простой бытовой факт нашей действительности. А вот Кешоков изобразил это радостное событие для семьи пахаря очень поэтично. От его стихотворения «Вода» действительно веет свежестью. Пришедшая в дом Жамбота по водопроводу вода «свежа, как воздух в вышине, как ранняя роса прозрачна»:

Что в той воде заключено?
Отпил глоток неторопливо:
Так только пробуют вино,
Притом редчайшего разлива!

Он отвести не в силах глаз
И смотрит, смотрит, как влюбленный,
Как будто видит в первый раз
Стакан воды, стакан граненый.

Мне приходилось видеть Алима Кешокова в самых разных обстоятельствах. Я видел его в окопах Перекопа, когда его кавалерийскую фуражку пробила пуля; под артиллерийским огнем вместе переходили мы гнилой Сиваш и лежали под одной плащ-палаткой под Ростовом

и Мелитополем. Мне часто приходилось видеть Алима тамадой за дружеским столом и в президиуме на деловых собраниях и съездах. Всюду он мужествен, находчив, живой, остроумный, слово в его устах легко приобретает нужную окраску, наполнено энергией. Я пишу об этом, чтобы еще раз подчеркнуть верность поэзии Кешокова его собственному характеру и его биографии. Его творчество такое же цельное, как характер поэта. Отсюда и самостоятельность. Те стихотворцы, которые не верны своей биографии, стихи, что создала их, всегда поют с чужого голоса.

Поэзия Алима Кешокова отличается верностью жизни, нашей действительности, той стихии, которой она порождена.

Значительное место в творчестве поэта занимает тема дружбы Кабарды с Россней, дружбы народов. И для этой большой темы нашей советской поэзии, на которую написано очень много стихов, хороших и плохих, Алим Кешоков всегда находит оригинальные образы, самые душевные слова, способные взволновать человеческие сердца. А это ведь самое главное для поэзии.

Алим Кешоков — поэт, наделенный и умом и талантом, поднял родную поэзию на новую высоту, она в его творчестве достигла большого совершенства и зрелости. Его книги занимают достойное место среди произведений лучших поэтов Советского Союза. Это признание и творчества самого поэта, и кабардино-балкарской поэзии.

В трудные годы Отечественной войны Кешоков писал:

Где бы в пути меня смерть ни застала,
Встречу конец на летящем коне!

Это является правдой его жизни. Потому-то мы и верим этому признанию. Такие поэты, как Алим Кешоков, всегда в согласии с жизнью, всегда в пути.

НАШ ПОБРАТИМ

1

У горцев издавна бытует замечательный, по-моему, обычай — не хвалить своих близких, скажем, отца, брата, сына. В этом заключено целомудрие. Киреев — мой брат. Пусть простят меня мои земляки за то, что я нарушу обычай. Мне хочется сказать доброе слово о моем брате. Киреев заслужил его перед читателями, перед нашими литераторами, произведения которых он много лет талантливо переводит, перед вечно белыми высотами Кавказа, которые он любит. Он заслужил наше сердечное слово как человек и писатель.

Михаил Киреев и сам любит образное слово, владеет им прекрасно, отлично чувствует его первозданную свежесть, чистоту.

Он в молодости любил русские равнины, белые березы, их тихий шелест, задумчивые перелески и сероватое небо над ними, реки, протекавшие, как спокойные раздумья. Он, сын крестьянина с Орловщины, хорошо помнит запах чернозема, чутко слышит шуршание сухих и красновато-желтых осинового листьев под ногами, любит орловскую землю, давшую русской литературе не одного мастера слова, родину Тургенева и Бунина. Совершенно случайно приехав в Кабардино-Балкарию почти четверть века назад, он остался здесь, потому что полюбил Кавказ, полюбил белые вершины гор, спящие вечным праздником, поля в свежее-желтом подсолнухе, полюбил горцев, открытых и трудолюбивых. В этом у него были такие пеза-

бываемые предшественники и учителя, как Лермонтов и Лев Толстой, которые сами стали на земле новыми вершинами.

Приятно, что Киреев посит одно с Лермонтовым имя. Оно было дано ему в счастливый час. Я говорю об этом не ради красного словца. Михаил Михайлович не раз говорил, что еще мальчиком, читая книги Лермонтова и Толстого, был пленен Кавказом, его отважными и красивыми людьми, изображенными великими художниками России. Еще тогда за сосновым бором ему мерещились снежные вершины и высокие хребты, воспетые Лермонтовым.

К нашему счастью, так получилось, что Кавказ издавна стал второй родиной русской поэзии. Это отмечал еще Белинский. В самом деле, нет почти ни одного крупного русского поэта от Пушкина до Тихонова, не коснувшегося темы Кавказа. В этом нам повезло, как никому. Вышло так, что даже биография и творчество Сергея Есенина, чисто русского поэта по всей сути, душевному настрою и образному миру, оказались связаны с Кавказом. Как хорошо он сказал о Кавказе:

Издrevле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Да, Кавказ воспевали все лучшие поэты России. И от этого он стал еще выше перед взором всего мира. Русская литература и Кавказ связаны навсегда теснейшими узами. Они навеки связали свое бессмертие и достойны друг друга.

Михаил Киреев продолжил дело своих прославленных предшественников и учителей. Он целиком отдал Кавказу и горцам талант и любовь, доброту и мастерство.

2

Михаил Киреев как-то сказал, что горы создают впечатление постоянного праздника. Вот почему он остался жить и работать на праздничной земле Кавказа. И любил ее, как сын. Мне, например, не раз говорили русские литераторы — товарищи Киреева: «Какого замечательного писателя русской деревни похитили у нас вы, горцы!»

Мы, разумеется, рады, что нам удалось похитить его и наши горы имеют такого «кавказского пленника».

Киреев любит горцев. Он пытливно изучал и продолжает изучать их. Возьмите колоритнейшую вещь писателя «Сквозь гору идущий». Она скромно названа очерком. Автор с любовью вылепил мужественный и обаятельный образ тырныаузского горца, хорошо выразил его энергию, поэзию души и труда. Не часто нам приходится читать очерки такой художественной силы, написанные таким точным и выразительным языком. Такой же колоритный образ народного поэта создал Киреев в «Корнях долговечного слова». Здесь речь идет о народном поэте Амирхане Хавпачеве. Но это больше, чем один Амирхан. Это тип горского поэта-крестьянина. Склонен думать, что после новелл Эффеңди Каппева не было вещи серьезнее, сильнее и колоритнее о поэте-горце, чем киреевский очерк. Замечательные рассказы Эффеңди Каппева тоже были написаны о горском поэте-крестьянине. Малодаровитый автор мог бы просто подражать им, но Киреев нашел свой ход, свои мысли, свои краски, написал несомненно значительную вещь. Кроме прочих художественно-поэтических достоинств этого произведения, меня пленяет еще и осязаемая живопись языка. Вот как он пишет: «Этo устами гетуако и струнами шикапшины поет дерево, поет о своей стародавней дружбе с человеком, о бесчисленных дарах, которые приносит оно людям. Разве не сладкая радость вот эти плоды, свисающие над головой, душистые и жемчужно-дымчатые в телесной кисее лунного света? А вот тот дубовый мостик, гремящий вдали под копытами потных коней? А задумчивая арба, деловито поскрипывающая в колеях, заросших ромашкой и подорожником? Теперь дерево поет вместе с водою, камнем и хлебными зернами». Или еще: «Предо мною — книги Амирхана Хавпачева с обложками ярко-нарядными и сурово-скромными, как бешмет горского крестьянина». Эта, казалось бы, простая находка — сравнение обложек книг старого поэта с бешметом горского крестьянина — пленяет.

В своих книгах «Родное сердце», «Любовь», «Песня любви» М. Киреев лепил образы горцев с постоянным знанием их жизни и быта, психологии и характера, писал с подлинным чувством и пониманием облика нашей земли, суровой и нежной. Киреев так же хорошо видит и чувствует пейзаж Кавказа, как и родной Орловщины, осязаемо

и точно, словно скалы и деревья оживают и обретают речь.

Долгие годы работаем мы рядом с М. М. Киреевым. Литераторы нашей республики испытали радость дружбы с Михаилом Михайловичем. С ним всегда приятно общение, как с талантливым и обаятельным человеком, для которого дороги человеческая душа и творчество. Наши молодые, да и немолодые писатели, многим обязаны ему. Он учил и сам учился. Русского писателя связывала братская дружба с классиком кабардинской поэзии Али Шогенцуковым, Киреев ласково пожимал добрую руку лучшему поэту балкарских гор Кязиму Мечпеvu. Чистосердечный и чуткий Али Шогенцуков с самого начала знакомства привязался к Кирееву. Об этих наших крупнейших поэтах Михаил Михайлович написал сердечные статьи-воспоминания.

Талант и культура, строгость к себе, скромность и искренность, прекрасное знание изображаемого, тонкое чутье художника, замечательное чувство стихии языка — вот таким я воспринимаю Михаила Киреева как писателя. Я несколько не боюсь, что сгустил краски, рассказывая о нем. Говорить о Кирееве как о милом человеке и хорошем художнике дают мне право не только его произведения, но и мое долголетнее общение с ним. Я не могу говорить о Кирееве с холодком, не имею права, да и не умею, ибо люблю его. Он — человек и художник, трепетно любящий жизнь и землю, остро и тонко чувствующий все ее краски и запахи.

3

До сих пор я говорил о том, каким мне представляется М. Киреев как писатель и человек, но я обязан сказать и о его переводах. Мы не раз слышали даже в больших союзных республиках такие слова: «А вот у нас, к сожалению, нет таких переводчиков на русский язык, как ваш Киреев!»

Скажем прямо — нашим прозаикам повезло. Переводы Киреева — чистые и звенящие, подлинно творческие. Это, конечно, прежде всего достигается талантом и мастерством, но большую роль играют и хорошее знание быта балкарцев, кабардинцев и черкесов, а также творчества переводимых авторов, характера и манеры их письма и то, что переводчик живет с ними рядом. Над переводами он

работает так же, как и пад своими вещами, отдавая всего себя.

Кто-то называл художественный перевод высоким актом дружбы. Я хорошо помню, как пропикновенно и с большой похвалой говорили известные литераторы о переводах Киреева на обсуждении нашей прозы во время декады в Москве! Его работа была оценена высоко знатоками этого искусства. Повесть Адама Шогенцукова «Весна Софийта» в киреевском переводе получила широкую известность. Это одна из колоритных его работ.

Для Киреева зримы и осязаемы краски каждого переводимого им произведения. Он очень чутко передает их по-русски. Так было с рассказами Али Шогенцукова «Пуд муки», «Под старой грушей» и повестью Омара Этезова «Камни помнят».

М. Киреев чрезвычайно углубленно работал в последнее время над переводом новелл Амирхапа Хавпачева. В этих переводах много горской мудрости и поэзии. В них и сумерки над холмами и дорогами кабардинских равнин, и облака, медленно плывущие над балкарскими горами. Вот строки перевода из повеллы «Гыбза»: «Память моя подобна глубокой природной пещере. Бережно хранит она в своей тихой полумгле и холодную золу давнего пастушеского костра, что пылал тут, бывало, в тесном кругу родных мне людей, и залетевшие сюда, вместе с орлиными перьями, засохшие лепестки голубой кавказской ромашки, нежнейшего цветка моего детства, и нацарапанные на задымленном гранитном челе милые имена веселых путников, некогда распевавших в горах свои веселые, свои молодые песни».

Поэтичность и колорит этих строк говорят сами за себя. М. Киреев, учившийся у Тургенева и Бунина, с трепетной любовью, горячим уважением и чуткостью относится к русскому слову, в нем для него заключен целый мир, прекрасный и неповторимый. Русская литература для Михаила Михайловича — это самая высокая вершина в мире, возникшая на земле для того, чтобы вечно удивлять и радовать всех живущих. Потому-то Киреев, переводя чужие произведения на язык этой литературы, на язык Толстого и Чехова, чувствует огромную ответственность. Даже тогда, когда Киреев пишет газетную статью или очерк, все равно постоянно помнит, что он работает на языке Пушкина и Тургенева.

Между прочим, мне всегда казалось, что в нем есть что-то от Максима Максимовича. Почти четверть века живет и работает рядом с нами милый и добрый человек, верный и сердечный друг наших литераторов. Годы эти были отмечены огромными событиями в нашей стране и во всем мире. Он провожал на фронты Отечественной войны своих друзей, поэтов и прозаиков. Они с нежностью вспоминали о нем в сырых окопах и в военных госпиталях. Михаил Михайлович в последний раз обнимал, провожая на фронт, Али Шогенцукова и Салиха Хочиева, которые не вернулись домой. Позже и сам Киреев отправился воевать, выполняя свой долг в трудные годы так же старательно, как и писал. После войны он снова вернулся в нашу республику. Так возвращаются в отчий дом, к родному очагу, где по утрам разводят огонь руки матери. Да, для Киреева Кабардино-Балкария стала отчим домом.

Шестьдесят лет — это мудрый и зрелый возраст для художника.

Михаил Киреев дал нашим читателям талантливые книги. Но мы уверены в том, что лучшие его книги — впереди.

4

Я ошибся. Милый Михаил Михайлович не успел дописать свою лучшую книгу «Мать-земля», которую писал в последние годы. Несмотря на свои шестьдесят семь лет он выглядел очень молодо, был строен и подтянут. Мы были уверены, что наш Михаил Михайлович будет еще долго жить рядом с нами, по-прежнему радуя нас новыми книгами и своей дружбой. Он так остро ощущал жизнь и любил ее!

К нему я привязался вскоре после его приезда в Нальчик летом 1939 года. Тогда Киреев поступил работать в редакцию республиканской русской газеты, кажется, заведующим отделом культуры. Лицо и глаза у него были восточного татарского типа, походка легкая, характер общительный. В нем отсутствовала всякая тяжеловесность — в мышлении, в отношении к людям, литературе и природе, вообще к жизни. Я встречался с ним едва ли не ежедневно. Мы ходили по Нальчику и его окрестностям, заходили в подвалчики, пили красное сухое ви-

но, беседовали, много смеялись, говорили чаще всего о поэзии, хотя он писал прозу. Тогда Михаил Михайлович любил Есенина и Багрицкого — таких непохожих поэтов.

Не думаю, чтобы Багрицкий был самым близким по духу Кирееву поэтом.

В те годы Михаил Михайлович нередко читал наизусть также стихотворение своего любимца Бунина «Мушкет»:

Видел сон Мушкет:
Видел он азовские подолья,
На бурьяне, на татарках — алый цвет,
А в бурьяне — ржавых копий колья.

Киреев любил поэзию и понимал ее, удивлялся тем прозаикам, которые равнодушны к стихам и не читают их. Он не раз говорил:

— Как можно считать себя писателем и проходить мимо поэзии? Какая может быть литература без поэзии? Нет, уж извините!

Он писал прозу, но в душе был поэтом. Впрочем, мне помнится, что Михаил Михайлович однажды даже сочинил несколько шуточных строк, которые я помню до сих пор. Весной 1940 года мы с ним организовали вечер памяти Маяковского. Доклад делал некий доцент Гобов. Он говорил очень длинно и очень скучно. Мы жалели, что доклад поручили ему. Тогда-то, сидя в президиуме рядом со мной, Михаил Михайлович и сочинил двестишестнадцать:

Не спи, гляди в оба! —
Доклад читает Гобов.

Мы с ним тогда были молоды, здоровы, счастливы. Все это кажется теперь далеким прошлым, будто с тех пор прошли не годы, а века!.. Милого Киреева уже нет с нами, а на мои волосы лег снег времени и пережитого...

Одним из любимых дел Михаила Михайловича было бродить по улицам и площадям Нальчика, по парку и рощам, смотреть на белые горы среди зеленой весны или лета, на синее небо и облака, присматриваться к траве, деревьям, прислушиваться к голосам птиц. Все это он понимал, как крестьянин, и радовался всему, как поэт. Помню, с каким блажеством он глядел в нашем парке на первое белое цветение алычи, боярышника, диких яблонь и груш. Так хорошо было слушать его — замечательного рассказ-

чика. Я знал, что редко кто у нас понимает и чувствует так, как Киреев, горы, небо, деревья и их цветение, радостный и счастливый приход весны каждый раз. Во время прогулок он чаще всего говорил о Льве Толстом, Чехове и Бунине. Перечитывая их, Киреев каждый раз открывал для себя что-нибудь новое и горячо, с наслаждением делился открытием. Он был знатоком русской литературы, гордился тем, что он земляк Тургенева и Бунина. Страсть к чтению была одним из самых больших у Михаила Михайловича.

Но самым трогательным все же было его отношение к книге. Аккуратный в быту и работе человек, он имел широкую душу, любил дружеские застолья, веселые поездки с приятелями. Его скромность, деликатность, воспитанность и уважительное отношение к тем, кого он любил, были прекрасны. В нем было много от характера Чехова. Его обаяние действовало на меня неотразимо. Он был одним из самых тонких и деликатных литераторов из тех, с кем мне приходилось встречаться. Я редко встречал людей так равнодушных к известности, к похвалам, как Киреев. Любовь к жизни и литературе, скромность во всем — сущность Киреева. Таким и остался Михаил Михайлович в моей памяти. Он один из самых незабвенных для меня людей. Общение с ним и его дружба были для меня необходимы. Оставшись без него, я как-то осиротел.

Он любил землю, хороших людей, восхищался женской красотой, хорошо ее чувствовал. У него было немало красивых знакомок в Нальчике, с которыми он прогуливался, ведя тонко-остроумную беседу. Как-то я долго отсутствовал и когда прилетел домой, сразу же встретился с Киреевым. Вместо того чтобы сказать с «приездом», он сказал:

— А знаешь, Л. М. вышла замуж!

Речь шла о нашей общей знакомой, красивой девушке. Потом я долго смешил Михаила Михайловича, говоря, что после выхода замуж этой прелестной девушки он целых три месяца держал на письменном столе черный флажок. На одной нашей общей знакомой — красивой девушке — женился один из наших ученых друзей. После этого Киреев часто говорил ему:

— Ты расхититель народного достояния! Грабитель храмов!

Все эти черточки говорят об исключительно живом характере Михаила Михайловича.

Михаил Киреев любил горы и нашу землю. И он остался с ней навсегда. Мы хоронили его ясным сентябрьским днем 1971 года. Теперь синее небо, белые горы и зеленые деревья, которые он так любил, молча смотрят на его могилу. Не слышат теперь друзья его голоса, но живые книги Михаила Киреева, чистота его души, его редкое обаяние остались с нами.

1963—1973

ВОСХОЖДЕНИЕ ТАЛАНТА

Как-то более десяти лет назад на одной из своих книг я сделал Расулу Гамзатову такую надпись: «Лучшему из нас — нынешних поэтов гор». Это не было ни просто знаком вежливости по отношению к младшему собрату (он на шесть лет моложе меня), ни стремлением преувеличить его значение. Я так думал тогда о молодом Гамзатове, так же думаю о нем и сегодня — через пятнадцать лет. Годы, прошедшие с тех пор, доказали мою правоту. Для того чтобы с самого начала понять, как талантлив Гамзатов, не требовалось быть знатоком поэзии или мудрым ценителем — это сразу и безошибочно ощутили читатели. Когда в центральной прессе стали появляться стихи Расула и выходили его первые книжки в переводе на русский язык, я переживал самые трудные дни в моей жизни, но пристально следил за тем, что печатал Гамзатов. Раз я понял, как он талантлив, то мне было интересно, в каком направлении будет развиваться его дарование. Сегодня, когда поэт достиг полной зрелости и вершины своей славы, мне тем более интересно попытаться высказать о нем некоторые мои соображения.

Еще до встречи и личного знакомства с Расулом в одном из журналов я прочел небольшое его стихотворение:

Дверцы печки растворены, угли раздуты,
И кирпич закопчен, и огонь тускловат.
Но гляжу я на пламя, и кажется, будто
Это вовсе не угли, а звезды горят.

Звезды детства горят, звезды неба родного,
 Я сижу у огня, и мерещится мне,
 Будто сказка отца вдруг послышалась снова,
 Песня матери снова звенит в тишине.

Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверь —
 Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.
 Что ж осталось? — Тепло, подступившее к сердцу,
 Песня матери, сказка отца моего.

Стихотворение Гамзатова имело ту художественную силу и суть, было написано на такую тему, которая весьма редка была в поэзии горцев тех лет. Тогда многих наших авторов одолевала риторика, общие слова и голая декламация, стихотворцы могли писать о чем угодно, за исключением того, что их окружало, лежало рядом, просилось в стихи и связывало их с родной землей, с отчим домом. Писать на такие темы, какую поднимал Гамзатов, большинство горских поэтов в те годы считало изменой гражданственности, впадая в непростительное для литератора заблуждение. Они не хотели знать, что художник, не поняв языка родной земли, не сможет понять никакого другого, что он приходит, если позволяет степень дарования, к человечеству, только через образы отчей земли, своего очага, через опыт родного народа, неся в своих созданиях свет его сердца.

К радости моей, я в те годы, как и теперь, считал, что поэт должен говорить только о том, что ему очень дорого и близко, что необходимо людям сегодня и всегда. Прочитав это стихотворение молодого Гамзатова, я обнаружил в нем много сердечности и поэтического настроения, увидел не внешний блеск, а внутреннюю силу. Это было близко мне во всех отношениях и отвечало моим представлениям о поэзии. Гамзатов стал мне близким, я нашел в нем единомышленника в поэзии еще до нашего личного знакомства.

Шли годы. Поэт продолжал восхождение, все больше и больше радуя нас своим сильным, самобытным, искрометным талантом, поднимаясь с высоты на высоту, завоевывая все большее число читателей и почитателей. Это было восхождение таланта. В чем же секрет широкой популярности поэта, пишущего на языке малочисленного горского народа?

Прежде всего успеху Расула Гамзатова у широчайших читательских кругов способствовал его талант. В харак-

тере дарования аварского поэта я нахожу счастливое сочетание лирической силы с остротой мысли. Такое завидное сочетание и приводит к замечательным результатам. Его поэзия много дает и уму и сердцу, вот почему стихи Гамзатова нравятся самым разным читателям. Его манера письма простая, тон доверительный, сердечный, образность сильная — все это укрепляет слитность мысли и чувства. Он обычно пишет о вещах, близких огромному большинству людей. И семена у него попадают в почву так, как надо. Расул сумел соединить восточные, горские традиции с великим опытом русской поэзии.

Возьмем одно из самых известных стихотворений — «Журавли», ныне ставшее популярной песней. Поэт в нем говорит о тех незабвенных детях Родины, которые погибли в родную землю, отстоявая ее от врагов. И до Гамзатова писали об этом многие, но Расул написал иначе — сильно, сердечно, проникновенно, произительно:

Летит, летит по небу клин усталый —
Мои друзья бывшие и родня.
И в их строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня?

Это настолько по-человечески, в этих строчках такая сила, что они западают в душу каждого. Ведь любой из нас знает, что за каким-нибудь поворотом дороги его тоже ждет последний час.

У Гамзатова, к его счастью, нередко в стихах откровенность, обнаженность сердца. Это для поэта драгоценно и ничем не заменимо. Тут мастерство — только подспорье.

В стихах Расула много душевного тепла, доброго огня, сердечности, лиризма. Он умеет писать весело, остроумно, с улыбкой. У него есть стихотворение, обращенное к жещине, в котором он говорит, что если тысячи мужчин влюблены в нее, то среди них и Расул Гамзатов, если в нее влюблен только один мужчина, то это тоже Расул Гамзатов, если же никто ее не любит и она страдает, это значит, поэт Расул Гамзатов мертвый лежит в горах. Полувшутливый тон, присутствие улыбки делают стихотворение ярким и интересным.

В умении сочетать улыбку с горечью, остроумие с печалью, серьезность с шуткой я вижу особенность дарования Гамзатова. Это чувствуется и в циклах поэта — четверостишия и подписи. В первой группе стихов мы

видим настоящую серьезность, лиризм, глубину, драматизм, а во второй, как и в эпиграммах, много остроумия и улыбки. Эти черты дарования Расула одинаково важны для него и одинаково хорошо служат его поэзии, придавая ей многогранность, широту, большую жизненную силу. И еще одно очень нужное для художника качество есть у Гамзатова — это умение связывать все родное, близкое, отчий дом, песню матери и сказку отца с жизнью всей страны, со всеобщим, глобальным, с универсальным. Это делает его и национальным, и общечеловеческим, спасает от риторической декламации. Я бы назвал это умением с отцовского двора видеть весь мир.

Расул Гамзатов — вдохновенный поэт-гражданин, один из славнейших певцов страны. Он в полную меру узнал признание и любовь массы читателей, почет и славу, достойно воспел Родину и ее строителей, ее женщин и героев, ее колосья и деревья, горы и долины, ее бессмертную красоту. Большой поэт нес и несет свою большую любовь к людям, ко всему хорошему на свете, и люди отвечают ему любовью.

Я видел Расула на его каменистой, как и мой Чегем, земле, в маленьком ауле Цада, в Москве и Париже, Душанбе и Ленинграде и бывал свидетелем, как радушно и любовно, как горячо его принимают всюду.

У поэта, любящего жизнь и молодость, уже поседела голова, но он полон энергии, вдохновения. Расул всегда остается для нас, его товарищей, милым, жизнерадостным, добрым, остроумным, не приобретая никакой тяжеловесности, важности, лжемудрости. Мы любим его стремительным и сверкающим.

Расул! Давай снова, как много лет назад в твоём Хунзахе, станем лицом к горам и посмотрим на их высоту и белизну. И не надо никаких слов, никаких клятв вслух. Я вновь, как пятнадцать лет назад, только хочу тебе сказать:

— Здравствуй, Расул, лучший из нас — нынешних поэтов гор!

ЛИЦО ПОЭТА

Гете сказал: чтобы лучше попать поэта, надо увидеть его родину. Я, к моему огорчению, не был на родине Мустая Карима — в Башкирии. А она самая большая его любовь. Он через нее открывает для себя весь мир. Она — начало и конец его песни, радость и смысл его жизни, его творчества. Как странно, что я никогда не был в доме друга, не смотрел на землю, где качалась его колыбель, на небо, на котором он впервые увидел звезды, на ту землю и на то небо, которые дарят Мустаю его песни. Но все же я тешу себя надеждой, что понимаю поэзию Мустая Карима. Говоря о поэте, мы всегда говорим о его любви. Только ею живет все созданное им. И ненависть и печаль рождаются у него через любовь к миру, к жизни и людям, ко всему хорошему и живому. Я, возможно, написал бы о Мустае лучше, если бы мне пришлось посмотреть в лицо его большой любви — Башкирии. Что делать! Сожаления сопровождают нас всю жизнь.

Если бы ничего я не читал о Башкирии, кроме книг Мустая Карима, и не видел ни одного башкира, кроме Мустая, то и тогда я мог бы считать, что знаю Башкирию и ее народ. В сказанном мною нет никакого преувеличения. Давно известно, что поэзия любого народа — есть лучшее выражение его души и характера. Именно с таким художником мы имеем дело, когда идет речь о Кариме. Тициан Табидзе писал, что он — тростниковый ствол, приставленный к губам Грузии. Подобное же мог бы ска-

зять о себе, о родной Башкирии и Мустай Карим. Он имеет на это право, ибо он тот поэт, который открыл нам, его читателям, сердце и ум родного народа. Он хотел, чтобы мы полюбили его землю и небо, его народ, замечательный со своими неповторимыми особенностями. Мустай добился своего: мы полюбили его поэзию, а через нее и все, что дорого ему. С какой сокровенной стороны открыла, к примеру, для всех нас Армению живопись Сарьяна. Так же открыл поэтическую душу Башкирии Мустай Карим.

Мустай Карим прежде всего дорог нам естественною своей самобытной поэзией и большой человеческой добротой. Я имею в виду ту доброту, которая рождает героев. Ею движимо все прекрасное на земле. Мы знаем, что она дала советским людям силы победить фашизм.

Самый суровый и могучий, самый героический из мировых художников — Бетховен говорил, что он не признает в человеке других преимуществ, кроме доброты. Это драгоценное признание потому, что принадлежит сильнейшему. Замечательнейшее из человеческих качеств — доброта — требует больше всего мужества и героизма. Очень нелегко ведь творить добро и отстоять его.

Давно известно, что все прекрасное естественно. И я не зря выше упомянул об этом качестве стихов Мустая Карима. Поэзия идет разными путями и, разумеется, должна быть разной. Но несмотря на это все крупное и значительное стремится к высшей простоте и естественности и в конце концов приходит к ним, какими бы сложными и трудными путями оно ни шло, какие бы ни были заблуждения и поиски. Хочу целиком привести маленькое стихотворение «Белое и черное»:

Цвет горя черен, черен, как земля,
Приходит, наши волосы беля.
Земля, она сама черным-черна,
Но белизну цветов поит она.
Коль одного тебя гнетет беда,
Не говори, что вся земля седа.

Эти строки просты и мудры. Они естественны, как дрожание зеленого листа на платане. Их я привожу не как самые лучшие стихи Мустая, только хочу ими подчеркнуть естественность интонации поэта, в значительной мере сохраняемую даже в переводе.

Мы знаем, что подлинный язык поэзии—это язык оригинала. Мне приходилось переводить Шекспира, Лопе де Вега, Пушкина, Лермонтова, Есенина, Твардовского, Лорку. И на собственном опыте знаю, что такое перевод стихов, как трудно приблизиться к силе подлинника, с какой бы любовью к оригиналу, уважением к автору и даже знанием дела ты ни переводил. Карима переводят на русский язык любящие его поэты, талантливые люди. А все равно невозможное всегда остается невозможным, хотя рьяные оптимисты и утверждают, что невозможного нет.

Приводя выше хороший перевод Ирины Снеговой, мне только хотелось подтвердить свою мысль о благородной простоте и естественности, за которые ратую. Эти художнические черты мне дороги, может быть, потому, что я, крестьянин по рождению, рос среди крестьян. В горах я привык к простоте пахарей и каменотесов, пастухов и дровосеков, к естественности дерева и камня. Моя мать, неграмотная крестьянка, говорила просто. Все это я воспринял с молоком матери, все это до сих пор живет во мне. Поэтому, возможно, я даже слишком назойливо твержу о простоте. Не могу утверждать, что сам я всегда был безгрешен в этом отношении. Зато я всегда ценил эту черту в Кариме и его работе.

Я за простоту Пушкина, Есенина, Твардовского — за трудно доступную для художника высшую простоту, о которой мечтает и к которой стремится каждый поэт. К числу таких принадлежит и Карим. Мне легче судить о его поэзии, чем многим товарищам и почитателям башкирского мастера. Мы оба литераторы тюркоязычных народов. Я не раз являлся первым слушателем или читателем повых, только что написанных им стихов и драм. Мне в этом повезло куда больше, чем, например, Расулу Гамзатову, читающему книги своего друга только в переводе. Мы наследники громадного поэтического опыта. И нынешние тюркоязычные поэты, в частности, должны быть благодарны своим предтечам, оставившим нам замечательное наследство. Из глубины времен дошли до нас живые голоса Лейли и Меджнуна, Фархада Шириш, которым подарили бессмертие великие тюркоязычные поэты прошлого. Мы владеем таким наследством, имеем, как говорится, в своем распоряжении многовековой опыт больших поэтов.

Мне хочется еще раз убежденно подчеркнуть: высокая культура и простота перасторжимы. Я веду речь, разумеется, об истинной культуре. Блеск зеленого плода никогда не надо принимать за зрелость.

Мустая Карима я считаю крупным новатором в его родной поэзии. Новаторство заключается не в расстановке стихотворных строк, таится не только в рифмах. Оно припасит в поэзию каждого народа новые художественные мысли и образы. Художник-новатор видит явления жизни с новой, неожиданной стороны, сказанное им бывает так значительно, что становится новым словом. Без этой значительности и глубины не бывает и нового. Когда Пушкин написал «Зимний вечер», в котором было столько естественности и новизны,— это явилось открытием в русской поэзии. И каким еще открытием! Я сознательно ссылаюсь на большие явления мирового искусства. Для нас, повторяю, очень важны опыт крупнейших художников и умение учиться на этом опыте применительно к своему времени. Без этого никто не мог еще двигаться вперед, каким бы храбрым он себе ни казался.

Странно, что писавшие о Мустая Кариме до сих пор не говорили о его новаторстве. А он из тех поэтов, которые вернули родной поэзии живое дыхание и горячую кровь после широкого распространения в наших республиках безжизненных и бескровных примитивов, убогого стихodelья. Он из числа тех поэтов наших дней, которые нанесли сокрушительный удар по антихудожественной версификации и крикливой риторике.

Говорят, что слова человека похожи на него самого. Думаю, что это верно. Мустай Карим в жизни, как и в своей поэзии, прост в лучшем смысле слова. Никакой позы. Жизненные блага и известность не сделали его ни спесивым, ни самодовольным.

Каждая яблоня может давать плоды только того сорта и вкуса, которые на ней растут. В поэзии то же самое. Плоды поэзии Карима имеют свой цвет и вкус. В его стихах много доброго света, света человечности и мужества. Он мужественный человек. Так от века положено художнику. Этого требует его служба, трудная и благородная. Большой советский поэт Мустай Карим так и говорит о жизни — с любовью и мужественно, просто и серьезно. Все настоящие люди — выше я тоже пытался сказать об этом — любят детей. Мне кажется очень примечательным

стихотворение Карима «Так начинается жизнь» о ребенке и жизни:

Полз мальчик па четвереньках,
Он был еще очень мал.
С последней он сполз ступеньки,
Коснулся земли и... встал.

Как будто знал, что от века
Есть на земле закон:
Родившийся человеком
Не ползать по пей рожден!

Правдивые строки, написанные с достоинством. Когда литератор говорит о жизни фальшиво, изображая ее как нечто легкое, что, к сожалению, порой встречается в нашей поэзии, это воспринимаешь как личное оскорбление. Ложь и фальшь — злейшие враги поэзии, ибо поэзия — создание правды и искренности, обнаженности сердца. Кто не чувствует этого, тому не суждено быть поэтом так же, как хрому бегуну. Вот как Мустай Карим говорит о жизни в процитированном выше стихотворении:

На ноги став однажды,
Не упади, держись!..
Так начинает каждый
Трудное дело — жизнь.

Во мне жило и живет убеждение в том, что советская поэзия — поэзия нового мира, поэзия революции — должна говорить о жизни очень серьезно, правдиво, мужественно, с большой любовью к людям. Этим дорога нам и поэзия Карима. Советская поэзия многонациональна и многоголосна. В могучем хоре лучших наших поэтов голос Мустая Карима имеет свой чистый тон. О сути и характере своей работы поэт говорит в «Разговоре со своей песней»:

Надеждой я селюсь в сердцах,
И прочь гоню тоску я,
А души, где ютится страх,
Отвагой атакую.

Слезу увижу хоть одну,
Сотру ее мгновенно,
А мысль, что дремлет, как струну,
Нечаянно задену...

Коль каждый день моя строка
Даст людям каплю света,
Я заслужу паверняка
Быть в полный голос спетой.

Надолго сказаны нестареющие слова Блока о поэте: «Он—весь дитя добра и света, он—весь свободы торжества!» Недаром лучшие советские поэты в годы войны сражались с фашистами. Они воевали с убийцами великого поэта Федерико Гарсиа Лорки. Мустай Карим тоже ушел на фронт юношей, воевал как преданный сын своей Родины, был ее бойцом, вернулся израненный, выжил чудом. Жесточайшая из войн научила поэта многому. Такие уроки даром не проходят. Мустая война научила не только любви к мужеству и стойкости, по правдивости и уважению к жизни, к горю людей. Он хорошо знает, что такое радость и боль, жизнь и смерть, каковы они на цвет и вкус. Недаром он через много лет после войны написал:

Придет весна. Опять в снегу
Весной ручей заговорит.
Не стихнет ненависть к врагу —
Ведь кровь металы не растворит.

А рапы старые горят.
В Париже третий день подряд
О новых войнах говорят.
...И снег идет три дня подряд.

Мне вспомнились военные годы. Заснеженное Подмосковье. Поэт Дмитрий Кедрин в бревенчатом домике переводил стихи юноши-фронтовика Мустая Карима и читал их мне. Тогда, конечно, не мог я знать, что нас ждет впереди, что жизнь будет так милостива ко мне при всех несчастьях и выведет меня из всех бед, одарит дружбой Мустая. А с ней я стал богаче и сильнее.

Мустай Карим—один из выдающихся советских поэтов. Кроме стихов и поэм, его перу принадлежат повести, рассказы, пьесы. Его трагедия «В ночь лунного затмения», по моему мнению, является одной из лучших современных пьес. Она обошла сцены десятков театров на разных языках.

Лицо друга для нас прекрасно всегда — в радости и горе. Как хорошо смотреть в лицо друга! Оно освещает твой праздник и дает утешение в боли. Я привык смотреть в

лицо Мустая. Оно одно из самых красивых для меня. Когда он рядом, мне хорошо, легче жить и переносить трудности, неудачи. Это мне приходилось испытывать не раз. Он бывал на моей родной земле, молча смотрел на снега Эльбруса и желтые скалы Чегема, а уехав домой, написал о них замечательные стихи. Мы видели его и не раз слушали за дружеским кавказским столом, как это было однажды в ночном пиру в саду среди скал над рекой Черек. Он пожимал руки горцам-колхозникам и казался одним из них, был похож на них, они полюбили его так же, как мы, литераторы — его товарищи.

Я видел Мустаю Карима и в те дни, когда его неожиданно настигла беда. Мустай вел себя мужественно и достойно, как и каждый раз, когда жизни угодно бывало испытать его. Об этом стоит сказать, ибо поведение человека в труднейшие часы или дни жизни больше всего дает возможность судить о нем. Те человеческие качества, которые я пытаюсь отметить в Мустае Кариме, перешли в его произведения.

Мне вместе с Мустаем Каримом приходилось смотреть на белые от снега улицы Москвы и зеленые платаны Тбилиси, стоять у армянских храмов, радоваться казахским и азербайджанским горам, сидеть на съездах, выступать на вечерах. Всюду Мустай остается Мустаем — вдумчивым, скромным и умным человеком, умеющим слушать другого, верным себе. Мы с ним как-то вместе были в мавзолее Низами в городе Гяндже. И в книге для посетителей оба рукой Мустая написали слова любви к великому поэту Востока. А потом ночью смотрели на луну над древним городом, на звездный ход, как бы став на одну ночь восточными звездочетами, и думали о вечности, о бессмертии жизни, о добре, которому искони служат поэты. Там же, в Гяндже, во дворе мечети, мы видели мощный ствол платана, ровесника Низами. Дерево, которому восемьсот лет, еще жило и цвело. Но ведь и поэзия Низами живет и цветет до сих пор. Мы много видели вместе с Мустаем.

Мустай Карим, народный поэт Башкирии, родился в 1919 году. Ему не много и не мало лет. Он, как говорится, в расцвете сил. Созданы замечательные песни, но лучшие еще впереди. Я верю в это. Надежда самая белая птица на свете. Пусть живет она и летает над землей. Еще придут в наши дома лучшие песни большого поэта

и совыют у наших карнизов гнезда, как ласточки ранней весной.

Живет рядом с нами крупный человек-поэт, верный жизни и поэзии, до конца преданный им, как и своей родине, обаятельнейший из нас. Он каждый раз дает мне возможность уверовать в человеческую дружбу, верить в то, что это не пустое слово. Хорошие люди и крупные поэты таковы всегда. Коммунист и гуманист Карим свою службу художника и гражданина несет с достоинством.

Вот что мне хотелось сказать о выдающемся советском поэте, о человеке с умной головой и светлым сердцем — Мустае Кариме. Остальное скажут вам его стихи и поэмы. Они скажут несравненно больше, чем я своим беглым рассказом.

1965—1972

ГЛУБИНА

1

Глубокая поэзия Давида Кугультинова еще раз говорит о том, что талантливы все народы. Он, пишущий на языке малочисленного народа, стал известен всей стране и за ее рубежами. Надо знать жизнь Кугультинова, чтобы по достоинству оценить его мужественные и оптимистические стихи. Знаменательно, что из всех испытаний он вынес главное — уважение к жизни, к людям, высек огонь творчества. И отсюда родилась его серьезная и очень человеческая поэзия. Из своей судьбы он выковал мужественные ритмы, пережитое превратил в мудрые уроки для себя и других. Поэзия Давида Кугультинова дорога именно этим — углубленным отношением к жизни.

Хорошо рифмовать умеют многие. Техническая сторона стихотворного дела достигла ныне большого совершенства. Кугультиновские стихи и поэмы значительны. Его девизом является: всегда оставаться стойким гуманистом, как и полагается советскому художнику. Вот строки стихотворения по мотивам фольклора:

Свириных львов увидел я во сне,
Развеселило их мое обличье!..
И дать клыки они решили мне,
Чтоб слабых бить и жадно рвать добычу...
Но отказался я от этих прав,
Остаться человеком пожелав.

Огонь прекрасен, когда он греет людей зимним днем, когда на нем печется хлеб для детей. Но он страшен,

сжигающий дома и колыбели. Таким является и слово. Оно прекрасно, когда служит добру и счастью людей. Но ему не раз приходилось служить злу — тогда слово становилось страшным, как огонь во время пожара. И как были далеки в такой несчастный час слова шепота девушки, обращенные к любимому, слова песни матери над колыбелью; как далеки были в этот страшный час слова мудрости каменотеса и пахаря... Как несчастны слова, когда они служат жестокости и смерти, они, созданные жизнью и для жизни! Прометей принес людям огонь не для того, чтобы им сжигать дома. Народы создали языки не ради вражды и злобы.

Слово советского поэта Кугультинова обращено к добру и свету. Оно страстно служит счастью людей, процветанию своей Родины. В этом его сила, мудрость и значительность. Его слово рождено идейной убежденностью.

Давид Кугультинов идет с теми, кто трудится и создает, он во всем хочет быть с ними до конца своих дней.

Мне очень нравится его небольшое стихотворение, оно, по-моему, выражает главное, чем живет его сердце:

Метель беснуется... Беда, беда!
И под ее неистовые стоны
Я думаю о степи заметенной,
О них, друзьях, пасущих там стада...
Моих друзей буран в степи застиг,
Прошу вас, люди, думайте о них!

Ведь если думать, думать всем вдали
О тех, кто в снеговой пучине тонет, —
Их наши мысли, говорят, догонят,
Поддержат их хоть на краю земли,
Помогут одолеть тот путь, ту малость,
Что до спасенья им еще осталась.

В стихах Кугультинова много жизни, ума и таланта. Его поэзия прекрасна глубиной мысли.

Книги без изъянов редки. Наверное, и у сборников Кугультинова они есть, но небо не перестает быть прекрасным оттого, что на нем видны одинокие тучки. Не будем искать волосок в яйце, как говорят кавказцы.

Много лет я слежу за работой Давида Кугультинова. Выход каждой книги моего собрата становится радостью для меня. В том, что он один из самых значительных поэтов наших дней — у меня нет сомнения. Он мне дорог и как личность. За его плечами очень серьезный и трудный жизненный путь. Того положения, какое он занимает теперь в советской литературе, Кугультинов достиг только своим талантом и трудом. Жизнь выковывает характер художника. В этом смысле не бывает ничего случайного. Только фруктовое дерево может давать плоды.

Передо мной лежит новое издание лирики Давида. Книга названа автором просто и хорошо: «Близь и даль». С названия начинаются поиск и творчество. Чем проще, скромнее и точнее название — тем лучше.

Раскрыв его книгу, я снова говорю с поэтом, которого люблю.

Если говорить об особенностях и характерных чертах поэзии Кугультинова, то я бы сказал: глубина мысли, серьезность и значительность содержания. Мне могут возразить, мол, сама по себе мысль не является поэзией. Верно. Но без мысли также нет поэзии. Чем глубже в них мысль, тем значительней и лучше стихи. В поэзии всегда присутствует мысль, но в ней она обычно бывает выражена пронзительно-образно. Это мы и находим у Давида Кугультинова. У него мастерски слиты мысль и вдохновение, образность и эмоция:

Дайте, дайте первую удачу!
 Пусть в себя поверит человек!
 Пусть в прилив радости горячей
 Ощутит себя потомком всех.
 Кто творил, кто сделал мир богаче...
 Дайте, дайте первую удачу!..

Этим горячим поэтическим строкам никак нельзя отказать ни в глубине мысли, ни в эмоционально-образной силе. Во всем, о чем бы он ни писал, мы чувствуем горячую убежденность большого художника.

А какой эмоциональной силой пронизано превосходное стихотворение «Смерть сайгака, или Растрелянное утро», глубоко драматичное, живописное и пронзительное одно-

временно. В нем сосредоточились, сошлись все лучшие черты кугультиновской поэзии. Вот несколько строк из него:

Сайгак подпрыгнул... Он рванулся к небу,
Как человек прощительно крича...
И крик его пронесся, словно смерч.
Бегут вразброд недавние соседи
В смятении, в страшной из трагедий,
Когда живое ощущает смерть.
Несутся птицы с шумом... А сайгак
Лежит... Пригнулась шея неуклюже...
Дымится кровь и натекает лужей...

Большая сердечность и доброта выражены в кугультиновских стихах, обращенных к любимой женщине:

Чем тебя порадовать могу?
Какое доброе свершить мне дело,
Чтобы твоя улыбка потеплела?
За каждый день я у тебя в долгу
И каждый миг об этом беспокоюсь...

Подобные стихи надо читать, радоваться и наслаждаться ими. Из немногих строк, которые я процитировал, встает образ большого поэта-художника, сердечного и умного, умеющего ценить все дорогое в жизни. Таким мы и знаем Давида Кугультинова.

Вот что пишет он сам в автобиографии: «Стихи — не ребусы для тренировки мозга. Они должны быть ясными и нести мысль, делающую хоть маленькое, но открытие. Неясность мысли рождает неясность формы». Кугультинов постоянно верен этому принципу. А принцип этот ввел в литературу Пушкин известным высказыванием о Баратынском: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Величайший из русских поэтов ценил мысль в стихах. И в то же время никто, думаю, не сомневается в том, что Пушкин был одним из эмоциональнейших лириков мира.

Давид Кугультинов, самобытный художник, остается верным своей природе, характеру своего дарования. Это делает его оригинальным, самостоятельным и сильным. Он никогда не пытается петь чужим голосом, в нем нет ничего показного, он не говорит: «Смотрите, как ловко я умею писать, какой я мастер!», не гарцует перед читателями, любыми способами стараясь поправиться им, а серьезно делает свое дело, подобно трудолюбивому пахарю. Это и приводит поэта не к мнимой, а настоящей побе-

де. Давид Кугультинов не баловень судьбы, и у него никогда не было дешевой и незаслуженной популярности. Он, к своему счастью и к нашей радости, обладает характером истинного художника.

Как важно и как хорошо, что он не очерствел душой, не разлюбил ничего, что было дорого ему. И все дорогое он воспел, чем и заслужил интерес и любовь читателей. Только человек, умеющий ценить все хорошее в человеке, мог написать стихотворение, начинающееся словами «Я помню прошлое» — стихотворение о человеческой доброте:

Я помню прошлое. Я помню
Свой голод. Больше я не мог,
И русская старушка,
Помню,
Мне хлеба сунула кусок.

Затем тайком перекрестила
В моем кармане свой ломоть.
И быстро прочь засеменила,
Шепнув: «Спаси тебя господь!»

Хотелось мне, ее не зная,
Воскликнуть: «Бабушка, родная!»
Хотелось петь, кричать «ура»!
Рукой в кармане ощущая
Существование добра.

Я твердо уверен, что это стихотворение калмыцкого поэта, как целый ряд других, стоит в одном ряду с лучшими стихами нашего времени.

Поэзия Давида Кугультинова вся пропитана высокой человечностью, истинным социалистическим гуманизмом, коммунистической правдивостью, стойкостью борца за лучшие человеческие идеалы. Тем ценнее ощущать такую первородную и неподдельную силу поэзии в книгах Давида Кугультинова:

Приснились джунгли пынче мне во сне.
Кругом визжала обезьянья стая...
Раздобрясь, хвост они давали мне,
Чтоб лезть в верхи, при случае, петляя..
Но отказался я от этих прав,
Остаться человеком пожелав.

Свирипых львов увидел я во сне,
Развеселило их мое обличье!..

И дать клыки они решили мне,
Чтоб слабых бить и жадно рвать добычу...
Но отказался я от этих прав,
Остаться человеком пожелав.

Если бы мне пришлось составлять антологию ста лучших стихотворений лирики нашего времени, я бы непременно включил в нее эти стихи Давида Кугультинова и еще несколько стихотворений.

1973

МУДРОСТЬ И СЕРДЕЧНОСТЬ

Когда имеешь основание и право сказать о человеке хорошее и сказанное тобой не искажает истины,— это замечательно.

В дни юбилея о Мирзо Турсун-заде будет сказано много хороших слов. Я тоже с радостью присоединяю к ним свое скромное, но сердечное слово. Пусть оно, как мой братский привет, полетит с предгорий Кавказа к предгорьям Памира. Мне мил и дорог поэт, который одарил меня своим дружеским расположением, одобрителем отношением к моей работе и задушевностью своей согрел не один день моей жизни. Мы будем говорить о Мирзо добрые и значительные слова. Ведь речь идет о большом, известнейшем, признанном повсеместно и прославленном советском поэте, крупном человеке, о нашем брате.

От общения с ним у меня сложилось именно такое впечатление — Мирзо Турсун-заде сердечный и умный человек, даже обычная застольная беседа с которым даст душевное удовлетворение, оставляет приятные воспоминания. Его книги, к сожалению, приходится читать мне только в переводе.

Но вот что любопытно: многие его земляки-поэты не раз говорили мне о том, что Турсун-заде выдающийся мастер стиха и горячо любимый родным народом поэт. Это очень важное свидетельство потому, что поэты не так часто хвалят собратьев по перу. Ведь чаще всего, к сожа-

лению. лучшим мастером каждый считает себя. Исключения в этом отношении не так часты. Когда я гостил в Таджикистане, многие женщины-таджички, хорошо чувствующие поэтическое слово, с упоением читали наизусть стихи Мирзо и говорили о своей преданной любви к его поэзии. Важно, что это делали женщины. Я очень верю в их чутье.

Не мне, конечно, толковать таджикам, какой крупный и значительный поэт Турсун-заде. Мне просто приятно сказать о моем собственном восприятии его поэзии и о том, какое впечатление он оставил у меня, как человек, как личность. Кроме того, таджикам, думается, тоже интересно знать, как мы, его иноязычные собраты, относимся к их крупнейшему современному поэту. Мирзо Турсун-заде — художник, влюбленный в мир, в его краски и красоту, в землю и творчество, в их вечность, как и полагается истинному поэту. Потому он стал борцом за мир и дружбу всех народов. Будучи в Таджикистане, я наблюдал, как знаменитый, повсеместно известный поэт и деятель относится к своим товарищам писателям-землякам. Он был с ними очень тактичен, прост и внимателен, нигде и ни разу я не заметил, чтобы хоть малейшим образом подчеркнул превосходство своего положения. Это было мудро, очень важно и говорило о многом. Надо признать, что не всем удастся оставаться такими при исключительности их положения.

Однажды вместе с Расулом Гамзатовым я имел удовольствие быть гостем Мирзо в его родном селении Каратаг. Там я наблюдал поэта уже среди его односельчан и стал свидетелем их большого уважения и любви к своему прославленному земляку, понял, что они гордятся им, что совершенно естественно. Ведь крупнейший поэт и знаменитейший из таджиков из их селения! А сам Мирзо оставался таким же простым и милым среди сельских тружеников и казался нам одним из них. Мудрая скромность — замечательная его черта, она придает ему большое обаяние и притягательную силу. Он никогда не позволяет себе играть известного поэта, знаменитого человека. Мне лично это очень дорого в нем.

Мирзо Турсун-заде писал:

Таджики, покрытые пылью дорог,
Мы строим поэзии дивный чертог.

Среди строителей этого нового чертога родной поэзии Турсун-заде крупнейший мастер. Вот такого строителя-мастера и чествуем все мы сегодня. Мы говорим ему хорошие и значительные слова, не искажая правды. Как хорошо, что имеем основание и право на это!

Здравствуй, Мирзо!

Долгих лет вдохновения тебе, мой брат!

СТЕПНОЙ ПРОМЕТЕЙ

Значение Абая, великого поэта, мыслителя, увеличивается еще и тем, что он — основоположник родной литературы, первым в ней сказавший могучее и неувядающее слово, которое осветило весь дальнейший путь казахской поэзии. Он высек из своего сердца огонь, давший возможность разгореться костру казахской литературы. Абай был первым великим художником слова своей страны и стал в один ряд с выдающимися поэтами человечества. Он первым мощно выразил языком поэзии судьбу родного народа, его чаяния, надежды, дал художественное обобщение его векового опыта и мудрости. Абай для казахов такое же незаменимое явление, как Пушкин для русских, Шекспир для англичан, Руставели для грузин. Он — учитель всех казахских писателей навсегда, независимо от того, какие новые веяния, приемы, мотивы, образы, ритмы возникали и будут возникать в родной поэзии. Слово Абая всегда будет новым и останется образцом для многих поколений писателей его языка. На нем держится и будет держаться казахская поэзия. Заслуги, подобные абаевским, в духовной жизни народа никогда не теряют своей силы. Его творчество — тот вечный мост между прошлым и грядущим, который не могут снести потоки времени. Мы не можем не согласиться с мнением лучшего знатока творчества поэта — Мухтара Ауэзова, назвавшего Абая светилом казахской литературы, солнцем казахской поэзии.

Абай писал: «Не для забавы я слагаю стих». Над этими словами стоит подумать всем нам, нынешним работникам литературы. Он создавал свои произведения, ставшие образцами в родной словесности, на языке народа, не имевшего ни традиции письменной литературы, ни книгоиздательского дела. Абай сам создавал традиции родной литературы, сам прокладывал ее пути, возводил ее мосты, был неутомимым работником, трудившимся с верой в будущее своей страны и ее культуры. Для этого, я думаю, требовалась Прометеева мощь самоотверженности и убежденности. Вот в чем я вижу особую, драгоценную черту деятельности Абая. В этом смысле у него были братья. Один из них — наш балкарский поэт Кязим Мечнев. Вся деятельность казахского классика явилась подвигом. И он, несомненно, входит в семью героев. Уроком для будущих поколений являются не только художественные создания Абая, но и его вера в силу слова и в жизнь, его стойкость, энергия, прозорливость, мудрость, терпение, его личность. Он был прикован к своей мечте о расцвете культуры родного народа, как Прометей к кавказской скале. И не сдался.

Абай был пленен глубиной и красотой произведений великих русских поэтов. В его переводе впервые зазвучали на казахском языке отдельные шедевры Пушкина, Лермонтова, Крылова, Кольцова, Некрасова.

Я говорю об известной каждому казахскому школьнику стороне деятельности Абая лишь потому, что это подтверждает, какую прозорливость проявлял поэт, веруя в будущее литературы и культуры родного народа. В этом сказывается еще одна черта большого таланта, крупного человека, значительной личности. Речь идет об уважении к культуре всех народов.

Прекрасны стихи и поэмы Абая и так же драгоценна его проза, она полна мудрости, лаконична, выразительна в своей сжатости, сильна самобытностью и свободой мысли. Сказано: «Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится умнее». Очень верно. Этому служит на земле мудрое, нетускнеющее слово и самого Абая.

Как бы кто ни судил, а каждый великий поэт является учителем каждого из нас. Я считаю Абая одним из моих учителей наравне с Кязимом, классиком моей родной балкарской поэзии. Когда речь идет об Абаяе, мое положение я могу считать выгодным, потому что я читаю его в оригинале и понимаю очень хорошо.

Создания поэта, ставшего великим для своего народа, становятся неотъемлемой частью культуры человечества, они рано или поздно находят путь ко всем народам, становясь их общим достоянием. Такова судьба поэзии и великого казаха Абая. Он — та белая гора, которую видят и будут видеть очень долго не только казахи, но и все люди, он — то дерево, которое остается зеленым зимой и летом, всегда. Он — богатырь поэзии, могучий ум, мощный талант. Абай — сын казахского народа и всего человечества.

1971

ГЛУБОКИЕ КОРНИ

Мне памятно время, когда появилась поэма Аркадия Кулешова «Знамя бригады», покорившая и изумившая меня своей глубиной, оригинальностью, свежей образностью и значительностью сказанного. Она была отмечена чертами истинной народности, подлинного искусства и явилась серьезной песней трудному и великому времени, достойной героев, самоотверженно защищавших отечество в жесточайшей из всех войн. Шел 1943 год. Кулешов, как и многие из нас, находился на фронте. Я читал и перечитывал поэму, и не было сомнения, что такую вещь мог создать только художник, всем существом любящий родную землю, где для него пекли сладчайший на свете хлеб, шелестели березы, белел чистейший снег, росла зеленая трава, жили сказки предков, звучали песни. Я понимал, что подобное произведение способен написать только поэт, обожающий все прекрасное и доброе на земле, ее труженников и воинов, ее завоевания и ее будущее.

В горькую годину, когда в его дом ворвались злейшие враги, жаждавшие навсегда погасить огонь родного очага и свет души народа, Аркадий Кулешов, горя и страдая, стал не только певцом, но и воином, защитником отчего края. Он верил в победу отечества, верил верою сына и большого художника. Об этом он и сложил прекрасную Песнь, в которой мы видели негасимый, непобедимый свет народной души, негнбаемую волю сражающейся страны.

Мы тогда воевали, и я не мог знать, что Кулешов станет

для меня не только одним из любимых поэтов, но и дорогим, близким моей душе человеком. А пока я носил в своей полевой сумке журнал «Знамя» с его поэмой. Многое было впереди — победа над фашизмом, тяжелые испытания, творческие радости и достижения.

Позже я узнал, что поэма Кулешова произвела сильное впечатление на Твардовского, слышавшего ее еще до перевода на русский язык. Александр Трифонович писал: «Первоначальное знакомство с этой вещью — одно из самых ярких и дорогих для меня литературных воспоминаний военного времени». Такое признание и похвала автора «Василия Теркина» выпадали на долю очень немногих.

Аркадий Кулешов — один из крупнейших мастеров поэмы в советской литературе. В этом смысле его имя смело можно называть после Твардовского. «Знамя бригады», «Цимбалы», «Новое русло» и другие крупные вещи белорусского мастера явились глубоким, серьезнейшим художественным выражением средствами поэзии значительнейших событий в жизни и истории страны. В них нет никаких хитросплетений и ухищрений, нет желания ошарашить читателя необыкновенным красноречием или нарочитой образностью, ведущей к искусственности, зато обычная жизнь в этих поэмах поднята до высшего уровня. Их с полным правом можно называть народными произведениями. Они стали достойными эпохи песнями, пропетыми неповторимым голосом, они сказаны честными устами одного из выдающихся художников нашего времени.

Самобытность и самостоятельность были и остаются замечательными свойствами Кулешова. Его голос — один из самых своеобразных, неповторимых, а потому прекрасных во всей советской поэзии, в которой у него — «свой надел и свой сноп». Мне известно, как работает Аркадий Александрович, как строг и требователен к себе. Он из тех сурово-умных авторов, которые не позволяют себе неряшливо обращаться со словом и в высшей степени дорожат им. Когда я думаю об этом, мне вспоминаются замечательные строки Симона Чиковани: «Настоящий поэт осторожен и скуп. Дверь к нему изнутри занерта. Он слететь не позволит бездельнице с губ, не откроет не вовремя рта». Это будто сказано об Аркадии Кулешове.

Кулешову чужды опрометчивая торопливость и стремление к дешевой популярности. Он умеет спокойно работать, зная, что важнее всего сделать дело на совесть, ища

то единственное слово, которое должен сказать поэт. Ему присущи мужество, мудрость и достоинство крупных художников, их совестливость и чувство ответственности перед народом и страной. В его работе замечательно уживаются талант и ум, человеческая скромность и творческая смелость.

Прекрасны своей строгой силой стихи Аркадия Кулешова зрелых лет, его поздняя лирика. Она глубинна, целомудренна, в ней много мысли и пронзительной эмоциональности, несмотря на внешнюю сдержанность тона. «Новая книга», цикл «Монолог» и последующие стихи Аркадия Александровича принадлежат к лучшим созданиям советской поэзии. Аркадий Кулешов, шагая в ногу с родной страной, живя ее радостями и заботами, создал полотна, освещенные светом народной жизни. Созидание и победы Родины поэт воспринимал как собственные, они для него были и остаются высшей радостью. Он народный поэт не только потому, что это звание ему присвоено официально за большие заслуги в литературе, но и по сути, по характеру и значимости своего творчества.

Обычно большие художники из пережитого высекают такой огонь, который горит для всех, греет всех, освещая всем жизнь. Именно так творит Кулешов.

Аркадий Кулешов чувства своих личных переживаний сумел отлить в формы большого искусства, а нелегкий жизненный опыт переплавил в строфы, полные человеческой мудрости, стойкости, света и жизни. В его поздних стихах много сердечности, философской глубины, серьезных размышлений и раздумий, а также драматизма, связанного с горечью утрат, без которых не обходится ничья жизнь.

В лирику Кулешова вошла и радость бытия и вся тревога нашего времени. Мир поэзии белорусского мастера — богатый мир советского человека, строителя, бойца, интернационалиста. Его поэзия в своей подлинности лишена всякой мишуры, потому она и стала одним из крупных явлений в нашей многонациональной словесности. Чем дерево больше, тем глубже уходят его корни в родную почву. Таким я воспринимаю и творчество моего белорусского собрата:

Есть ответственность — она безмерна —
Перед людьми, перед самим собой,
Чтобы, взрезав борозду строкою первой.
Связать свой сноп шестнадцатой строкой.

Так пишет Аркадий Кулешов. Ему посчастливилось связать свой сноп в литературе, не похожий ни на чей другой.

Тот же Симон Чиковани писал: «Художник, подобно дереву, растет всегда, до конца». Верность этой мысли подтверждается и работой Аркадия Кулешова.

Говоря о таком поэте, как Кулешов, не будем преувеличивать значение возраста: поэт, достигнув полной зрелости, встречает свое шестидесятилетие, как говорится, в хорошей творческой форме. Художник молод до тех пор, пока ему работается. Кулешову — большому поэту — предстоят еще новые творческие победы на радость всем, кому дорога поэзия.

1974

О ЗУЛЬФИИ И ЕЕ ПОЭЗИИ

Решив написать о Зульфии и ее поэзии, я задаю себе вопрос: почему это должен сделать именно я? И сам же отвечаю: потому, что я давно знаю и люблю ее стихи. Она не только большой поэт, известный стране и миру, но и хороший, обаятельный человек. И мне приятно сказать о пей доброе слово собрата. Кроме того, я читаю ее книги в оригинале. Это тоже дает мне право высказать мнение о мастере, работу которого я ценю. А все же земляки Зульфии — узбекские поэты и литературоведы, знают ее лучше, чем я. Это я признаю. Однако иногда интересно и любопытно слово о художнике, сказанное со стороны, человеком, живущим не рядом, а где-то за рекой или за горой. Есть еще и другая причина, не менее важная, которая в таких случаях заставляет меня взяться за перо. Для нас, советских литераторов, драгоценны дружба наших народов и братство культур. И об этом мы должны говорить не только на торжественных собраниях или в часы застолья, но и писать о культуре, поэзии, искусстве наших народов, воздавая их мастерам, что я и стараюсь делать по мере сил и возможностей. Это каждый раз доставляет мне удовольствие. Я люблю писать о тех, кто работает в литературе рядом со мной, о моих товарищах. Мне дорога не только культура родного народа, на языке которого я пишу. Это не просто слова, а подлинная суть моих понятий и ощущений. Я так же смотрю на горы. Этим же чувством продиктованы и мои строки о Зульфии и ее поэзии.

Зульфия однажды писала, что в ее биографии не было ничего героического. С этим нельзя согласиться, если к жизни художника подходить с учетом самого главного в нем — творчества, если учитывать внутренние законы искусства. Сколько пройдено, пережито и сделано этой красивой и умной женщиной, талант которой признан не только в нашей стране, но также в Европе и Азии! В жизни Александра Блока тоже не было ничего героического, если судить по внешней канве его биографии. А он самый трагический русский поэт двадцатого века и вообще один из трагических лириков во всей русской и мировой поэзии. Я могу позволить себе назвать его героическим художником. Такова суть сделанного им. Героизм художника — в его совестливости, верности своему призванию, высшим целям и идеалам искусства, в бескомпромиссности и служении народу, вскормившему его, верности самым светлым идеям времени.

Зульфия родилась за два года до Октябрьской революции. К ее счастью, ей суждено было мало прожить в старом мире. Но старые обычаи и традиции живучи. Ничто легко не уходит из жизни. И Зульфия, родившись в старом Ташкенте, должна была идти ко всему новому, ко всему советскому через большие трудности, преодолевая барьеры, которые ставили традиции и обычаи старого Востока, бывшего Узбекистана. Только так могла она стать художником нового мира, советским поэтом, которого сегодня знают и почитают не только в пределах и рамках родного языка. Хорошо понимая, что ее самохарактеристика продиктована скромностью, хочу сказать: для того, чтобы стать тем, кем является ныне народный поэт Узбекистана Зульфия, надо было обладать не только незаурядным дарованием, но и мужественным характером, стойкостью и большим жизнелюбием. Можно смело сказать, что ее жизнь не лишена была даже героизма. Мне кажется, что вообще в характере каждого крупного художника присутствует героическое начало. По моему мнению, нельзя отрицать того, что чаще всего художественному творчеству сопутствует драматизм чувств, ощущений, драматизм человеческого существования.

Зульфия говорит о своей матери, что она была птицей с подрезанными крыльями. То же самое могло быть и с дочерью. Но, к ее счастью, жизнь уготовила ей другую участь, куда более счастливую судьбу. И случилось так

только благодаря небывалой новизне жизни народов всей нашей страны, лишь благодаря Советской власти, которая дала возможность учиться, получить образование, а затем создала все условия для творческой работы и возвысила дочь узбекского труженика, как и, скажем, Расула Гамзатова, сына аварского горца, как Чингиза Айтматова, внука киргизского скотовода, как Давида Кугультинова, сына скромного сельского учителя-калмыка. Зульфия в своей автобиографии пишет, что ее мать никогда не выходила за порог своего дома. Удивительно! А дочь объездила мир и известна миру. В смысл этих слов стоит вдуматься. Выдающийся грузинский лирик Тициан Табидзе писал, что поэзия и под чадрой бывает такой прекрасной, что невозможно в нее не влюбиться.

Это верно. Но поэзия Зульфий прекрасна без чадры и без паранджи. Ее лицо, к счастью, открыто с самого начала свету, небу, снегу, звездам, дождю, рассвету, полдню, вечерним сумеркам, лунному свету, и оно действительно прекрасно, как и лицо самого поэта. Потому мне и доставляет удовольствие писать эти строки. Я не раз видел в Узбекистане женщин, красивые лица которых закрывала от меня тяжелая черная волосяная паранджа. Как мне хотелось видеть эти лица! Но, увы, темная сила паранджи была сильнее моих желаний. Все это так. Но ведь я, как уже подчеркивал выше, веду речь о большом поэте. В чем же заключена сила слова Зульфий, которая меня, живущего так далеко от нее, заставляет писать о ней? Считаю, что именно на этот вопрос, главным образом, я и должен ответить своей статьей. В работе замечательной женщины-поэта меня покораляет ее подлинность, не мнимая, настоящая народность ее поэзии, которая не чуждается и подлинной радости и подлинного горя. А это, когда речь идет о художнике, называется талантом. Об этом замечательно сказал Борис Пастернак:

Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

Иные пацвно полагают, что новизной поэзии является придумывание всяких ребусов, коверканье родного языка и прочие выкрутасы. Они заблуждаются. Новизна, как мне кажется, заключается в значительности содержания стихов, в самостоятельности образного мира поэта. В неновторимости его почерка. Все это в наше время блистательно

доказал Александр Твардовский. А если взять нерусских наших поэтов, то же самое сделали такие выдающиеся мастера, как Аркадий Кулешов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим. В их семью входит и народный поэт Узбекистана Зульфья. Кстати, насколько мне известно, она первая женщина в стране, удостоенная этого высокого звания.

Позволю себе привести несколько строк из частного письма Зульфьи, в которых, по моему мнению, очень точно и искренне выражено ее отношение к поэзии: «Жизнь идет, унося с собой наши годы, взамен оставляя стихи, где жизнь души — ослепительная, до боли идущая радость бытия, и старые шрамы, новые кровоподтеки, которыми нас, к сожалению, щедро одаряют наши дни. Но она, жизнь, этим все дороже и желаннее». Так мог сказать только настоящий художник. Каждый поэт знает себя лучше, чем мы, его читатели. Обратимся к стихам Зульфьи, в которых она пытается определить свою задачу художника. Вот они:

Сказали мне: «Гори не угасая!
Мы знаем, что губительн пожар.
Но пламя сердца, песнь твоя простая,
Да будут нам как благотворный дар».

Я это пламя отдала долинам,
Чтоб ярко в каждом вспыхнуло цветке.
Студенческим вагончикам целинным,
Текстильщикам в рабочем городке.

Любви и правды огненная сила,
Казалось, двигала моим пером.
Ни горя, ни веселья не таила —
Я честно говорила обо всем.

Я — дочь народа, мастера большого,
Что трудится поэзией дыша.
Сумею ли ему сказать я слово,
Спящее, как его душа?

Мне хочется подчеркнуть очень важную и верную мысль в этих стихах, которая останется вечным заветом для художников, а именно то, что художник должен говорить, не избегая ни радости, ни горя, говорить честно. Без этого человек, называющий себя поэтом, окажется тем голым королем, хорошо знакомым нам по сказке Андерсена. Зульфья в этих своих программных стихах коснулась одной из самых необходимых для художника черт, отсутствие которой роковым образом сказывается всегда в его

работе. Я верю приведенным мною строкам, в их искренность и правдивость, потому что довольно хорошо знаю их автора. Кроме того, осмеливаюсь утверждать, что Зульфия сумела сказать своему народу спяющие слова, являясь ныне одним из его крупнейших и известнейших поэтов. И для этого требовался не только пезаурядный талант, еще надо было обладать мудростью и стойкостью, иметь мужество художника.

Мне посчастливилось впервые увидеть Зульфию в те годы, когда ей было всего лет двадцать восемь. Тогда она была счастлива, несмотря на горе и беды военных лет: рядом с ней находился ее любимый муж, талантливый поэт, красивый человек, Хамид Алимджан, сама она была не только молода, талантлива, здорова, но и красива. Я смотрел на нее с восхищением и думал: «Какой счастливый Хамид Алимджан!» Я не завидовал, а восхищался, глядя на эту молодую пару. Тогда, помню, я даже представлял себе Зульфию девушкой, идущей по винограднику, глядящую на восход солнца ранним утром, видел как падает на ее колени лунный свет в отцовском дворе. С тех дней прошло много лет, но я все равно каждый раз с радостью смотрю на Зульфию — она остается красивой и милой.

Счастье Алимджана оказалось кратким. Через год после того, когда я впервые увидел Зульфию, ее постигло великое горе: Хамид погиб в автомобильной катастрофе. Выше я говорил о мужестве поэта. Когда к Зульфии пришла большая неожиданная беда, она не опустила крыл, не сломилась. Это очень важно. Так чаще всего поступали крупные художники. А у них мы должны учиться не только художественному мастерству, но и жизненной стойкости, мудрости. Вспомним хотя бы Бетховена, извлекавшего из всех своих горестей и бед могучие и непобедимые звуки музыки. Это была Прометеева мощь. Не каждому художнику, разумеется, дано быть Бетховеном, но каждый художник, независимо от степени дарования, должен нести в себе хотя бы отсвет этого Прометеева огня, освещавшего жизнь Бетховена, и учиться у таких, как он. Именно это и сумела сделать Зульфия. Пусть ее стихи, написанные в те дни, когда раны сердца были еще свежи и большая тень неотвратимой беды падала на ее двор и ее жизнь, подтвердят сказанное мною:

В невидимом горю я пламени,
Что не погаснет никогда.

Печаль пришла, печаль нашла меня —
Моя печаль, твоя беда.

Засну — приснишься неминуемо,
Проснусь — иду тебя в жару.
Моя строка, тобой волпуема,
Не подчиняется перу.

Могу ли стать спокойней, сдержанней?
О, почему, скажи мне все ж,
Любовь, чем ты самоотверженней,
Тем больше горя вам несешь?

Моей печали постижение —
В потоке месяцев и дней.
Хотя я с ней веду сражение,
Они становятся сильней.

Твоим я счастьем счастье меряю.
С тобой слилась на все года,
И даст мне силу — твердо верю я —
Моя печаль, твоя беда.

Мне хочется выделить две мысли в процитированных стихах. Когда беда неотвратима, человек должен стараться быть стойким вдвойне и достойно встретить горе так же, как он раньше встречал радость. Он должен вести именно сражение с несчастьем, как и сказано у Зульфии. По мне, замечательны и заключительные строчки стихотворения:

И даст мне силу — твердо верю я —
Моя печаль, твоя беда.

Это очень верно, правдиво и значительно.

Замечательно то, что из ее стихов вырастает цельный, честный, мудрый образ поэта Зульфии. Читая ее книги, я вижу, что у нее нет никакого желания и стремления казаться читателям лучше, чем она есть как человек и художник. Она говорит так, как ей хочется — просто, естественно, скромно. Она не признает поэмы и декламации. Отсюда и большое обаяние ее поэзии. Она права. Ей хочется оставаться поэтом народа, который вскормил ее, дал свой язык — этот бесценнейший из даров. Благодарная дочь отвечает родному народу горячее, преданной любовью за все дары и, в свою очередь, отдает ему свой талант, вдох-

повение, все силы. Она заслуженно и достойно носит звание народного поэта. Зулфия прошла весь полувековой путь родной советской республики, вместе с ней была и остается свидетельницей возрождения и расцвета нового Узбекистана, его экономики и культуры. Все это стало счастьем для нее, и она выросла в одного из крупнейших певцов возрожденной социалистической Родины. Это и есть ее высшая радость и высшая гордость. И об этом сама Зулфия скажет лучше меня. Послушаем снова ее:

И лучшие из песен, сытых мной,
Советской посвятила я отчизне,
Ведь счастье живо лишь в стране родной,
А без нее горька улада жизни.

Вот почему мне Родина милей,
Дороже мне, чем свет дневной для глаза.
Любовь к ней говорит в крови моей,
Напевом отзываясь в струнах саза.

Мы часто говорим и пишем о предности и противопоставленности национальной ограниченности и местнической узости для художника. И это верно. Мне думается, всякая замкнутость в пределах родного дома особенно губительна в наш век. Я, например, не могу любить поэта, который ничего дальше отцовского двора не хочет видеть, не признает и не любит. Такое отношение к миру мне кажется непростительной для художника слепотой. Разве мыслимо, к примеру, представить себе такими Пушкина или Гете? Нет, конечно. И в этом отношении поэзия Зулфии стоит на большой высоте, ее интерес к другим народам, их культуре широк, ей дорого все, что несет человеку радость и добро на всей земле. Зулфия — активный борец за мир, за дружбу и братство людей. Это благородная тема также занимает большое место в ее творчестве. Ее стихи о России, Кавказе, Казахстане, Индии, Египте, Вьетнаме свидетельствуют о широте диапазона творчества народного поэта Узбекистана, о верности узбекского мастера великому чувству интернационализма. Об этом красноречиво говорят, в частности, строки из стихотворения «Мушопра», в которых определен долг советского поэта — певца братства народов и культур, сущность революционного искусства:

Стихи вставали, как мосты.
Для нашей дружбы, нашего сближенья —
Мосты любви и уваженья,
Мосты народной красоты.

Большая поэзия всех народов всегда служила и будет служить именно сближению человеческих сердец, братству народов, оставаясь врагом ненависти и отчужденности между различными нациями, вражды. Это святой долг поэзии, ее великая миссия, непобедимая сила. И я с радостью подчеркиваю, что Зульфия верна этому долгу поэта и этой миссии поэзии.

Не об том ли говорит нам ее стихотворение с прекрасным названием «Доброе утро, люди мира!». В нем поэт берет на себя трудную пошу уважения и любви к людям, к труженикам мира и детям, тяжесть заботы и ответственности за них, за все живое на свете. Это ведь тоже навсегда завещано поэтам их великими учителями, и это особенно важно в наш век, когда смертоносное оружие, средства разрушения и взаимного истребления достигли небывалого совершенства и силы. В таких условиях художник не может не быть борцом за мир, за братство людей и народов, ибо его дело по своей природе в высшей степени человеколюбивое и гуманное, поэзия порождения света, она — вечный враг тьмы и жестокости, несправедливости и смерти. В сердце поэта всегда будет звучать бессмертный пушкинский гимн свету, его боевой лозунг:

Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!

А теперь опять послушаем строки Зульфии из стихотворения «Доброе утро, люди мира!»

Соседи сейчас отдыхают, засыпает сейчас детвора,
А для меня наступают любимой работы пора.

На свет моей маленькой лампы, в рабочий мой уголок
Приходят родные мне люди, со всех городов и дорог.

Строители, хлопкоробы, работники рек и гор
Со мной продолжают долгий искренний разговор.

И каждый хочет по праву увидеть в моих стихах
Свою трудовую славу, творческий свой размах.

Они мне вручили слово, за них я сейчас говорю,
Как пограничники в дозоре, я охраняю зарю.

Что может быть лучше для поэта, чем охранять зарю для людей, которые созидают, чувствовать себя причаст-

ным к их труду и судьбе, быть им братом, иметь право говорить от имени их и за них? Советский поэт Зульфия чувствует за собой такое право, имеет такое счастье. Она спокойно и сердечно говорит, как садовник, идущий по саду на заре: «Доброго утра, люди мира на всей земле!»

Зульфия, как и положено большому мастеру, как подобает советскому художнику, поэту-коммунисту, с глубочайшим уважением относится ко всем народам, к их матерям и детям, к их культуре, она — певец интернационализма в высоком и подлинном смысле слова. Потому-то цикл ее индийских стихов был в 1968 году отмечен Международной премией имени Джавахарлала Неру, а в 1970 году ей присуждена была премия «Лотос». Значительна не только поэтическая, но и общественная деятельность Зульфий. Она редактор республиканского журнала, депутат Верховного Совета Узбекской ССР. Поэзия и общественная работа у нее слиты. Она знает общественную силу поэзии, а в политической деятельности видит поэзию. Зульфия — цельный, сильный, мудрый человек со светлым сердцем, открытым всему хорошему и доброму на земле. Одну из своих автобиографий она заключает полными света и нежности словами: «Возьмите мое сердце, люди! Я для вас пою зарю!»

Она и остается такой и в жизни, и в поэзии. Ей хочется помочь всем, кто нуждается в ее поддержке, подбодрить своим словом каждого труженика. Так велено от века поэтам. В поэзии Зульфий много света, тепла, сердечности, душевной энергии, оптимизма и любви к жизни.

Я понимаю, что представлять Зульфию советским читателям нет надобности — они хорошо знают ее. Мне просто хотелось сказать о ней доброе слово собрата, любящего и в какой-то мере знающего ее поэзию, пропитанную сердечной любовью к миру и людям, по-хорошему простую и парадную, пропитанную добрым светом и душевностью, умную и в то же время эмоциональную, выросшую из национальной почвы и обращенную ко всем. Я люблю есенинские слова из его замечательного обращения к грузинским поэтам:

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Это очень верно. Я тоже стараюсь всегда так относиться к своим собратьям — хорошим современным поэтам и среди них милой, умной и доброй Зульфий. Она мой друг. Я кунак ей. И эти строки — всего лишь слова друга. И в это летнее утро, когда мое лицо освещено белизной снегов Кавказского хребта, сиянием Эльбруса и Казбека, я тихо говорю:

— Доброе утро, Зульфий, сестра моя!

А еще повторяю ее прекрасные слова:

Помни про лучшую песню свою:
Лучшая песня всегда впереди!..

КОРНЕВЫЕ СВЯЗИ

Тарковский не избалован почестями. Но мне хочется напомнить народную мудрость о том, что золото всегда остается золотом.

Арсений Тарковский пришел к своей заслуженной победе. Две книги поэта, недавно увидевшие свет, говорят о нем как об одном из глубоких поэтов нашего времени. Вот почему я говорю о победе Тарковского. Он поэт высокой культуры, выдающийся мастер стиха, верный и мудрый наследник чародеев волшебной русской поэзии от Пушкина до Блока. Глубоки его корневые связи с ними. Я сознательно подчеркиваю слово «культура», памятуя, что имеются литераторы, которые пренебрежительно относятся к культуре, полагая, что она мешает поэту быть самостоятельным и эмоциональным. О несостоятельности подобного взгляда и говорить нечего. Враг писателя, как и любого человека, не культура, а невежество.

Арсений Тарковский заслужил любовь тех, кому дорога подлинная поэзия, своим большим талантом и мастерством. Он сумел, как истинный художник, слить эти два главных свойства настоящего творца. Он не из тех, кто готов надеть венок, которого не заслужил, его не прельщала и не прельщает дешевая популярность или известность любой ценой. Крупный поэт похож на хорошего коня, который замечательно чувствует дорогу даже среди ночи. Кстати, мнимая или искусственная известность чаще всего проходит быстро, подобно ночному ветру, пролетев-

шему над осенними деревьями. Мода враждебна поэзии. Ее цветы вежливы. Подлинность и мудрая строгость — вот душа искусства. Тарковский никогда не был и не будет в числе тех, кто вынудил поэта сказать: «Быть знаменитым некрасиво». Наоборот, он из тех, кто имеет право повторить вслед за Николаем Ушаковым:

Но я, писатель терпеливый,
Храплю, как музыку, слова.

Книги Тарковского убедили нас: «чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». В данном случае я, конечно, имею в виду строгость поэта к себе.

Арсений Тарковский — художник, который высоко ставит не жажду известности, а честь великой русской музыки, которой он служит своим талантом. А талант и самозабвенный труд требуют от художника мужества и стойкости. Поэзия любит верность. Поэт должен быть зорким и мудрым.

Какое место сам Тарковский отводит переводам, не знаю. Но нельзя не отметить и эту сторону его работы. Он — один из выдающихся мастеров поэтического перевода. Его преданно любили и любят многие поэты разных народов нашей страны. В этой связи достаточно вспомнить одно только прекрасное имя — имя Симона Чиковани, многоцветные стихи которого так блестяще переведены Тарковским. Поэзия — сказочная радуга. А радуге радуются все. Возможность видеть радугу поэзии народов дают людям выдающиеся поэты, переводящие своих собратьев. И я, несколько не колеблясь, одним из первых называю среди них Арсения Александровича Тарковского.

Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова! —

сказал он. Надо правильно понять поэта. Мастер говорит о сложности своего труда. Во всяком случае, нам понятен его невольный вздох.

Я помню его молодым, тридцатилетним, красивым. Сказав так, я спохватился и подумал о том, что он красив и сейчас, хотя это уже другая красота. Глядя сегодня на его очень выразительный восточный профиль, я вижу мой родной Кавказ. В его жилах течет родственная мне кровь предков-половцев или куманов, от которых происходят балкарцы и кумыки, как и ряд других тюркских народов.

Я не мог не отметить и эту особенность Арсения Александровича, хотя допустил маленькую, но никому вреда не приносящую национальную ограниченность. Великодушно простите мой невольный грех, братья славяне!

Я не могу не сказать, что шестьдесят лет — это не пустяки для человека, прожившего их. Но тут же добавлю: это еще хороший, зрелый для художника возраст. В таком возрасте Тютчев и Фет написали ряд своих изумительных стихов.

Арсений Тарковский — один из крупных советских поэтов, продолжателей благородных традиций русской классической поэзии с ее углубленным интересом к жизни и человеку, верностью им. В одном из своих стихотворений он пишет:

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я шел со всеми вместе
И не покину пиществ живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

Без этих корневых связей с жизнью своей страны и человечества, с людьми, с их судьбой, радостью и горем, с птицами и деревьями, а также с великими мастерами прошлого — не бывает и нового поэта. Тарковский, большой мастер, выдающийся художник, одаренный замечательным чутьем, остается верным этим принципам искусства. Пожелаем ему долго-долго быть «прямым словарем связей корневых», долго петь «со всеми вместе» — вместе с людьми, птицами, с дождем и ручьем. Пусть и зимней ночью ему спятся зеленые деревья! Настоящим художникам, говорят, обычно спятся такие сны.

ЗЕМНАЯ ПЕСНЯ

Книжка Алексея Пысина доставит читателям большое удовольствие, принесет радость.

Главная тема его стихов — любовь к земле, на которой мы живем, на которой человек совершает свой трудный ежедневный подвиг, преобразуя мир и двигая жизнь вперед. Вчитайтесь в эти строки:

Мне в жито хочется войти,
Мне кажется, что вечность — жито.

Замечательно, что в стихах Пысина нет пустого красноречья, вычурности, они естественны, как разговор пахарей, вернувшихся вечером с поля. Алексей Пысин может скупыми средствами передать движения человеческой души, ее боль и тревоги. Он пишет о простом — об осеннем лесе, о камне у села, о певучих колоннах ливней, о птичьих стаях, о бесконечной карусели дождей.

Поэт Белоруссии, он защищал эту землю, израненную огнем и металлом, горевал ее горем, добывал нелегкую победу. По праву участника войны он не только громче слышит ее эхо, не просто слагает реквием солдатам-однополчанам, он говорит от имени своего поколения:

Пусть отступленье, наступленье
Душа ведет не без утрат.
Быть может, в этом обновленье
Всех подвигов твоих, солдат.

Край отцовский, тот, что «душу тропет росинкою чистой, сердце тихо задевет дымкой», диктует поэту стихи негромкие, но глубокие.

Слово Алексея Пысина вдумчиво сказанное, сердечное, простое. В его стихах хлеб и вода сохраняют свой вкус и первозданную святость. У него все по-настоящему серьезно, значительно. Как надо остро все ощущать, быть привязанным ко всему сущему на земле, чтобы сказать такие слова:

Сосна, как мама на закате,
Зовет протяжно: «Алексей».

Алексей Пысин совсем недавно отметил свое пятидесятилетие. Сейчас у него пора настоящей зрелости. Недавно он говорит: «Не покидай меня, тревога, будь светлым спутником моим!»

Я, кавказский литератор, давно знаю и люблю стихи Пысина и считаю его замечательным белорусским поэтом. Мне дорог братский союз поэтов, о котором говорил Пушкин. Я когда-то учился с Алексеем Пысиным. И еще тогда поверил в его талант, мне и в годы совместной учебы были понятны и близки скромность и душевная чистота моего белорусского собрата. Эти его человеческие качества и отлились в прекрасные цельные стихи.

Поэзия всегда обращена к молодости мира. Верно сказал Георгий Леонидзе: «Стих и юность — их разделить нельзя — их одним чеканом чеканили». А сам Алексей Пысин написал слова верно и хорошо выражающие суть его поэзии:

Беру с собой нелегкие дороги,
Следы страданий, что остались там...
Беру с собой бессонные тревоги,
А юный свет я юным передам.

ЖИВОЙ РОДНИК

Реки продолжают свой путь, протекая и через зеленые леса, и по жарким степям, они спокойно несут свои воды. То же самое происходит и с творчеством значительных поэтов, в семью которых входит классик кабардинской поэзии Али Шогенцуков.

Прошло почти 20 лет, как буря войны сломала, вырвала с корнями дерево жизни поэта, но дерево его поэзии до сих пор остается зеленым и все глубже пускает сильные корни в родную землю, полную древней и новой красоты и силы. Физическая жизнь художника куда доступнее силам разрушения, чем жизнь его книг. Поэты умирают, а поэзия продолжает жить.

Я знал Али Шогенцукова и хорошо его помню. Сам он был так же прост и естествен, как и его жизнь, он был горячим и честным, как его поэзия. В нем замечательно уживались простой крестьянин и большой художник, дополняя друг друга. Я уверен, что он нахал бы землю и паскот так же хорошо, как писал. Али Шогенцукова сделала поэтом любовь к родной земле и родной речи. Он ушел из жизни влюбленным в нее, очарованным вечной красотой нашей земли и кабардинской речи. Эта же любовь побудила его отправиться на фронт в те дни, когда фашистские орды угрожали Родине, нашим домам. Самоотверженный человек и художник, хотел отстоять свою любовь.

Али Шогенцуков любил людей, для которых труд и созидание являются радостью жизни, сам поэт был одним

из них. Он воспел свой возрожденный край, зорко присматриваясь ко всему, что происходило вокруг, был рад тому, что видел, тому, как росла страна, созидал народ.

В стихах и поэмах Али спяют вечные белые вершины Эльбруса, которому поэт сказал полные сердечности слова.

Рядом с вершинами Эльбруса живут в книгах поэта простое дерево и речушка Нальчик, желтые листья осени и декабрьские морозы, теплая весна и благодатные дожди, вспаханное поле и огни Баксанской ГЭС.

Шогенцуков, певец новой, советской Кабардино-Балкарии, был счастлив тем, что «открылся новый родник народных сил», и горячо умел говорить об этом.

Поэмы Али Шогенцукова — «Камбот и Ляца», «Мадина», «Юный воин» и другие — любимы народом и являются классикой кабардинской поэзии. Нет сомнения, что они еще долго будут в душе кабардинского народа спать, как горы.

Хочу отметить еще одну черту его поэзии. Он с большой любовью, преданностью и нежностью рисует женские образы, лепит облик многострадальной горской женщины. Образы горянок — Мадины из одноименной поэмы, Ляцы из романа в стихах «Камбот и Ляца», матери из «Зимней ночи» полны жизни и обаяния.

Али Шогенцуков один из тех писателей, которые много сделали для нашей культуры. Кабардино-балкарские литераторы многим обязаны ему, учились у него не только поэтическому мастерству, но и преданности родной земле, поэзии и гордился дружеским общением с ним. Обаятельный образ поэта остался в его прекрасных книгах. Поэта убила молния войны, но река его поэзии несетя все так же, не мелея, отражая в себе снежные вершины, синее небо и зеленые ветви высоких чинар. Его творчество — живой родник кабардинской поэзии, а любовь народа — залог долговечности памяти о нем.

СТЕПНАЯ МУЗА

Если бы я не знал автора книги, о которой пишу эти строки, все равно, прочитав ее, твердо сказал бы себе, что она создана хорошим человеком... Впрочем, на мой взгляд, в подлинной поэзии всегда живут мудрость народа и человечность колыбельной песни. Она рождается горячей любовью к подвигу и к мирному сну ребенка. И в ней нечего делать человеку, равнодушному к отваге героя и белому цветению алычи. Творчество рождается удивлением, горячей любовью ко всему живому, добротой и благородством. Недаром же Пушкин, как бы подытоживая свою жизнь и работу, сказал, что он лирой своей пробуждал чувства добрые. Это бессмертный урок для всех поэтов и завещание...

Сказать все это побудил меня мягкий свет, разлитый по книге Дамбы Жалсараева «Степь родимая». Бурятский поэт своими стихами убедил меня в том, что земля и жизнь и все хорошее и доброе на свете дороги ему. Жалсараев не из холодных стихотворцев или позеров, любящих только самих себя. Когда он говорит «родимая степь», он словно произносит имя матери. Поэт глядит на небо, по которому проносится советский спутник, и с тихой печалью склоняется над едва заметным родником в степи. Глотая из него — «и столько сил в тебе проснется, хоть путь далекий вперед!..» Поэту хорошо от того, что «все больше и больше вырастает в округе домов», он счастлив, утверждая, что самая великая правда земли — это ленинская

правда. Самое высокое, как небо, и самое простое, как испеченная в очаге картошка, составляют основу стихов нашего бурятского собрата. И это хорошо. Это поэзия, верная жизни.

Мне довелось побывать в Бурятии, встречаться с чуткими, мудрыми и работающими людьми. Когда же теперь прочитал книгу Дамбы Жалсараева, у меня появилось такое чувство, будто я снова пожал руки этим замечательным людям, увидел мягкие улыбки смуглых девушек и сосредоточенные лица смелых табунщиков.

Как и все настоящее в поэзии, творчество Жалсараева не ограничивается только одним своим домом, где поэта впервые в счастливый час посетила его степная муза. Бурятскому поэту близка и «космическая» даль. Он говорит: «Планеты, познакомиться нам время — соседи мы по солнечной системе».

Ему дорого воркование голубей на улицах Москвы; к своему эстонскому собрату Юхану Смуулу он обращается с полными дружеского расположения стихами...

Я пишу эти строки в очень солнечный день. За моими окнами белеют хребты Центрального Кавказа. Через огромные просторы дошел до меня голос Дамбы Жалсараева — чистый, ясный. Его слышали и мои земляки-горцы.

1963

ПОЭТ ЯКУТИИ

Есенин за всех нас сказал:

— Поэт поэту есть кушак.

Мои слова братского привета обращены к доброму, благородному и талантливому собрату. Каждый раз, в праздники и будни, мне бывает радостно получить письмо или телеграмму от Семена Дапилова. Это нередко случается совсем неожиданно, что придает восточке товарища особенно приятный смысл. Придет из далекой Якутии книга с сердечной надписью, и я чувствую руку, протянутую мне из дальней дали.

Мы с Семеном Петровичем живем в разных концах страны. Но верно сказано, что для дружбы коротки все дороги. Любой замечательный край становится еще лучше для нас, если там живут наши добрые товарищи или друзья. Семен Дапилов любит и воспевает свою суровую и милую его сердцу землю отцов. Он один из лучших ее певцов, ставший известным советским поэтом.

Порою я боюсь, что мы, нынешние литераторы, нередко злоупотребляем словом «друг», повторяя его по поводу и без повода, едва знакомых называя друзьями. Когда же речь идет о Семене Дапилове, прекрасное слово становится на свое место. Все близко знающие якутского поэта, легко согласятся со мной. Об этом я говорю потому, что поэзии далеко не все равно, чьи руки прикасаются к ней, с кем она имеет дело. Каждому хочется иметь порядочного соседа даже по квартире. И в день пятидесятилетия Семена

Данилова мне приятно подчеркнуть, что он, будучи поэтом, является и хорошим человеком. Раскрываю книгу его стихов, читаю: «Мороз январский, долга пурга, а я сижу, стихами друга рапел». Вполне естественно, что добрый человек не может быть не рапел болью другого. «Сообщаю я новым знакомым, что прописан в Якутии я», — говорит Данилов с гордостью за свой родной край и его работающий народ. И это мне по душе.

Поэт хорошо знает, о чем и что ему надо сказать людям. Но ведь перед ним каждый раз встает трудный вопрос: как сказать? Но и тут Данилов с честью выходит из положения. Читаю его книги и вижу: все это мог сказать только он, это его слова, его мир, его ощущения и индивидуальность. Якутский поэт говорит о серьезных вещах своим естественным голосом, не стараясь перепясть чужие интонации и манеру, какими бы впечатляющими они ни были. Недаром он пишет, что «под других не рядился, речь не коверкал свою».

О чем его стихи? О возрожденной родине, его трудолюбивых людях — охотниках, рыбаках, строителях новой жизни. Его душевные слова обращены к родному дому, хлебу, воде, вечно горящему огню — к жизни. Это и делает его поэтом, близким всем нам, в каком бы краю мы ни жили.

Данилов умеет быть самым собой. Его книги говорят мне, что он верен стихии и обаянию родного фольклора, а также учится у крупных мастеров других народов. Якутский поэт верен облику и воздуху своей земли. Это не мешает его сердцу быть распахнутым миру. Деревья родного края, его снег, вода, рассветы и сумерки, его скромные цветы, упорство людей заснеженной тайги — все это входит в книги поэта и дышит подлинной жизнью. Он смотрит в лицо своей земли внимательно и влюбленно. Как просто и хорошо сказано: «Здравствуй, красная смородина, здравствуй, вкусная вода!» А вот еще две строки, произнесенные с тою же непосредственностью: «Гроза всю ночь ко мне в окно стучала струями косыми...» Иные все еще полагают, что поэтичным может быть только необыкновенное или не просто сказанное. Большое заблуждение.

Семен Данилов пишет: «В шалаш у речного истока на зорьке вошел ко мне ветер». Вот так из очень простых слов, из крупиц создается поэтом образ его родины, воспевается ее возрождение, выражается любовь к жизни, ко

всему подлинному и дорогому в ней, ее праздникам и будням, ее созидательным силам, к вечной мудрости и мужеству народа. Так входит в стихи настоящая красота мира.

Ровесник Октября, Семен Данилов стал одним из его благодарных певцов, поэтом братства людей и дружбы культур. У нашего собрата сейчас самый зрелый для художника возраст. Мы, его товарищи и читатели, верим, что Семен Петрович напишет еще не одну хорошую книгу.

1967

7

ПОЭТ
И КУЛЬТУРА

ЗА БОЛЬШУЮ, КАК ЖИЗНЬ, ПОЭЗИЮ!

(Из речи на Первом учредительном съезде писателей РСФСР)

Я родился под Эльбрусом, где есть пословица: «Хороша веревка длинная, а речь короткая». За все дни съезда о поэзии было сказано немало. Но, как мне показалось, многие из выступавших с этой трибуны, говорили о поэзии несколько равнодушно. Я считаю, что о ней нельзя говорить равнодушно, так же как нельзя писать равнодушно. Она заслуживает того, чтобы, касаясь ее, говорили горячо, самозабвенно, от всей души, с большой любовью!

В последнее время, особенно среди молодых поэтов всех национальностей — я это хорошо знаю по Средней Азии и Кавказу, — масштабы интересов авторов поэтических книг сужаются, сила убежденности снижается. Молодые авторы недостаточно зорко смотрят на мир и на все происходящее в нем, не часто врывается в их вещи жизнь со всей ее многогранностью. Таковы мои ощущения. Мне хочется сказать, что поэзия прежде всего рождается душевной щедростью, обнаженностью сердца, без которых художник немислим. Мы, советские литераторы, хотим, чтобы людям на земле жилось хорошо. Все большие поэты во все времена служили народу, мечтали о том, чтобы людям жилось лучше. И мы об этом не вправе забывать.

Мы уверены, что лучшее общество, где человек будет жить хорошо — это коммунистическое общество. Поэтому и отдаем свое дело и слово, всего себя этим лучшим идеалам. Каждый художник идет прежде всего от своих убеж-

дений. Иначе он не может работать. Ошибаются те, кто говорит, что каждый раз в стихах должно быть побольше слов о том, что мы идем к коммунизму. В этой связи мне вспомнился недавний случай у нас на Кавказе. Один стихотворец принес в редакцию стихотворение, где были такие вот строчки (привожу их в буквальном переводе): «Передовой чабан Карабаш, веди свою отару по пути к коммунизму».

Другой молодой поэт принес в ту же редакцию стихи о девушке с загорелыми руками, которая после сбора винограда, возвращаясь домой вечером, поет песню о своей любви. Редактор сказал: «То стихотворение, где есть слова «коммунизм», «мы соревнуемся» и так далее — для газеты вполне подходят, а другое — нет». Ему казалось, что любовь девушки к юноше помешает делу коммунизма. Как это странно и убого! Думаю, что поэзия может служить людям только своей постоянной содержательностью, глубиной, образностью и художественным совершенством. А без пещности просто нет человеческой души. И как же без нее обойтись поэзии? Настоящая поэзия создается только теми, кто горячо любит землю — от сверкающих горных вершин до запыленной былинки у дороги.

Поэт в моем представлении — это вроде хорошего коня, который весь самозабвенно отдается бегу, честно скачет и не остановится до тех пор, пока не упадет или не доскачет до цели! Говорят, что у нас, у малых народов, поэзия в лучших своих образцах достигла высокого уровня. Я думаю, что это правда. Но это не должно нас успокаивать, мы не можем обольщаться, нам надо работать упорно и идти дальше. Если даже у нас имеются определенные достижения, мы обязаны знать: хорошему нет предела. Нам известно, какие великие мастера поэзии, какие волшебники слова работали до нас на земле. Нам далеко до них. Это необходимо и полезно помнить.

Два слова о национальной форме и национальном характере. Думать, что национальный характер заключается в том, чтобы писать стихи или прозу в каком-то особом восточном стиле — заблуждение. Под национальной формой мы должны понимать не внешние атрибуты, вроде бурки или кипжала. Нам надо быть эстетически грамотными в большом смысле слова, иметь широкий взгляд на мир, ведь каждый советский поэт, работая на своем языке, говорит о нашей общей советской жизни.

Сила песни не зависит от численности людей того селения, где она родилась. Традиции создаются талантливыми людьми каждой нации, что и делается сейчас на наших глазах у многих советских народов, литературы которых родились при Советской власти. К нашим национальным литературам заботливо и любовно относился Горький. Эту традицию продолжают другие крупнейшие русские советские писатели. Мы признательны им за такое братское отношение к нам. Я думаю, что Николай Тихонов, например, даже лучше меня знает названия балкарских гор.

Мы будем бороться за поэзию честную, боевую, готовую на жизнь и на смерть, как в стихах Николая Тихонова: «Но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед».

Хорошие стихи всегда идут вперед, ничего не боясь. Плохие же похожи на трусливых солдат, которые, когда надо идти в бой, бегут назад.

1959

ЛИТЕРАТУРА — ДЕЛО ВСЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ

(Из речи на Пятом съезде писателей СССР)

Одной из замечательных черт нашей жизни является то, что достижения любой из национальных литератур страны становятся достоянием всех народов. История литературы действительно не знала такого взаимного интереса и уважения, такого взаимного обогащения. Этим мы обязаны нашей новой небывалой судьбе, нашему коммунистическому братству.

Мне хочется остановиться на одной важной стороне нашей литературной жизни, на одном практическом вопросе. Чем дело замечательнее, тем больше надо стараться оберегать его от всего дурного. При нынешнем небывалом количестве переводных книг среди них мы встречаем и такие, которые лучше бы не видеть. Неприятно встречаться с плохой книгой, как и с плохим человеком. Мне кажется, что до сих пор переводится много таких книг, особенно стихотворных, которые не стоило бы переводить, потому что они не заслуживают этой чести как слабые, безжизненные, а потому ничего не дающие нашей советской литературе. Когда речь идет о переводе, мы должны руководствоваться только одним критерием — идейной и художественной значимостью произведений.

Как переводят — это очень важно. Об этом говорят и пишут чаще. А что переводят — вот об этом обычно молчим, хотя такое молчание неразумно и вредно. Выходит много плохих книг, засоряющих литературу, унижающих ее, не вызывающих интереса у читателей, а потому бес-

полезных. Быть переведенными на другие языки имеют право только хорошие книги. Это азбучная истина. Жаль, что мы часто не придерживаемся ее. К этому нельзя относиться безразлично, если дорога нам наша литература, к которой нужно относиться, как к нашей совести и чести. Лучше переводить меньше, но действительно хорошие книги, которые могли бы стать явлением в советской литературе. Так будет гораздо лучше для литературы, для читателей и для дружбы народов. Безжизненные, антихудожественные книги, если даже они издаются в самых роскошных переплетах, никогда не делали, не делают и не будут делать чести никому.

Мною сейчас руководит тревога за наше общее дело. А дело наше выше каждого из нас. Без такого отношения к своей работе нельзя заниматься творчеством. Мы знаем прекрасные переводы Исаковского из Кулешова, Пастернака, Тихонова, Заболоцкого — из грузинских, Липкина — из персидско-таджикских поэтов, Тарковского — из Чиковани, Самойлова — из Межелайтиса, Межирова — из Марцинявичюса, Гребнева и Козловского — из Гамзатова, Нейман — из Кугультинова. Но мы также должны признать, что, особенно за последние годы, появилось много ремесленников, которым все равно кого переводить и как переводить. Считать себя поэтом и думать: «Неважно, как меня переводят, лишь бы печатали!» — невозможно. К сожалению, хватает и таких. А как это горько! Хочется верить, что все это будет преодолено.

Национальная замкнутость, неуважение или вельюбовь к другим народам никогда не сулили художнику ничего хорошего. Человек, желающий беды соседу, не только злобен, но и убог. А художник, ставший на этот путь, просто несчастен. Поэзия не может стоять на стороне вражды и поддерживать ее. В таком случае ей пришлось бы быть не на стороне жизни, а на стороне смерти. Злоба никогда не могла быть источником творчества — она бесплодна, как смоковница. Мы знаем, к счастью, историю культуры. Она порождение света и служит свету.

Интернациональное никогда не мешает художнику быть национально-самобытным. Мы не можем забыть уроки великой русской литературы с ее пристальным интересом к судьбе и культуре других народов. Во времена юности Пушкина мало кто знал в России о великом поэте Востока — Саади. А после появления пушкинского двух-

стишия «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал», восточного чародея узнала вся читающая Россия. Как обширны были интересы у лучшего поэта России, ее национального гения! Как он был благороден, а потому и особенно прекрасен! Многие крупные советские поэты — от Блока и Брюсова до Тихонова и Дудина — продолжили эту замечательную традицию пристального интереса к культуре других народов и уважения к ней. Нелишне вспомнить здесь тот факт, что еще на заре Советской власти благодарная Армения присвоила Валерию Брюсову звание народного поэта, а переводы Александра Блока из лирики Аветика Исаакяна восхищают нас до сих пор.

Много дает литератору обращение к творчеству других народов. Почти каждый из нас испытал или испытывает это на себе. В последнее время я занялся поэзией армянского средневековья. Каких могучих поэтов имела Армения еще в те далекие времена! Нерекати и Кучак, к примеру, поэты мировой мощи. Тот, кто не интересуется этим, обкрадывает себя. Я довольно хорошо знал Абая Кунапбаева — основоположника казахской письменной литературы. У меня был и большой однотомник его произведений в оригинале. А вот недавно мне довелось побывать на его родине — в тех степях, где он жил, и это обогатило мои представления об Абае. Хочу еще раз с благодарностью признаться, как много дала мне грузинская поэзия, которая ныне признана явлением мировым. А о русской литературе и говорить нечего — на ней мы воспитывались и всю жизнь стараемся учиться у нее, она наша великая школа.

Любой крупный национальный художник приходит к человечеству, идя от своей земли, от своего народа, его опыта, мудрости и света его души, от молока матери, от хлеба и воды своей родины, от ее красоты. В этой связи я назову лишь два замечательных имени двух наших современников. Это Мартирос Сарьян и Чингиз Айтматов. Ведь Айтматов пишет только о Киргизии, все его герои — киргизы, а он на наших глазах стал мировым писателем, судьбы своих земляков он сумел сделать всечеловеческими. Мне кажется, что знаменитый армянский живописец Сарьян, воспевая свою Армению, воспел всю землю, всех пахарей и сборщиков фруктов, все горы, все деревья. Национальное и интернациональное нам, советским писателям, естественны и необходимы, как оба крыла для птицы.

Поэзия с теми, кто идет впереди и творит жизнь. Ее задача искони — служить справедливости, быть опорой и поддержкой тем, кто несет знамя будущего. Поэту важно бесстрашие. Слово его, может быть, и нередко бывает горьким и трагическим. И этого не надо бояться. Поэту к сожалению, бывает и так. Некоторые редакторы страшатся горького и трагического в нашей поэзии. Не думаю, чтобы жизнь у них самих вся была устлана розами или никогда они не встречались с горем и бедой, не знали их или не видели, как другие переносили горе и несчастья, или сами они избавлены от боли и смерти. Слово поэта не может не нести и боль наравне с мужеством, наравне с верой в жизнь и любовью к ней.

Мне дорого слово радости и слово горя. Только я ненавижу слово, отнимающее у человека надежду, его веру в жизнь. Этого никогда не делала народная поэзия. Ложь, фальшь, сладость — злейшие враги поэзии. Слово, которое пытается отнимать у человека надежду — тоже ложь, ибо оно против жизни и человека, против его труда и лучших стремлений.

Наше сложное и многотрудное время требует серьезных песен.

Большой поэт не может стоять в стороне от больших забот и тревог времени, как бы трудно ни приходилось.

Все мы обязаны нашему народу, который вскормил нас, дал нам язык — лучшее свое сокровище. Мы обязаны родной земле — нашей матерью, ее бессмертной красоте, ее хлебу и цветам. Трудный долг писателя — быть достойным их. Писатель не может не думать об этом, ибо он должен оправдать хлеб своей земли, как и молоко матери. Будем же стараться быть достойными хлеба земли, достойными нашей великой Родины.

ПОЭТ И КУЛЬТУРА

Если я счел нужным высказать свои соображения о поэте и его отношении к образованию и культуре, то лишь потому, что я, немолодой литератор, часто страдаю от сознания недостаточности своего образования и отсутствия большой культуры, считая, что в молодости сделал не все возможное для приобретения более значительных знаний. Теперь сожалею об упущенном.

Очень неприятно видеть людей, которым кажется, что они знают все и умнее всех. Кроме прочего, такая самоуверенность лишает человека возможности учиться, прислушиваться к мнению других, делать разумные выводы из критики со стороны, подумать и понять свою неправоту, а также стараться открывать для себя еще неизвестные ему сокровища культуры. Самодовольство — одна из самых противных человеческих черт — отрезает путь к совершенству и радости узнать гораздо больше, чем знаешь. Быть постоянно довольным собой, заниматься самовосхвалением — дело постыдное, недостойное человека и художника, это мешает двигаться вперед и ведет к застою. На стене одного восточного храма я видел надпись: «Чем больше знаешь, тем больше ты человек». По-моему, хорошее изречение.

Примеров и образцов много, но спесивые всезнайки не желают учиться — им кажется, что их собственная «гениальность» выше опыта всех художников. Самодовольство и гениальничание в близком родстве с невежест-

вом, никому никогда не делавшим чести. Самодовольство и отрицание культуры — близнецы, две стороны одной медали.

История литературы дает нам уроки мудрой скромности и постоянного стремления к совершенству и высокой культуре тех великих художников, которые по своему рождению не принадлежали к образованным кругам общества. Достаточно вспомнить хотя бы Максима Горького. Никогда не могло быть полезным и разумным отрицать образцы, не изучив и не поняв их. Мы хорошо помним, как пытались отрицать Пушкина стихотворцы разных направлений в начале нынешнего века и что из этого вышло. Учиться на опыте лучших мастеров прошлого необходимо, если мы действительно любим свое дело и жизнь, если уважаем себя. Уважение к себе — это нечто другое, чем самовлюбленность. Одним из лучших учителей и образцов в том смысле, какой я имею в виду, остается Чехов. Для меня даже пропознати его чистейшее имя — радость.

Нередко приходится слышать странное, если не сказать большего, мнение, что образование и культура вовсе не обязательны для поэта. При этом чаще всего ссылаются на Сергея Есенина. Конечно, несерьезность подобных разговоров легко понять, однако они бытуют среди литературной молодежи, хотя и далеки от истины. Во-первых, разговоры о малограмотности одного из лучших лириков России несостоятельны, во-вторых, природа была по отношению к нему так щедра, что одарила его редкостным лирическим даром, доступным лишь немногим счастливым. Я не утверждаю, что Есенин являлся одним из самых образованных поэтов своего времени, но отрицать тот факт, что он был развит, начитан, знал литературу — просто заблуждение. Люди, одаренные очень сильно или гениально, несравненно легче и быстрее осваивают то, что с трудом дается обыкновенным. Это естественно. А поэтому просто способным художникам надо больше учиться и трудиться, максимально используя все свои возможности. Такое отношение к себе и своему делу я считаю разумным и полезным. Литературу любого народа создают не одни выдающиеся таланты, и обыкновенные честные труженики, может быть, ей так же необходимы, как и гении, которые приходят не часто.

Один из самых необыкновенных мировых лириков, Пушкин не только был умнейшим, но и образованнейшим

человеком своего времени. Известна обширность его познаний как в области литературы, так и истории. О широте же культурных интересов, о знании западных языков и говорить нечего. Как глубоко надо было знать европейскую литературу и культуру для того, чтобы написать хотя бы «Каменного гостя» и «Моцарта и Сальери», как хорошо он должен был знать и чувствовать Восток, чтобы создать один только «Подражания Корану», если даже не говорить о других шедеврах русского гения связанных с Западом и Востоком. Разве знания и культура мешали лирике Пушкина быть эмоциональной и непосредственной? Казалось бы, одного этого урока достаточно, чтобы убедить всех нас в том, что культура есть благо для людей, не исключая и поэтов. А все же продолжает существовать мнение, что груз знаний и культуры мешает поэту оставаться эмоциональным, убивает в нем непосредственность.

Этот вопрос не так прост, и, на мой взгляд, заниматься им стоит. Сошлюсь еще на Лермонтова. Поэт, погибший почти юношей, не только создал такие шедевры, как «Герой нашего времени», «Демон», но и успел стать высокообразованным человеком. Интересно вспомнить, что Чехов считал лермонтовскую «Тамань» образцовым произведением русской прозы. Сосланный на Кавказ поэт и офицер, воевавший с горцами армии Лермонтов брал уроки турецкого языка, решив изучить его. Этот язык в те времена был очень распространен среди кавказских народов, на нем говорили многие, без него было трудно обойтись. Лермонтов это понял. Одной из своих приятельниц он писал о турецком языке (назвав его татарским), что он на Востоке необходим так же, как французский на Западе. Замечательно, что сохранился такой документ, лишний раз подтверждающий обширность культурных интересов одного из самых эмоциональных лириков мира, которому, должно быть, и в голову не приходило, что знания могут стать вредным для поэта грузом. Разве не знаменательно, что знание западных языков Лермонтову показалось недостаточным, и он решил изучить еще турецкий, пожелав лучше узнать Восток и его культуру. А многие наши литераторы, занимающиеся переводом с восточных языков, к сожалению, не утруждают себя изучением их, довольствуясь подстрочником. Лермонтов был также математиком, живописцем, музыкантом. Речь идет не только о много-

гранности дарования, не зависящем от самого человека, но и широте интересов и знаний.

Общезвестен интерес и уважение многих деятелей русской классической литературы и искусства к культуре других народов и, в частности, народов Востока. Не говоря о Пушкине, Лермонтов, Лье Толстом, мы можем назвать Верещагина, Антона Рубинштейна, Ярошецко, Балакирева, Полонского, Танеева, Иннокентия-Иванова — всех не перечислить. И эта благородная черта людей русской культуры остается хорошим уроком для всех нас.

Когда речь идет о поэте и его культуре, одним из первых мы вспоминаем Александра Блока. Трагический лирик, эмоциональнейший и пронзительнейший, в то же время был, как известно, человеком очень высокой культуры не только потому, что имел университетское образование. Брюсов являлся феноменально образованным человеком. Под его редакцией и частично в его переводах в 1916 году впервые на русском языке вышла Антология армянской поэзии. Русский поэт изучил историю, язык и литературу этого народа с древнейшей культурой, написал замечательную вступительную статью к своей Антологии, ставшей знаменитой и уникальной. Для той же книги Блок перевел много стихов Аветика Исаакяна, до сих пор остающиеся лучшими переводами, — так серьезно поэт отнесся к своему благородному делу. Интересен еще вот какой факт. Переводя лирику Аветика Исаакяна, знаменитейший из русских поэтов — Блок понял первородную силу и подлинность армянского мастера и сказал, что Исаакян — поэт замечательный и, может быть, теперь во всей Европе нет такого свежего и непосредственного таланта. А ведь в те годы Исаакяна в России не знали совсем.

Константин Бальмонт узнал о Руставели и его поэме «Витязь в тигровой шкуре» на океанском пароходе от английского переводчика. Грузинская поэма удивила русского поэта и захватила. Он решил перевести ее. Шедевр грузинской поэзии, одно из замечательных созданий литературы, на русском языке впервые появился в переводе Бальмонта. Благородство подобного шага поэта никто не станет отрицать, и никто не усомнится в значительности сделанного им дела, которое можно приравнять к подвигу. Мне хочется с убежденностью подчеркнуть: кто не знаком с армянской и грузинской поэзией, тот не может и не имеет права сказать, что знает мировую литературу.

Гете был велик и как писатель и как ученый. Образованнейший европеец, создатель одного из крупнейших произведений мировой поэзии — «Фауста» все же в первую очередь был гениальным лириком. Так говорят все знатоки. Уж если Гете не помешали его обширнейшие знания быть проникновеннейшим лириком, то чего нам, грешным, бояться груза знаний?!

Беда — не иметь знаний и культуры или иметь их мало. Это я испытываю на самом себе — прожив полстолетия, каждый день чувствую недостаточность своего образования и знаний, что очень мешает мне в работе. Тут с моей стороны нет кокетства. Я говорю об истинных своих ощущениях.

Как раздвигают горизонт художника знания и культура! Чем раньше это поймет каждый из молодых поэтов, тем лучше будет для него. Поэту, особенно в наше время, необходимо видеть гораздо дальше склона горы перед отцовским домом или березки у огорода матери, хотя и склон горы, и березка прекрасны и останутся такими навсегда.

Чегемские крестьяне в моем детстве говорили: «Знание — свет». Теперь мне понятно, как они были правы. Старейший балкарский поэт Саид Шахмурза вспоминает о любезном разговоре с ним классика нашей литературы. Кязим сказал Саиду: «Если будешь раздавать, могут кончиться деньги, скот, одежда, золото. Но есть и такое богатство, которое чем больше раздаешь, тем больше становится». Потом он спросил Шахмурзу, знает ли он, что это такое. Тот пожал плечами. Тогда Мечиев ответил: знания! Хорошо помню по своему детству, с каким уважением относились неграмотные горцы-крестьяне к грамотным людям, как они почитали ум и знания.

История культуры и науки говорит нам о поразительной разносторонности многих ученых и художников, о широте их знаний. Эти уроки так полезны и поучительны.

По воспоминаниям близко знавших его деятелей нам известно, что Ленин находил время для чтения художественной литературы. В совнаркомовском кабинете Владимира Ильича был томик Тютчева. А там он держал только самые необходимые книги. Среди них оказались и книги стихов!

Осужденный знатю Афин на смерть Сократ пригласил к себе в тюрьму знаменитого певца и попросил давать ему

уроки музыки. Мудрый философ даже перед смертью хотел умножить свои познания и этим обрести радость. Невероятная история!

Я свидетельствую, как хорошо знал и любил поэзию великий живописец Мартирос Сарьян. Когда думаешь об этом, то понимаешь незаменимость знаний, каким бы тяжелым ни было их приобретение, и горько сожалеешь о малости собственных знаний, и становится стыдно за себя. А мы еще придумываем легенды о бесполезности и даже вредности знаний для поэта, стараясь этим оправдать свою обыкновенную лень и некультурность. Ах, как это вредит нам!

Какая радость открыть для себя любого из замечательных художников или их отдельные неизвестные тебе произведения. Вдруг ты впервые узнаешь Рембрандта или Шуберта, Ван-Гога или Лорку, Сезанна или Скрябина, Матисса или Равеля! Какой это праздник каждый раз! На земле работали и работают такие мастера, что знать их, учиться у них — большое счастье. Как каждый из нас обкрадывает себя, когда ленится или не желает знать чуда жизни — создания великих мастеров культуры. В таком случае мы остаемся нищими, хотя могли бы стать богачами. Я понимаю, что нам, многим из литераторов, должно быть, и недоступны точные науки, но знать культуру в необходимой мере мы обязаны, это уже зависит от нас самих.

Сказанным, разумеется, я ратую прежде всего за культуру поэта, памятуя, что поэзия — составная часть великой культуры человечества, одно из тончайших ее явлений. Мне хочется посоветовать молодым собратьям стараться приобрести хорошие знания, овладеть большой культурой. Начинать надо сразу, используя молодые силы и здоровье. Хорошее дело никогда не надо откладывать на завтра. Не советую утешать себя тем, что Бунин, вынужденный уйти из гимназии после четвертого класса, стал одним из выдающихся художников слова, волшебным мастером, или тем, что Максим Горький, не кончавший учебных заведений, вырос в великого писателя. Тут все не так просто, как может показаться. Необходимо помнить: эти писатели — явление необыкновенное, несмотря на все трудности, они стали высокообразованными людьми. Культура — та гора, близина которой не померкнет никогда, какие бы тучи и туманы ни крутились над ней.

Интерес к искусству не только народа, на языке которого ты пишешь, но и других народов, мало тебе известных, — большое благо для поэта. Как это обогащает! Разве поэзия Лермонтова проиграла от глубочайшей связи с Кавказом или это сделало его менее русским поэтом? Нет, наоборот. Чем выше поднимаешься, тем дальше видишь. А культура поднимает высоко и становится благостным дождем для родной почвы, где возрастает наш хлеб, наливаются колосья, растут деревья, алеют цветы. Образцы — большое дело. Без них не обойтись, они дают возможность укрепить нашим собственным крыльям, а не мешают быть самостоятельными, как полагают иные.

Опыт мировой поэзии и искусства велик. Он драгоценен. Только бы уметь пользоваться им. Мы должны держать равнение на лучших, учась на их примере и опыте, опираясь на них, как на могучие деревья, у которых сильные и глубокие корни. Только так можно двигаться вперед, приобрести мастерство, стать сильным. Так только приходят к зрелости, самостоятельности, новизне и открытиям.

Чтобы идти дальше, необходимо хорошо знать то, что делали твои предшественники. Всякая национальная замкнутость оставляет печать на содержании и форме. Национальное в искусстве и местническая ограниченность — вещи совершенно разные. Ограниченность и узость мировоззрения связаны с творческим бескрылием, отсталостью и консерватизмом. Сейчас, например, молодые поэты кавказских республик, как мне кажется, смело должны отмечать украшательство, которое многим из них представляется художественным открытием. Нужно чрезвычайно осторожно обращаться даже с такими словами, как кинжал, гора, бурка, джигит, горец, чтобы близкие сердцу каждого жителя гор слова не набивали оскомину у читателей. Думать, что только такие слова придадут произведению национальный колорит — просто безграмотно. Гоголь давно заметил, что поэты делают национальным не сарафан и прочие атрибуты. Надо самым жестким образом избегать пустого красноречия, которое свидетельствует об отсутствии мысли, образности, поиска и новизны, о неумении мыслить, о творческой беспомощности. Необходимо смело раздвигать горизонты, внимательно следя за достижениями современной поэзии разных народов, учиться широко мыслить, отбрасывать дешевые штучки, выдаваемые литературой, не имеющими вкуса и культуры, за национальный

кэлорит. Никогда не быть довольным собой и тем, что удалось сделать — значит быть верным одному из важнейших правил художника: постоянное беспокойство всегда ведет вперед. Для этого, разумеется, прежде всего нужен талант, а также культура.

Поэт не может не интересоваться живописью, музыкой и театром — всеми видами художественного творчества, памятуя, что они не только принесут ему большую радость, но и пользу в его работе, помогут лучше понять жизнь, сделают его понятия о мире более широкими. Равнодушие к культуре противоестественно для поэта. Культура — то же, что солнце и дождь для колосьев и деревьев. Без тепла и влаги не обойтись ни полю, ни лугу. Так же благотворно воздействует и культура на поэта. Мало только любить свое дело, надо еще и очень хорошо его знать. Иначе невозможно стать мастером.

Мой разговор обращен только к даровитым молодым литераторам. Если нет дарования, все разговоры бесполезны, ничем нельзя помочь. Не выручат ни образование, ни культура. Грустно, когда люди, не имеющие дарования, не только продолжают писать, но и делают литературу своей профессией. Талант — это благо и счастье. Кому выпало родиться талантливym, тот еще должен быть достойным своего дара. Если относиться к нему небрежно, без уважения, даже сильное дарование может заглухнуть, подобно заброшенному саду или полю. Знания и культура — незаменимая опора для таланта.

Я вовсе не думаю, что мои слова сразу помогут всем молодым поэтам. А все же... Я твердо убежден, что невежество никогда не было и не станет добродетелью. Культура — это одно из чудес, созданных гением человека. Забывать об этом поэт не имеет права — ибо сам он служит культуре.

У КАЖДОГО НАРОДА — СВОЙ ГОЛОС

(Из речи на Стружских вечерах поэзии в Македонии)

Дайте младенцу грудь женщины любой расы, он будет ее сосать, но когда он вырастет, мы увидим в нем черты того народа, к которому принадлежали его родители, и в то же время он будет человеком. А материнское молоко всюду остается молоком, жизнетворящей силой, как и хлеб любой земли. Вот так же и поэзия остается поэзией, на каком бы языке ни создавалась. Но несмотря на это она не может не быть отмеченной теми индивидуальными чертами, которые делают ее самобытной, хотя истинная поэзия всегда остается общечеловеческой, на какой бы земле ни звучал ее голос. Это так потому, что поэзия живет общечеловеческими заботами, радостью и болью всех людей.

Разве не так было с великими созданиями Шекспира, Пушкина, Гете, Мицкевича, Руставели? Подтверждением моего тезиса являются все выдающиеся явления мировой поэзии от Гомера до наших дней. Большое искусство было и остается выражением чаяний, стремлений, надежд всех народов, крыльями свободы, являющейся священной для любой нации — великой или малочисленной.

Тираны были врагами культуры и поэзии не только своих стран. Один из них в арабском городе Алеппо несколько столетий назад приказал содрать кожу живьем со знаменитого азербайджанского поэта Насими. Вспомним Байрона. Разве его Песнь пелась только для Англии?

Говоря о том, что местный колорит и окраска не могут помешать поэзии стать универсальной и всеобщей, хочу

сослаться на ярчайший, по моему мнению, пример. Это Федерико Гарсиа Лорка, в двадцатом веке возродивший народный испанский романс и ставший мировым поэтом. Как известно, его много переводят, читают и любят всюду, во всех странах. В поэзии Лорки, одного из самых трепетных и пронзительных лириков века, очень и очень много испанского, национального, местного колорита и окраски. В его поэзии — душа его родины, ее воздух, испанская радость и горе, испанские мотивы и ритмы. Однако мы с вами свидетели того, что трагическая Песнь Лорки стала всеобщей, всемирной, легко перешагнула все границы, пришла к человечеству.

А гениальный русский лирик Сергей Есенин? По характеру стихов, по их краскам и образам невозможно себе представить более русского поэта. Однако он еще при жизни своей волшебной лирикой завоорожил, к примеру, Кавказ так же, как и Россию. Его обнаженное сердце, редкостная искренность и пронзительность сделали Есенина любимым поэтом всех, кому дорога поэзия. Сергей Есенин на Кавказе написал свой знаменитый ныне цикл «Персидские мотивы». В нем он слил воздух русских равнин и гор Кавказа, Россию и Восток. А все же это чисто русские стихи, их мог написать только гениальный лирик, но не восточный и не западный, а русский, только русский. Таковы мир, душа и характер этих стихов, их прекрасные образы. И вот такой типично русский художник, в произведения которого так неповторимо входили образы русской земли, русской природы, становится горячо любимым всюду поэтом. Не говорит ли это о том, что национальный характер, местная окраска или колорит не могут помешать художнику стать близким всем, кто любит искусство? Этому может помешать только отсутствие большого дарования, а не национальные особенности.

И в то же время мы знаем, что поэзия трудно переводима. В этом смысле языковые барьеры играют почти трагическую роль. Это особенно горько, когда речь идет о крупных поэтах, пишущих на малораспространенных языках. Закрывать на это глаза нельзя. Но тема нашего разговора другая.

Когда миру угрожает опасность разобщения и вражды, поэзия, как сила всеобщая, служащая не злобе и несправедливости между народами, а их братству, становится связующим звеном, голосом предостережения и совести, человечности

и честности. Мицкевич и Словацкий стали великими европейскими поэтами потому, что порыв к свободе польского народа, польская беда и польская боль были понятны всем народам. Вспомним здесь и другого национального гения Польши — Шопена, принесшего искусству своей родины мировую славу. Разве эти польские художники стали понятными и близкими всем нам потому, что отказывались от всего национального, от колорита своей земли, своей страны? Нет, как раз наоборот, их искусство оставалось национальным во всех отношениях, но одновременно опиралось на достижения всей европейской, всей мировой культуры. Национальная ограниченность и национальный характер или самобытность в искусстве — вещи разные.

Поэзия не может обойтись без конкретных национальных черт и красок, без выражения облика родной земли, характера народа, который имеет свою историю, свой опыт и особенности.

В наших горах, например, говорят, что даже каждый аул бараба по-своему режет и огонь по-своему разжигает. Но хочу подчеркнуть еще раз, что поэзия не может отвечать своему назначению без общечеловеческого содержания. Национальный эгоизм так же не способен породить большую поэзию, как и межнациональная вражда. Дереву одинаково необходимы почва, влага, солнечный свет и тепло.

Не думаю, чтобы на свете жил такой народ, который бы детям разрешал топтать хлеб ногами. Когда я был мальчиком, моя мать в горах Кавказа заставляла меня каждый раз аккуратно собирать хлебные крошки, которые я ронял на землю. Дети всюду играют похоже и плачут одинаково, а матери также одинаково радуются детям везде и тревожатся за них всюду тоже одинаково. Веселый смех радости везде, а слезы — горьки на любой земле.

А потому поэзия любого народа не может не иметь общие черты с творчеством других стран, несмотря на особые национальные свойства.

Только через свое конкретное художник приходит к человечеству и приносит свои самобытные мысли, образы, краски, ритмы. Горные реки имеют совершенно иной вид и характер, чем равнинные. А сущность их одна — без рек, без воды невозможно жить, земле и людям без них не обойтись. Над любой землей радуга остается радугой. Ей дети одинаково радуются везде — в Македонии, на

Кавказе, в Монголии — всюду. С поэзией происходит то же самое.

Поэзия — везде поэзия, но в каждом краю она имеет свой особый аромат, я бы даже позволил себе сказать — цвет. Звезды, например, в горах кажутся куда более крупными, чем на равнине. На юге небо синее, чем на севере. Я просто пленен Охридским озером, которое вот здесь — за окнами зала, где мы заседаем. Это совершенный шедевр природы, в нем я вижу редчайшую красоту. Как прозрачна его вода. Она родниковая. Какой это великанский родник! Даже в многометровой глубине видно дно — такая чистая вода. Нет, это озеро-чудо! Почему я счел нужным говорить здесь об Охридском озере, когда речь идет о поэзии? Да потому, что без красоты и величия земли — нашей общей матери — нет и поэзии. Мне хочется подчеркнуть, что такая земля, как Македония, такая красота, как Охридское озеро, которое мне хочется назвать национальным сокровищем страны, оказавшей нам замечательное гостеприимство, не может не породить самобытную и прекрасную поэзию.

Своеобразие красок или приемов ведет не к разобщению, а к взаимному обогащению. А потому пусть в поэзии каждого народа, у каждого художника будет как можно больше своеобразного и самобытного. Возможности в этом отношении огромны. Поиски художественных средств, путь к новаторству и самостоятельности также не разъединяют нас, а, наоборот, двигают наше общее дело вперед. Мы с вами знаем, что самостоятельность и оригинальность — незаменимое благо для художника. Если нет этих драгоценных качеств, то писать не стоит. Но, с другой стороны, каждому пишущему кажется, что именно этими качествами он и обладает. Тут уже ничего не поделаешь!

Мне думается, что без учета достижений всей мировой поэзии поэт любого народа сегодня не может работать и не добьется победы, он окажется замкнутым, отстанет. Все лучшее в искусстве принадлежит всем народам, всем людям. Потому поэты разных стран, разных языков и собрались в эти дни в Македонии — прекрасной стране, так обрадовавшей нас своей красотой и гостеприимством. Давно доказано деятельностью великих сынов малочисленных народов, что размеры дарования художника не зависят от численности населения его страны. Достаточно вспомнить одного Генрика Ибсена.

Выдающиеся создания поэзии неповторимы, в каком бы краю ни рождались, и они вливаются в общую сокровищницу человеческой культуры. Так двигалась вперед и будет двигаться мировая поэзия, в создании которой принимают участие все народы, взаимно обогащая друг друга, внося свои неповторимые черты и оттенки, учась друг у друга. Так рождается многообразие и мощь поэзии.

ТРАДИЦИИ И ПОИСКИ НОВОГО

(Из речи, произнесенной на дискуссии в Праге)

I

Вопрос традиции и новаторства не является новым. Возникал ли он во времена Эсхила или Хафиза — не знаю. Но в наш век он вызывал и вызывает споры. Раз серьезные специалисты и знатоки считают нужным тратить время на них, стало быть, эти споры не бесполезны. Древние, говорившие о том, что истина рождается в спорах, были правы. В действительности каждое явление полно противоречий. Это истина, известная всем. Чутье художника как раз и заключается в умении уловить и понять главные противоречия жизни. Чем крупнее художник, тем с большей достоверностью и смелостью, даже беспощадностью, как Лев Толстой или Достоевский, обнажает он жизненные противоречия, не боясь быть непонятым или даже гонимым, как Пушкин. Я говорю о явлениях исключительных. Без них никогда не может обойтись искусство. Во все времена было закономерным то, что в литературе работали люди разных степеней дарования. Но мы в нашей работе и спорах должны опираться на образцы, на сильнейших. Для творчества, как и для жизни, нет старых вопросов. И те из них, которые порой люди называют старыми, на самом деле никогда таковыми не бывают. Для человека каждый раз все возникает как бы заново, и он каждый раз должен решить любой вопрос для себя заново. Так называемые старые вопросы возникают вновь и вновь, приобретая новые облики и новый смысл. Потому и возник сегодня вопрос традиции и новаторства в современной поэзии. Признаться,

мне кажется, что мы с вами так же не сумеем решить его, как и те, которые не раз пытались сделать это до нас. Но каждый делает свое, как сказал чешский поэт Карел Гавличек-Боровский. А вопрос этот будет возникать снова и снова и после нас, ибо творческий процесс в мире будет продолжаться, и художники каждой новой эпохи будут смотреть на него со своей горы.

Я, как и выступавшие здесь до меня, считаю, что новизна для поэзии необходима. Это касается и содержания и формы. Ведь в жизни всегда все обновляется. Даже землю пахали не во все времена одинаково, изобретались новые способы и орудия. Так же строились и жилища. Может быть, не меняется только сияние звезд над полем и лунный свет, ложающийся на крыши наших домов. Для того чтобы понять это, не надо быть большим философом. Традиции и новаторство тоже, разумеется, бывают разные. И отношение к ним должно быть умным. Разве новейшая русская поэзия, к примеру, могла обойтись без пушкинских традиций и опыта, не опираться на них? Думаю, что нет. Правда, в начале нашего века нашлись и такие литераторы, которые говорили и писали, что Пушкина необходимо «сбросить с корабля современности». Это было не только самопадежно, но и глупо, что уже доказало само время. Я за глубоко уважительное отношение к предшественникам. Память — вещь великая. Плохо быть не помнящим родства.

Кстати, среди тех, кто собирался заменить собой Пушкина в русской поэзии, был и Крученых, упомянутый одним из выступавших здесь вчера. И не только упомянутый, но и названный чуть ли не одним из крупнейших новаторов в новой русской поэзии, работа которого якобы имеет большое значение. Вот с этим я никак не могу согласиться, хотя и стою за поиски, открытия и подлинную новизну в искусстве. Я еще застал Крученых, общался с ним. Мне совсем не хочется тревожить его прах или наговаривать на него. Но вот что считаю необходимым сказать: для нас, советских литераторов, Крученых не есть явление и никакого проблемного или дискуссионного значения для меня, например, разговор о нем не имеет. Если поэту не удалось сказать людям ничего серьезного и необходимого для них, его работа не может считаться новаторской и не может способствовать движению вперед художественной мысли, открыть для поэзии новые возмож-

ности и горизонты, как бы ловко он ни жонглировал словами. Поэт не жонглер, он живет среди людей и работает для людей, у которых много забот и тревог. Они хотят понимать поэта, ибо нуждаются в его слове.

Новаторство рождается самой жизнью, самой необходимостью, оно нужно жизни и вырастает из родной почвы, как чинара в ущелье, идет от всего сделанного прежде. Александр Твардовский в своем знаменитом «Василии Теркине» пишет:

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке.

Это, по-моему, очень верно. Я за такую, понятную людям поэзию и за такое отношение художника к своей работе и задачам творчества. В нашей стране и сегодня рабстают такие крупные поэты, как Твардовский, Смеляков, Мартынов. Они новаторы. Да, да, именно новаторы. А наши некоторые коллеги здесь говорят о Крученых! Простите меня, но я полагаю, что это от плохого знания русской советской поэзии, не говоря уже о таких явлениях, как армянская или грузинская поэзия.

2

Дереву каждой весной необходима новая листва. Поэзия также нуждается в новизне. Без нее она не может жить или станет похожей на чинару с засохшими листьями. Поэзия вечнозеленое дерево. Река должна течь непрерывно. Поэзии также положено естественно развиваться, двигаться вперед непрерывно. Ее приемы и средства постоянно обновляются, приобретая новые качества в каждую эпоху. Творчество не терпит застоя, как и жизнь, догмы враждебны ему. Каждый художник, конечно, имеет свои индивидуальные черты, свои способы и средства выражения. Без индивидуальных черт не бывает художника. Это азбука творчества. Другое дело, когда нехудожников выдают за таковых. Но как все это получается? Где границы между традициями и новаторством? Где новаторство истинное и мнимое? Как их определить или отличить друг от друга? Вот в этом смысле возникают и будут воз-

никать споры. А все равно художник работает, опираясь на интуицию, и во всем убеждается на собственном трудном опыте.

Настоящие же открытия по плечу только редким художникам. Мы будем учиться у больших мастеров родной и мировой поэзии, не пытаюсь сбрасывать их с корабля, а с полным уважением относясь к ним, стараясь понять и постичь их высокое искусство и делать то, что в наших силах. Я люблю в стихах простоту в лучшем смысле слова, непосредственность и эмоциональность. Мне также дорога естественность камня и дерева. Когда я в молодости читал свои стихи матери и она их не понимала, мне становилось стыдно за желание закрутить как можно сильнее, затемнить стих. Такие грехи, к сожалению, бывали и у меня, хотя я, крестьянский сын, должен был бы сохранить в себе естественность зерна и дерева. Правда, очень скоро я отказался от всего вычурного и надуманного. Поэзия не бабство и не ребусы. Упражняться, делать эксперименты необходимо, но не надо печатать то, что ничего не может дать людям.

3

Я не могу не возразить ложному мнению, высказанному здесь некоторыми из ораторов о «фольклорности» поэзии Есенина и Твардовского. Это заблуждение, мне думается, идет от плохого знания творчества двух этих крупнейших советских поэтов. Сказать, что они в должной мере использовали традиции изустной поэзии своего народа, это было бы справедливо. Но придерживающимся этого мнения кажется, что творчеству гениального лирика Сергея Есенина и великого поэта Александра Твардовского не хватает новизны, новаторских черт. Речь ведь идет о редких явлениях в русской поэзии нашего века, исключительно крупных индивидуальностях. А поэтому говорить, что в их творчестве отсутствует новизна, что они повторили уже бывшее до них, по меньшей мере странно. Ново в поэзии только то, что выражает жизнь с наибольшей полнотой, наиболее честно и искренне. Есенин и Твардовский — поэты такого разряда. Не говоря о Есенине, гениальную лирику которого у нас обожают, осмелюсь сказать, что ни один поэт в Европе не написал о прошлой войне с такой силой, как это удалось Твардовскому.

Достаточно назвать только «Василия Теркина», которым в буквальном смысле слова восхищался даже Бунин. А его вы никак не назовете фольклорным писателем и никак не откажете ему в хорошем вкусе. Тот самый Иван Бунин, который в своих суждениях был чрезвычайно строг. Бунин, которого Чехов считал одним из лучших писателей России. Если уж такой строгий ценитель восхитился «Книгой про бойца», то что говорить о нас, грешных! Я, как человек, общавшийся с Борисом Пастернаком, свидетельствую, что он тоже ценил Твардовского-поэта и его «Василия Теркина». Это и понятно. Пастернак всю жизнь упорно шел к простоте и естественности. А его тоже вы, надеюсь, не считаете фольклорным поэтом и не подозреваете в плохом знании поэзии или в отсутствии вкуса. Пастернак неоднократно повторял, что очень сожалеет, что сам в молодости писал не просто. Даже утверждал, что был тогда формалистом. Именно это слово он и употреблял. Я не могу утверждать, что замечательный мастер был формалистом в молодости, но позже он стал писать просто и прозрачно. Всем нам это хорошо памятно.

Нет, Твардовский не «фольклорный поэт», хотя использовал мотивы и образы фольклора. Позвольте процитировать несколько строк:

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

Разве позволительно называть фольклорными такие стихи, полные напряженного драматизма эпохи второй мировой войны, именно этого времени? А теперь прошу послушать строки Есенина:

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Ни по тону, ни по словарю такие стихи не могли быть написаны до Есенина, поразительны они талантом и чисто есенинской прелестью. А вот его строки на вечную и традиционную тему о смерти:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.

Может, скоро и мне в дорогу
 Бренные пожитки собирать.
 Милые березовые чащи.
 Ты, земля. И вы, равнин пески.
 Перед этим сошмом уходящих
 Я не в силах скрыть моей тоски.

Это сердце Сергея Есенина, а не фольклорные стихи! Такое может создать только редкий талант. Выдающиеся поэты, какими являются Есенин и Твардовский, не новыми не бывают, ибо сам талант — уже новость, как говорил Борис Пастернак.

Почему-то те из наших коллег, которые говорили о «фольклорности» Есенина и Твардовского, умолчали о Гарсиа Лорке. Хорошо известно, что Лорка — поэт, тесно связанный с родным фольклором, на основе которого созданы его знаменитые книги «Канте хондо» и «Цыганский романсеро». Это не помешало названным книгам стать всемирно известными.

4

Иные на Западе полагают, что многие из советских поэтов стараются писать просто потому, что сложно писать они не могут, не умеют. Вот пример, опровергающий это странное мнение. Пастернак в самом начале тридцатых годов писал:

Есть в опыте больших поэтов
 Черты естественности той,
 Что невозможно, их изведав,
 Не кончить полной немотой.

Это говорит один из крупнейших мастеров стиха нашего века, которому вы никак не можете отказать в умении писать сложно. Но его страстным желанием до конца дней оставалось — достичь высшей простоты. Мы знаем какой естественности он добился в своих самых зрелых вещах. Вспомним простоту Чехова. Можете ли вы представить его себе иным? Большая естественность — мечта любого крупного художника. Мишура же — удел неполноценных, тех, кому нечего сказать людям. Мишура и украшательство идут от пустоты. Твардовский, например, мог бы так закрутить, что сам черт, как говорится, не сумел бы раскрутить. Но большим поэтам некогда заниматься фокусами. Их новизна и новаторство не показательные, не внешние.

Нет ничего труднее, чем писать просто. Речь идет не о примитивизме и технической беспомощности. Мы стараемся писать просто потому, что хотим, чтобы нас понимали люди, среди которых мы живем. Поэзия, непонятная людям, это вроде той воды, шум которой томимый жаждой путник только слышит. Если меня не понимают люди, с которыми я делю хлеб и соль, я не стану писать. Я уважаю людей, живущих со мной рядом, радующихся и страдающих вместе со мной. Мне дороги их боль и страдания. Мне хочется, чтобы они меня понимали, чтобы мое слово, хотя бы в какой-то мере, стало поддержкой в их трудной жизни. Моя жизнь и моя смерть связаны с ними. Я не должен, не смею и не могу стараться отличаться от них, я слит с ними. Я не люблю тех художников, которые хотят быть подалеже от простых людей, кичатся своим особым положением и качествами, к тому же часто мнимыми. Меня родила и вскормила неграмотная крестьянка. Но я не могу позволить себе думать, что я лучше и выше моей матери. Я за естественную поэзию земли, на которой мы живем, поэзию человеческой души. Поэтому я так люблю Роберта Бернса и Сергея Есенина. Здесь выступал один из лучших советских поэтов — Ярослав Смеляков. Вы были свидетелями того, как просто он говорил. Я думаю, что говорить просто — очень трудно, но как это хорошо!

Один из великих композиторов сказал, что музыка, основанная только на мастерстве, а не идущая от сердца, не стоит той потной бумаги, на которой она написана. То, что мы пишем, должно идти от души, нести в себе вечную повизну земной красоты, чаяния современников. Только в таком случае поэзия бывает новой и нужной людям.

КАЖДЫЙ ЯЗЫК — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

(Из выступлений на сессии языковедов, организованной АН СССР)

Язык не только предмет для изучения, а живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Он должен вызывать у каждого из нас горячую любовь, признательность, трепетное отношение. Язык каждого, пусть даже самого малочисленного народа, — это целый мир, полный прелести и волшебства. Его нельзя представлять себе только учебником грамматики. Вспомним хотя бы пословицы и изречения горских народов — это высшее выражение их мысли и фантазии. В них — отчеканенная мудрость и поэзия, вековой опыт народа и красота земли, удивительно самобытный мир, выраженный в неповторимых образах и красках. Мы не имеем права забывать о таком чуде. Но, к сожалению, порой приходится сталкиваться и с безобразием, когда иные горе-ученые видят в языке, который народ создавал веками, только способ для защиты диссертаций и относятся к родной речи без должного уважения. Мы вовсе не должны закрывать глаза на такие явления.

Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. На земле живут не только большие, но и малые по численности народы. Каждый из них имеет свой язык, который дорог его детям, как голос матери, как хлеб родной земли. Все мы, присутствующие здесь, к нашей радости, знаем русский язык. Язык, на котором создавали свои шедевры Пушкин, Лермонтов, Чехов, Лев Толстой, невозможно не любить, нельзя не уважать язык Ленина и Плеханова. Это азбучная истина, но нам полезно почаще возвращаться к ней.

Я люблю русский язык, как и вы, но так же люблю и свой родной балкарский, на котором я впервые сказал «мама», «хлеб», «дерево», «снег», «дождь», «звезды». Я хочу, чтобы мой язык — первое сокровище моего народа — жил и развивался. Уважение и любовь к великому русскому языку, на котором я говорю много лет и которым восхищаюсь, продолжая изучать его, совсем не мешает мне любить мою родную речь — язык моей матери. Хотя и не считаю нужным каждый раз произносить риторические клятвы о любви к русскому языку, я хорошо понимаю, что его подняли на небывалую высоту великая русская литература и ленинизм. Он у нас в крови, мы понимаем его, как свою родную речь, он нам необходим, мы относимся к нему с полным пониманием его значения для нас. Другого отношения к русскому языку у нас не может быть. Кроме прочего, он приобщил нас к культуре человечества.

Ю. Дешериев в своем докладе говорил, что национальные языки пока в ближайшее время будут развиваться. Пусть правильно поймут это молодые ученые. Язык любого из наших народов не кратковременное явление. Никто не должен думать, что завтра наступит конец тому или другому национальному языку. Необычайный и часто сурово-драматичный путь языка длинен и долговечен. Мы умираем, язык остается. Каждый из нас должен работать на своем языке, не думая о том, что этот язык умрет скоро. Умирая на поле битвы, воин не думает о выгоде для себя, а бьется за родную землю и погибает за нее. Язык народа живет не для выгоды отдельных лиц, а является общенародным, национальным достоянием и сокровищем. В нем выражены разум, гений, опыт, память, история, любовь, ненависть, мужество — вся душа народа.

Те, которые здесь говорят о языке, должны знать, что герой, погибая за Родину, кричал на родном языке «свобода!». Это не только поэтический образ. Это трагическая правда и философия жизни, облитая кровью храбрых. Я помню, еще недавно раздавались голоса о том, что скоро умрут языки так называемых малых народов. Но нет таких пророков, которые могли бы предсказать день и час смерти каждого из наших языков. Не ими языки созданы, не им предопределять их конец. Это решит сама жизнь, а не мудрствующие всезнайки. Не будем пессимистами, но также не нужно лакировать ход истории, суровые и неумолимые законы которой нам известны. Когда умрет тот или

иной язык, как это будет происходить — никто не знает. А потому давайте будем уважать, любить, изучать родные языки, работать на них, стараясь внести свою посильную лепту в культуру. Это будет разумно и полезно.

Повторяю, каждый язык — это живой мир, полный красоты и мудрости. Когда говорят на балкарском, кабардинском или ингушском, в словах разве не сияют звезды, горящие над полем и дорогой? Когда мы говорим о них на родном языке, разве не багровеет кизил, не алеют розы? Жизнь сильнее и мудрее каждого из нас. Ход истории и диалектика мудры даже при их жестокостях и трагических поворотах. Думаю, что никто не упрекнет меня, если я скажу: еще рано хоронить наши языки! Они еще пригодятся нам и послужат. Родной язык для каждого из нас — голос любимой земли и матери. Он бесконечно дорог нам, это наша песня и сказка, отчий дом и очаг. Его прекрасными словами мы выражали и выражаем нашу радость и страдания, нашу любовь и надежды. Нам надо говорить о том, что мы чаще всего недостаточно хорошо знаем язык, плохо на нем работаем, дурно пишем. В присутствии таких крупных лингвистов, как Бархударов, Серебряников, Крючков и другие, мне хочется напомнить о том, что мы также плохо знаем исторические судьбы языков горских народов, их историю. Не лучше обстоит дело и со стилем. Вот о чем нам надо думать и заботиться, а не спешить поскорее похоронить родные языки.

Герои умирают, когда в бою доходят до последней черты своей жизни. Но они были героями и погибли, как герои — благородно и отважно. Если умрут наши языки, то они умрут так же, до конца дослужив свою службу. Повторяю: это решит сама жизнь, решит история. Наши языки хорошо служили и служат своим народам, их культуре, делу коммунизма, прошли великий путь от слов попукивания волов до шедевров поэзии — таких, как нартский эпос, сказки, народная лирика, пословицы, как произведения Коста Хетагурова, Кязима Мечиева, Гамзата Цадаса, Бекмурзы Пачева, Исы Каракетова.

К языку надо относиться с такой же любовью и удивлением, как мы смотрим на утренние горы. Глубоко уважая и любя русский язык, мы так же горячо любим свою родную речь. Человек, не любящий собственную мать, не может любить мать соседа!..

1962

КЯЗИМ МЕЧИЕВ И ВОСТОЧНАЯ ПОЭЗИЯ

(Из доклада на зональном совещании, организованном АН СССР)

1

В год рождения Кязима его отец, Бекки, оставался еще крепостным крестьянином. Судя по рассказам самого Мечиева и его близких, Бекки был известным в Хуламо-Безенгийских горах умельцем, мастером седельных и оружейных дел, а также замечательным охотником, сильным человеком. Он прежде всего научил сына ремеслу. Кязим всю жизнь ковал железо. Он делал это так же хорошо, как писал стихи. Балкарский классик имел простое происхождение.

Как мог он, родившись в семье труженика-горца, в условиях тогдашней Балкаррии, стать не только грамотным, но и образованным по-восточному человеком, трижды объездить Ближний и Средний Восток, учиться в культурных центрах, овладеть не только арабским, но и персидским языком, читать великих поэтов Востока в подлинниках? Это не праздный вопрос. Только поставив его, мы поймем, как могуча фигура Кязима, почувствуем силу его ума, крепость его воли и энергии. Он одинаково прекрасен как поэт и как человек. Жизнь и поэзия его составляют полную гармонию. В этой цельности — большая сила и обаяние Мечиева.

Конечно, в середине прошлого века и во второй его половине жили и такие балкарцы, которые получали не только восточное, но и европейское образование. Это было нелегко, и мы воздаем им должное. Но я лично удивляюсь им меньше, чем Кязиму. Среди них не было человека тако-

го плебейского, как говорится, происхождения, как Мечнев. Все они являлись замечательными людьми своего времени, но у каждого из них также имелись несравненно большие шансы и возможности стать теми, кем они стали, чем у Кязима. Все они выходцы из имущей среды. Где для более или менее имущих людей двери могли быть открытыми, для Кязима они были закрыты. Ведь не так удивительно то, что граф Лев Толстой стал мировым писателем, как то, что им стал почти пищий парень с берегов Волги. С большим сожалением мы должны отметить тот факт, что Кязиму не удалось учиться в русских учебных заведениях. Этому помешали многие обстоятельства тогдашней балкарской действительности — бедность, взгляды отца поэта и прочее.

2

Я позволю себе на минуту остановиться хотя бы на некоторых из тех балкарцев, которые в прошлом веке сумели стать образованными людьми и приобщиться к большой русской и европейской культуре. Одним из первых, если не первым человеком из горцев Кавказа, еще в первой половине прошлого века окончившим русскую военно-медицинскую императорскую академию, был балкарский князь Абай Шаханов из Черекского ущелья. Судьба его очень интересна, драматична, во многом напоминает судьбу лермонтовского Измаил-Бея. Многим из присутствующих здесь, думаю, известно имя балкарского историка Мисоста Абаева. Он сотрудничал в ряде печатных органов своего времени. Ряд работ Абаева еще не потерял своего значения. Интереснейшей фигурой является также Султан-Бек Абаев. Он был среди поступивших в первом потоке в первую русскую консерваторию, открывшуюся в 1862 году. Султан-Бек поступил в Петербургскую консерваторию одновременно с Петром Ильичом Чайковским, учился у скрипача с мировым именем — Венявского. Жаль, что никто из горцев не учился вместе с Лермонтовым, хотя бы в школе армейских прапорщиков! Султан-Бек Абаев был скрипачом выдающегося таланта. Об этом писали газеты того времени, давая высокую оценку виртуозному мастерству скрипача-балкарца. Заслуживает пристального внимания и личность Сарафаллы Урусбиева из-под Эльбруса. Вообще их семья была замеча-

тельной. Общеизвестна дружба Урусбиевых с такими крупными деятелями русской культуры и науки как Балакирев, Танеев, Миллер, Ковалевский. Русские композиторы приезжали в Баксанское ущелье, гостили у Урусбиевых. Старый князь Измаил, отец Сафарали, играл им на скрипке горские мелодии. Он был большой знаток родного фольклора. В результате этих встреч Балакирев, например, написал свое знаменитое произведение «Исламей».

Сафарали Урусбиеву удалось закончить сельскохозяйственную академию (ныне имени Тимирязева). Он вместе с композитором Танеевым присутствовал на первом представлении оперы «Евгений Онегин» в Большом театре. В тот счастливый для молодого горца вечер Танеев познакомил Сафарали с Чайковским. Видите, как повезло этому балкарцу! Первыми из мусульманок светское образование получили две балкарки — Халифа Абаева из Черекского ущелья и Фуза Шакманова из Хуламо-Безенгийского. Они десять лет учились в Тифлисе. Также интересно вспомнить о докторе Измаиле Абаеве. Он учился в Петербургской военно-медицинской академии, затем по состоянию здоровья был переведен в Киевскую академию, которую и окончил. В первую мировую войну доктор Абаев находился на Турецком фронте. Там медсестрой у него работала довольно известная ныне советская писательница Аргутинская. Одним из главных героев ее романа «Огненный путь» является доктор Измаил, который в годы революции и гражданской войны все силы и знания отдавал народу. Я воздаю должное таким представителям моего народа.

Но Кязим удивляет меня больше всех, и не только своим талантом, но и как личность, преодолевшая такие барьеры, которые люди в его положении редко, очень редко могли преодолеть. Кроме того, творчество и личность Мечиева имели и имеют несравненно большее значение, чем деятельность каждого из его современников-соотечественников. Это один из самых выдающихся людей, когда-либо живших в балкарских горах. Достаточно сказать, что все мы считаем ныне Кязима основоположником родной литературы, непревзойденным национальным поэтом, гениальным художником слова, своей гордостью. Кязим — фигура такого же значения, как Важа Пшавела, Коста Хетагуров, Габдулла Тукай, Абай Кунанбаев.

Позвольте мне привести цитату из статьи знатока поэзии горцев Натальи Капиевой «Здравствуй, Кязим!». Она была напечатана в еженедельнике «Литературная Россия» от 8 февраля 1963 года: «У каждого народа рождаются поэты с наибольшей силой воплощающие историю своего народа, его мудрость и муки, его радость и боль. У балкарцев таким поэтом был Кязим». Капиева также определяет место творчества Мечиева в общегорской поэзии: «Стихи, сказанные где-то у горной реки», «Моя старая сакля», «Ослику с израненной спиной» — немного пойдет в горской поэзии творений, подобных им по силе гуманизма, любви к родине, ко всему живому... То, что им создано, — поэмы «Раненый тур», «Бузжигит», его философские четверостишия, его лирика — вровень с самым высоким».

Все писавшие о поэзии Мечиева дают ей такую же высокую оценку. Вот что писал о Кязиме крупный знаток восточной и кавказской поэзии Семен Липкин в частном письме: «...Лев Толстой внимал бы ему с уважением. Для кибернетики — главное заключается в информации, в общении. Кязим о многом сообщает. Вот почему этот старик горец ближе современной науке, чем многие выпускники Литинститута. Далее. Я чувствую, что Кязим музыкален высшей музыкальностью — естественностью и полезностью фразы. Он строит стих, как горец саклю: все, что нужно для жилья в горах, есть в этой сакле, а то, что не нужно, — к чему оно?»

Поэзия Мечиева значительна своим социальным содержанием, мятежными мотивами протеста, тем, что этот протест выражен с могучей художественной силой в стихах и поэмах. Поэзия Кязима озарена светом народных праздников, пронизана горечью народных бед, ей присущи мощная образность и красота. Удивительно точен, безупречно конкретен его язык, чего невозможно сказать о многих из нас, современных литераторах Балкарии. Прислушайтесь, какая буря шумит в четырех строчках Мечиева, которые я сейчас процитирую в оригинале:

Бирп къача, бири къууа,
Жеткенлерип жолда бууа,
Аны ызындан палах тууа,
Хатасызла аны жууа!

Эти стихи обрушиваются на нас, как мятежная река после ливня. Сплошные рифмы и глагольные окончания

идут, как мощный поток. Вот буквальный перевод этой строфы: «Один убегает, другой гонится за ним, догоняет и душит на дороге. Затем рождается беда и безвинные смывают ее (отвечают за беду)». Кто читал Кязима внимательно, тот обязательно должен был почувствовать, что его огромная искренность чем-то напоминает искренность Александра Блока, несмотря на то, что их биографии, школа, приемы, стиль, образный мир абсолютно различны.

3

Кязим — славный классик балкарской поэзии — признан ныне одним из лучших кавказских поэтов. Мне кажется, что степень талантливости поэта не всегда можно определить его популярностью. Тут могут быть разные причины и обстоятельства. Но время Кязима уже пришло, его поэзия и личность привлекают все большее внимание. Я верю — он будет широко издаваться, о нем будут еще много писать.

Поэзия Мечиева напоминает огонь, зажженный на горе темной ночью, огонь тревоги, который не сумели погасить бури и снегопады тяжелых времен. В поэме 1907 года «Раненый тур» Кязим писал:

Кто пицему горскому краю
Даст волю? Как выход найти?
Я горские песни слагаю,
Иного не знаю пути.

Полагаю, что не всем известны все произведения Мечиева. Поэтому позволю себе привести две из последних главков поэмы «Раненый тур» — одного из лучших произведений не только балкарской, но и всей горской поэзии. В этой поэме раненого тура спасает от преследующего его волка бедный охотник по имени Хашим:

Не хлеб ты вкушаешь, а горе,
Мой раненый тур, мой народ,
Но где же средь наших нагорий
Охотник, что жертву спасет?

Ты бедствий изведаль так много,
Как много в ущельях камней.
Скажи мне, чья горше дорога,
Скажи мне, чья доля трудней?

Все сыплются беды... Не так ли,
За веком мучительный век,
По трубам, полуночью, в сакли
К нам сыплется с копотью снег?

Пройдя над пемой крутизною,
Заходят в аул облака, —
Не так ли холодной весною
Заходит к нам в сакли тоска?

Что делать мне, если поныне
Душа у народа болит?
Хоть в реку бросайся в теснине,
Когда она в ливень бурлит!

Что делать? Как тур из двустволки
Ты ранен, мой бедный народ,
За раненым гонятся волки,
Но кто к нам на помощь придет?

Кто в нищих горах уничтожит
Свирепую стаю волков?
Кто нищим аулам поможет,
Кто горцев спасет от оков?

Кязим, как и ты, окровавлен,
Мой раненый горский народ,
И горем, как ядом, отравлен,
Он горькие песни поет!

4

Кязим — явление необычное и самобытное. Но даже такие явления не обходятся без традиций и влияний. Вспомним хотя бы Лермонтова. Сначала он мальчиком почти переписывал отдельные произведения Пушкина. Но повторяет ли он в зрелых вещах своего ближайшего предшественника? Нет. Но мог ли быть Лермонтов без Пушкина таким поэтом, таким совершенным мастером, каким мы его знаем? Влиял ли Пушкин на Лермонтова? Безусловно. А похожи ли они друг на друга? Нет. Лермонтов обожал Пушкина, учился у него. Но несмотря на это он не только не стал эпитомой своего учителя, его подражателем, но своим творчеством открыл новые пути и миры в русской поэзии, его творчество составляет целую эпоху в литературе русского народа.

Горцы верно говорят: «Какая земля, такая и трава». Чем крупнее художник, тем более умело он пользуется

достижениями своих предшественников, традиции не сковывают его, а дают возможность смелее двигаться дальше. Тут уместно вспомнить строфу из знаменитой поэмы великого грузинского поэта Николоза Бараташвили «Мерани» в переводе Б. Пастернака:

Пусть я умру, порыв не пропадет,
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.

Традиции для большого поэта — это часть пути, которому нет конца. Это образцы, которые не полагается повторять. Имеются люди, считающие, будто достаточно писать стихи лесенкой, чтобы стать продолжателем или последователем Маяковского. Это заблуждение, к тому же весьма извное. Нет, судь дела не в лесенке, а в том, чтобы быть поэтом-гражданином своего времени, как Маяковский был поэтом-трибуном революции, надо выражать по-своему мощно и масштабно эпоху, ее стремления, чаяния, ее передовые идеи. И для этого найти свои приемы, свои средства, свой стиль, а не повторять найденного. Повторение и творчество — два противоположных полюса.

Был ли новатором, например, карачаевский поэт Азрет Уртепов? Конечно. В чем, на мой взгляд, заключается его новаторство? Он по-своему выразил новые идеи, припесенные в горы Октябрьской революцией, выразил сильно, горячо, темпераментно. Он расширил и развил возможности карачаево-балкарского стиха, сильнее многих своих современников-соотечественников разработал новые темы, вышел на более широкие стиховые просторы. Несмотря на многие художественные изъяны, обусловленные тогдашним состоянием родной поэзии, творчество Азрета Уртенкова значительно. Вопрос традиции и влияния в творчестве — очень сложный и тонкий. Приведу один факт.

Первым русским стихотворением, прочитанным мной в детстве был «Узник» Пушкина в переводе карачаевского поэта Исы Каракетова. Я теперь не вижу этого перевода. Но тогда он мне казался чудом, обворожил меня своей красотой. Во-вторых, ни одно произведение родной литературы, исключая Гязима Мечиева, не открыло мне мою родину с такой силой, не доставило мне такой радости, как стихотворение Исы Каракетова «Кавказ». Это дейст-

вительно выдающееся произведение, покоряющее красотой языка и образностью. Эта вещь сыграла большую роль в моей работе. Тут же хочу сказать, что остальные произведения Каракетова не производят на меня, к сожалению, никакого серьезного впечатления. Они слабы, риторичны. Вот как порой преломляются традиции и как происходит учеба у своих предшественников и современников. Эта учеба и влияние часто напоминают подземные воды, их на поверхности не видно.

5

Все сказанное мною относится к теме «Кязим и восточная поэзия». Все это я говорил для подтверждения мысли о том, что Кязим углубленно учился у мастеров восточной поэзии, но сам был также новатором-первооткрывателем, всегда оставался им. Он вырастал из родной почвы, как скала или дерево. Но это не только не мешало ему учиться у поэтов других народов, не только не вредило, не мешало его самобытности и оригинальности, а давало еще большую мощь его дарованию.

Поэзия Мечиева впитала многие соки, его Пегас пил из многих рек, но оставался балкарским конем. И радостнее всего этот конь ржал, возвращаясь после скитаний к горам Безенги. Самым крупным произведением балкарского поэта, непосредственно соприкасающимся с восточной поэзией, является поэма «Бузжигит». Из поэмы ясно видно, что действие ее происходит не на Кавказе, а где-то на Ближнем Востоке, в большом городе. Главный герой произведения, Бузжигит, юный зодчий и сын крупного зодчего. Он и дочь хана, двое влюбленных, погибают. Как видите, тема не была новой. Но Кязим придал ей новую и до конца горскую окраску.

В этой поэме Кязим называет имена некоторых своих учителей — больших поэтов Востока. Обращаясь к горестной любви Меджнуна и Лейли, Кязим писал:

Их жаркое влечение
Прославлено людьми.
В них — Навои свеченье.
В них — пламя Низами.

Этих поэтов Мечиев знал, у них учился. Но по его устным признаниям и признаниям в поэме, о которой мы говорим, самым любимым у Кязима был великий трагиче-

ский лирик Азербайджана и всего Востока — Физули. Вот что о нем сказано в поэме:

В них — Физули крылатый,
Что отнял мой покой:
Как над могилой брата,
Я плакал над строкой.

Физули был ему близок и дорог глубоким и суровым драматизмом своей лирики. Об этом не раз говорил нам Мечиев. Многие строки Физули Кязим знал наизусть и часто повторял их:

Скиталец заплачет всегда,
Лишь вспомнит он берег родной.
Но спящих будит по ночам
Страданий ежечасный крик...

И еще:

Нет, я не зверь, я по своей природе
Людей люблю с душевной прямизной.

Нет сомнения, что одним из первых учителей Кязима был именно Физули, хотя мы и не находим у него никаких подражаний старому классик. В поэме «Бузжигит» читаем:

Меджнуу блуждал в пустыне,
Любовью одержим —
Печаль его поныне
Близка сердцам людским.

Кязим в тиши нагорий
Скорбел в глухой дали.
Когда прочел о горе
Меджнуна и Лейли.

...А на земле поныне
Царят и страх, и гнет,
И до сих пор в кручине
Меджнуу в степях бредет.

Кязим упоминает в своей поэме не только Меджнуна и Лейли. В ней имеется такая строфа:

Фархад крушит громаду
Утесов и теснин,
И плакать по Фархаду
Не устает Ширин.

Вот что важно для Кязима: трагические герои классической поэзии не исчезли, остались вечными спутниками живущих.

И, наконец, Кязим Мечиев благодарит великих поэтов Востока за их поэзию и человеческую щедрость:

Поэты! Всем влюбленным,
Постигнув боль земли,
Вы словом раскаленным
Отраду принесли.

Идет ли Кязим в своей балкарской поэме от восточной классической поэзии и ее великих мастеров? Если да, то в чем заключается влияние Востока на поэму Мечиева? Я попытаюсь ответить на эти вопросы.

6

Кязим, работая над поэмой, несомненно, пользовался достижениями поэзии Востока, достижениями своих великих учителей. И в то же время никого из них не повторял. Кязим Мечиев учился у классиков Востока — арабских, персидских, турецких, азербайджанских и узбекских поэтов, но не подражал им, не стал их эпигоном, а был национальным балкарским, горским поэтом. Лучшим подтверждением тому не только содержание, но и характер, форма, образная система его произведений. Вот целиком одно его маленькое стихотворение:

Серый камень сорвался с утеса,
В мрачной бездне остался лежать...
Никогда ты наверх не вернешься,
Свой утес не увидишь опять.

Я молю тебя, господи, ныне:
Лучше в камень меня преврати,
Но остаться не дай на чужбине,
К моему очагу возврати!

Это написано в 1910 году в городе Шаме (Дамаск). Тоска по родным горам, милой сердцу земле, по отчужденному и очагу выражена с такой простотой, с такой сжатой энергией, такими типично горскими образами, что ничего от классической восточной поэзии в шедевре Кязима мы не находим. В нем, как и во всей поэзии Мечиева, нет ни слащавости, ни красивостей, так характерных для подражателей и эпигонов великих классиков Востока. Мы знаем, что для восточной поэзии нередко бывали характерными красноречие и повествовательная риторика. Этим, разумеется, больше всего грешили поздние эпигоны крупней-

ших поэтов. Все это у Кязима отсутствует начисто. Он был учеником лучших мастеров Востока, но остался самим собой — замечательным, самобытным художником.

Кязим, как истинный художник, избег соловья и розы, которые были доведены эпигонами до последней степени слащавости и штампа. Восточные штампы у него мы не встретим ни разу. Нет в его суровой поэзии ни газелей, ни девушек с газельими глазами. Прекрасны живые красавицы газели и девушки с их бессмертной красотой, непостижимо чудесна поэзия любви. Все это изумительное в жизни и поэзии, в ее подлинных явлениях эпигоны и подражатели превратили в мертвые штампы, убив в газелях, девушках, соловьях и розах их настоящую живую красоту, дыхание и аромат, всю их прелесть. Тот, кто впервые сравнил глаза любимой с глазами газели, сделал открытие. То же самое о соловье, поющем розе о своей любви. Но от повторений — говорили на Востоке — не тускнеет одна лишь молитва! Поэзия такой суровой земли, как Балкария, такого народа, как балкарский, который жил трудно и драматично, конечно, соловьи и розы были чуждым мотивом. И Кязим, как чуткий художник, прошел мимо них. Вот его четверостишие, подтверждающее сказанное мной:

У турков, арабов, проделав скитаний круги,
Я снова увидел вершины твои, Безенги,
Что может быть лучше, отраднее в мире земном,
Чем запах кизячного дыма в ауле родном!

Он считал себя учеником Физули и Хафиза. Мечнев умел учиться. А все же главное в таланте, который является лучшим компасом для художника. Без таланта не спасет никакое умение учиться, не помогут и знания, хотя они и необходимы.

Великая классическая поэзия Востока, которой восхищались такие гиганты мировой культуры, как Гете и Пушкин, стала замечательной школой для Кязима Мечиева. Он освоил ее лучшие черты. Это раздвинуло его горизонты, развило вкус, научило культуре стиха, привело к чувству формы. Балкарский поэт, которому, как я уже говорил, не удалось пройти русскую школу, изучить русский язык, если бы не опирался на образцы восточной поэзии, то не сумел бы подняться на такую высоту.

СКАЗКИ И ГОРЫ

У балкарцев и карачаевцев один язык, одни и те же сказки, песни, пословицы. Поэтому их невозможно отделить друг от друга. Эти два народа — древнейшие жители Кавказа, издавна обитавшие в самом его центре — у подножья Эльбруса. Ныне балкарцы живут в Кабардино-Балкарской АССР, а карачаевцы по соседству — в Карачаево-Черкесской Автономной области.

Наши крестьяне, как и все крестьяне на свете, не только пахали землю, пасли скот, тесали камень и дерево, строили жилища, но и создавали сказки, песни, пословицы, загадки. Они были поэтами. И мы обязаны им за тот полный нетускнеющих красок, неповторимый поэтический мир, который они оставили нам. Эта изустная поэзия и поныне дышит живой жизнью, не увядая, не старея, радуя нас, служа все новым поколениям. Она полна мудрости, веры в жизнь, энергии, света, как и создания фантазии и ума любого народа. Она остается нашим национальным сокровищем наравне с родным языком. Максим Горький назвал народ величайшим поэтом, и это неоспоримая истина. Подтверждением ее является и карачаево-балкарская народная поэзия.

Человеку всегда трудно было жить и добывать свой хлеб. Ему приходилось воевать, отстаивать свой дом от жадных завоевателей. На народ обрушивались поварьные болезни, эпидемии, неурожай и множество других бедствий, он терпел гнет, унижение, издевательства со стороны

сильных мира сего. Но все равно люди должны были жить — и жили. Ни при какой беде не иссякало молоко материнской груди, крестьяне пахали землю, строили жилища, разжигали огонь, растили и кормили своих детей, человеческая фантазия высекала вихревые пляски, удивительные песни, ум не скудел, надежда не погибала. Люди-труженики мечтали о счастье. Они всегда думали, что оно впереди. И это освещало им трудные пути, помогало жить, преодолевая все злоключения. Народ всегда был оптимистом и остается им. Он очищал землю от камней, растил зерно, разводил сады, собирал урожай и верил в вечность земли. Он слышал шуршание созревших колосьев, смотрел на звезды и не сомневался в их бессмертье, в любых условиях был уверен, что солнце всегда будет освещать и согревать мир, в свой час снег будет ложиться на землю, дождь будет поить поля, пастбища, луга, огороды, ребенок всегда будет смеяться, конь — скакать, мельничные жернова — крутиться.

С этой верой он и создавал свои сказки. Они были ему поддержкой, выражали его мечты и надежды. Народ вкладывал в них свой ум и талант. Так переходили сказки — эти жемчужины его фантазии — из уст в уста, от поколения к поколению. Я пытаюсь представить себе, как слагались сказки и легенды. Крестьянин всегда был занят. У него было много забот и хлопот — постоянно приходилось думать о насущном хлебе, сене, дровах, соли. Но все же он находил время слагать и рассказывать сказки. Верно сказано, что не хлебом единым жив человек. У него всегда была, есть и будет потребность в творчестве. И горский крестьянин, мне кажется, слагал сказки, вернувшись с поля или с пастбища, сидя у очага, пока жена клала заплаты на его изношенный бешмет. А может быть, он придумывал их ночами у пастушьего костра перед белой горой или в пещере, когда пламя освещало скалу. Могло быть и так, что он — пахарь, пастух и сказочник — ехал ночью по сухой горной дороге среди скал, смотрел на звездное небо и в этот час творил свои легенды. А возможно, он это делал, глядя на дождь, который не давал ему работать в поле или косить и убирать сено. Как бы то ни было, этот труженик каменистой горной земли — был большой поэт. И я, его потомок, цепитель его талапта, ума и воображения, выводя эти строки, снова благодарю его и кланяюсь той земле, которую

он пахал, на которой косил траву, пас скот, скакал на коне, плясал на свадьбах, слагал свои легенды той земле, где он, сделав свое дело каменотеса и поэта, нашел вечный покой.

Человек должен жить, своим умом, волей, мужеством, побеждая все трудности и превратности, которые встречаются на его пути. Он рождается для того, чтобы трудиться и жить. Все, что он делает, должен делать хорошо. Человек всегда обязан стараться быть добрым, благородным, щедрым, верным в дружбе и любви, быть преданным своему делу, отчей земле, родному очагу, ему необходимы стойкость, храбрость перед врагами, мужество в жизни — вот главное содержание и суть наших сказок, как и у всех народных сказок на свете. Но при таком общечеловеческом их содержании в сказках балкарцев и карачаевцев заключены конкретные национальные черты, своеобразие быта, жизни, особенности характера народа. Они порождены нашей родной землей и похожи на нее, в них мы видим ее облик, уже не говоря о языке и его прелести. Многие наши сказки родились в горах. В них живет высота и свет вершин. Они похожи на горы. У них одна суть. Как прекрасны они — сказки и горы! Поэтические особенности оригинала, к сожалению, в переводе во многом пропадают, и передать их невозможно. И тут ничего не поделаешь!

У балкаро-карачаевской сказки есть свой запев и особый конец. Начинается она обычно словами «давно-давно», а кончается: «Как этого не видели мы с вами, пусть так же не узнаем болезней и бед!» Эти слова всегда имели сильное воздействие на меня, в них есть какая-то необъяснимая добрая сила, мощь поэзии и прелесть языка. Но и эта сила во многом увядает в переводе. Но что делать, как известно, каждый язык — это целый мир. Поэтому поэзия полной и настоящей жизнью живет только на том языке, на котором создается. Перевод произведений поэзии — это не само дерево, а тень от него, не сама река, а только ее отдаленный шум. Читатель переводной поэзии, к сожалению, поставлен в такое положение, что он видит не самое дерево, а тень от него, реки он не видит, а слышит только ее шум. Но и то благо. Хоть в такой степени один народ должен знать художественные создания другого.

С детства я рос в атмосфере народной сказки. Сколько я слышал их в Чегемских горах, как они были увлекатель-

пы, завораживающие, яркие, мудры! Их мне рассказывали чабаны на пастбище летней ночью, когда одна гора белела, а другая чернела, и были горы похожи на тех великанов, которые в легендах вели жестокую схватку, пытаясь одолеть друг друга. Мне рассказывали на площади аула старики, которым уже трудно было пасти скот и косить сено. Сказки для них, кроме прочего, были и воспоминаниями. Какими замечательными сказочниками были все эти горцы! Я до сих пор благодарен им. Мальчиком я слушал их, когда скалы освещала луна, а звезды над вершинами горели так, будто вышли из сказки, чтобы посмотреть на белизну вершин. И голос матери до сих пор мне слышится и вспоминается, слившись со сказкой. Вечерами, когда на склоне перед нашей саклей, стоявшей у самых скал, белел снег или зеленела трава, мать рассказывала мне, мальчику, и я, слушая ее, засыпал счастливым сном. Такого сна я больше не знал никогда!

В сказке все крупно и ярко. Она освещена светом народной души, светом ее веры в жизнь, в справедливость, разум, светом его надежды. В наших сказках чаще всего персонажи не имеют имен, они безымянны. Это, должно быть, потому, что сказочные герои имеют собирательный смысл и народ не считал нужным удостоить какое-нибудь имя этой чести. Вопрос не изучен, но факт остается фактом.

У нашей народной сказки есть еще одна особенность. В ней неправых всегда побеждают те, которые правы. Несправедливость терпит поражение. Эта черта опять-таки идет от оптимистического отношения народа к жизни. Сказочник-крестьянин не позволял себе уступить окончательную победу черной силе. И это замечательно. Это каждый раз победа жизни. Я часто думал и думаю именно о такой силе оптимизма сказок моего народа, стараясь понять и постичь мощь его жизнелюбия. А ведь нашу изустную поэзию создавал народ, переживший многие беды, из пепла поднимавший свои жилища, столько раз вновь разжигавший огонь в очагах. Так было. А все же он в поэзии выражал свою нестигаемую, неистребимую волю к жизни, стойкость, мужество, мудрость, ясный разум. Поэтому и не увядают, не умирают сказки народа — создания его ума и сердца.

Сказка всегда возвеличивает замечательные человеческие качества, в ней каждый раз побеждают они. А это

значит — побеждает народ, его разум, крепость души, человечность, которые неистребимы. Перед ними отступают темные силы, какой бы тяжелой ни была борьба.

Вот главное в сказках в моем их понимании. Мне кажется, что ни один литератор не должен пройти мимо них, быть равнодушным к ним. В них заложена великая художественная сила. Сказка всегда останется школой для поэтов. Недаром так любил и ценил ее Пушкин. Она не умерла и в атомный век, будет жить всегда, чтобы люди ни придумали, и впредь. Сказка — мать поэзии, которая выросла из нее, как колосья из земли. Сказка кажется выдумкой. Но только кажется так. На самом же деле в ней большая правда жизни. У меня всегда вызывало радость то, что в сказках разговаривают не только люди, но и горы, реки, камни, деревья, снег, дождь, животные, трава, а люди понимают их язык. В этом такая большая поэзия и прелесть!

Благословенна сказка. Так много радости она давала нам всем! Как украсила она детство каждого из нас, став голосом матери и шумом дождя за окном отчего дома!

Я еще хочу сказать вам то, что обычно горский сказочник говорит своим слушателям, заключая сказку:

— Как этого не видели мы с вами, пусть так же не узнаем болезней и бед!

ПОЭТ КАК ЛИЧНОСТЬ

В наши дни многие могут писать грамотные стихи, находить для своих строк приличные рифмы. Эта сторона стихотворства поднята высоко. Но сила поэзии, надо полагать, заключена не в этом умении. Тема: поэт как личность — обширна и серьезна во всех отношениях. И мне понятно, какое ответственное дело говорить перед профессорами, преподавателями и студентами Московского университета.

Наш вечер посвящен памяти Мусы Джалиля, его шестидесятилетию. Я не буду пересказывать биографию поэта, содержание его произведений. Не могу, к сожалению, поделиться с вами воспоминаниями о нем — не был знаком с ним, никогда его не видел. Устроителям вечера я обещал сказать лишь о поэте как личности. Мне всегда казалось, что оно, это понятие, определяет многое в художнике, в его творческой судьбе, решает, может быть, все. Об этом говорят опыт и история мирового искусства. Вспомним Сервантеса, Бетховена, Пушкина, Гете, Лермонтова, Рембрандта, Мицкевича, Льва Толстого. Их много, ставших образцами и учителями мужества, человечности, совестливости. Они были могучими художниками, стойкими борцами, умевшими смело вступать в бой за человека, за его свободу и радость, за народы и их права.

Был я в мире человеком —
Это значит — был бойцом.

Так писал тончайший лирик, которого называли олимпийцем. Оказалось, что великий поэт и мыслитель Гете считал лучшей и самой почетной участью для человека вообще и, в частности, для себя — быть на земле бойцом.

Самые светлые и прекрасные слова о сущности дела поэта и его назначении принадлежат Пушкину. Эти строки ныне знает каждый школьник, но не произнести их вслух сегодня на вечере памяти поэта-героя я не могу:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Поэт-жизнелюб, небывалый лирик, для которого женская красота, вино, горы, море, снег, дождь, трава, рассвет — все прекрасное и милое на земле — было радостью, все же главным в своем великом деле и подвиге считал то, что заключено в процитированных выше стихах...

Да, писать грамотные стихи ныне могут многие. А человек, сказавший:

Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой, —

это уже не просто стихотворец, не только автор рифмованных строк. Это уже личность и личность трагическая. Слагать свою песню в тот час, когда палач занес топор над головой — это мужество и присутствие духа вдвойне. Для этого мало быть просто храбрым человеком, но еще надо верить в жизнь, в возможную победу всего лучшего и светлого в ней. Муса Джалиль и в час своей гибели верил в правоту своей Родины, в ее грядущую победу. Поэт слагал свою песню перед неминуемой гибелью и в ней славил жизнь.

И стихи перестали быть просто словами, а стали дыханием их создателя, судьбой, жизнью. Вера в правоту советского народа дала Мусе Джалилю мудрость и смелость. И в невыносимых условиях стал он организатором подпольной борьбы против фашизма. Только так выковывается характер героя. Трудно преодолеть страх смерти! Но без этого нет подвига,двигающего жизнь вперед. Из стихов Мусы Джалиля встает образ мужественного человека, темной ночью смело идущего над пропастью. И стал он героем и примером для всех желающих оставаться людьми. Так

живет на земле мужество, подвиг и человеческое достоинство.

Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

Сказать о себе так имеет право далеко не каждый поэт. Для этого надо быть Мусой Джалилем, таким же нестигаемым бойцом в борьбе за ту правду, ради которой художник живет и трудится, надо обладать таким же мужеством, иметь такую же большую судьбу.

Мелкая река не может держать корабли. Муса Джалиль был подготовлен к своему подвигу всей своей жизнью, воспитанием советского человека-ленинца, поэта-интернационалиста, художника-патриота. Справедливая народная война против варварского фашизма выковала из Мусы Джалиля крупного человека, сделала его героем. Таких людей жизнь создает в крутые, тяжелые, трагические часы. Они необходимы ей. Жизнь не может обойтись без них. Они необходимы людям, как совесть. Без них не будет ни красоты, ни радости. Подтверждением этой истины является и жизнь Мусы Джалиля.

Он совершил подвиг, не покорившись врагам своей Родины, душителям справедливости и человечности, убийцам и разбойникам, врагам свободы и поэзии. Да, и поэзии, потому что поэзия издревле служила и всегда будет служить добру и свету. Поэзия, на каком бы языке она ни создавалась, под каким бы небом ее голос ни звучал в те годы, как и ныне, была против фашизма, стала на его пути. И фашисты ненавидели поэзию. Кровь поэтов от Данте до Лорки всегда была чиста, как и совесть. Так должно быть. Это природа поэта. Совесть и поэзия, чистота и поэзия — одно и то же. Чистота снега на склоне горы и белизна вновь расцветшего боярышника испокон живут в поэте, в нем святость хлеба и воды.

Муса Джалиль совершил подвиг, выполняя долг бойца перед Родиной. Но это только одна сторона его дела. Ведь он был не только бойцом, а еще и поэтом. В невероятно тяжелых условиях фашистского застенка сумел создать он тысячи строк стихов, написанных кровью сердца. Это был его поэтический подвиг. Большой человек Муса Джалиль стал большим художником. Это еще раз свидетельствует о том, что личность поэта играет первостепенную роль в его творческой судьбе. Создания художника — это его судьба, его совесть и жизнь. Художнику необходимо бесстрашие,

которое так трудно дается. Муса Джалиль проявил двойное бесстрашие — бесстрашие бойца и бесстрашие художника.

В воспитании Мусы Джалиля, подготовке его к подвигу, конечно, большую роль сыграла русская и мировая классическая литература, книги советских писателей. И мне хочется на вечере памяти поэта-героя сказать: пусть славится в веках труд великих поэтов и художников! Мы все в неоплатном долгу перед искусством, перед культурой — этим величайшим благом для всех живущих. Я хотел бы особо отметить заслуги татарской литературы перед художественной культурой республик Советского Востока, особенно Средней Азии. Лучшие представители Татарстана оказали большие услуги многим из наших народов в деле просвещения и культуры. Татарский народ дал нам поэта-героя Мусу Джалиля. Мы благодарны ему за это.

На вечере памяти казненного татарского писателя не случайно вспомнил я испанского поэта Федерико Гарсиа Лорку, в другом краю и в других обстоятельствах, но убитого теми же черными силами фашизма. Это убийство у многих вызывает недоумение. Обычно говорят: зачем убили Лорку? Ведь он не имел отношения к политике. Это заблуждение. Любой крупный художник — явление социальное и общественное. Мы знаем, что первая же вещь Лорки, написанная для театра, его трагедия «Марианна Пинеда» — это трагическая песнь свободе. Нет, Лорка занимал определенную позицию как человек и художник. Он являлся поэтом народа, мастером, возродившим народный испанский романс. Он однажды заявил, что состоит в партии бедных. После этого разве оставалось сомнение в ясности позиции великого испанского поэта? Он был с народом, оставался с теми, кто боролся против тьмы, шел к свету и добру. Его песни были душой Испании. Поэтому он и был убит фашистами. Лорка ведь написал вот эти потрясающие стихи об испанской жандармерии:

Черные кони жандармов
Железом подкованы черным.
На черных плащах сияют
Чернильные пятна воска.
Они по дорогам скачут,
Свинцом черепа налиты,
Они не умеют плакать,
Их души лаком покрыты.
Скачут горбатые течи,
Зловещие, словно тучи,

За ними — топь тишины
И страха песок сыпучий.
Не видят ни звезд, ни неба,
Рыщут, как волки, повсюду,
В глазах их сияют жерла
Сеющих смерть орудий.

Здесь я выступаю не как специалист среди специалистов, не как литературовед. Мое слово о поэте-герое — это слово брата Мусы Джалиля по поэзии. Я не очень молод. Но я оставил в предгорьях Кавказа свой дом, бросил работу и отправился в Казань, а оттуда приехал в Москву, чтобы выразить свое уважение к Мусе Джалилю — моему казненному брату, поэту, убитому варварством. Силы, убившие Мусу Джалиля, еще не исчезли с земли. Матери все еще беспокоит за своих спящих детей, человек все еще часто с тревогой глядит вдаль. Трава и вода родника боятся быть окровавленными. Рассвет приходит с тревогой за свою чистоту. Мы не будем обольщаться и тешить себя иллюзиями, но будем верить в жизнь и победу света и добра, как это делали герои и мудрые художники. Будем учиться стойкости у таких людей, как Муса Джалиль, у тех, кто сумел слить песню и мужество воедино.

1966

ПЕСНЯ

В горный колхоз «Чолпон» я приехал поздно вечером с заданием газеты написать очерк о сельской учительнице. Моим случайным спутником оказался бухгалтер Тообаев.

Когда мы въехали в анл, уже было темно. Проезжали мимо клуба. Отчетливо допеслось слово Чапаева: «Купаются!» Ребятишки-безбилетники толпились у окон и восторженно перешептывались.

Горы высились совсем близко, но очертания их я видел смутно. Может ли снег на вершинах иметь какой-то свой запах? Не знаю. Но мне определенно казалось, что ветерок в Чолпоне, спускающийся с высот, пахнет горным снегом. Такое ощущение рождалось близостью нетропутого снега на горах в то время, когда внизу все покрылось зеленью и в полдень так благостно греет солнце второй половины мая.

Мы подъехали к дому Тообаева. Я спросил, где живет учительница Кельгенова, и хотел сразу отправиться к ней. Но Тообаев обиделся:

— Так нельзя. Ты сегодня мой гость, со мной ехал, мы спутниками были, уже друзья. Жок, жок, нельзя. Кроме того, учительница Анм больна, беспокоить ее ночью неудобно.

Пришлось согласиться.

Карабаш завел нас с шофером к себе, познакомили с женой и тут же сказал:

— Я схожу в контору, дело есть.

Вернулся он через полчаса. Привел с собой какого-то парня.

— Это сын Аим Кельгеновэй, Бектур. Э-э, умный парень, много знает.

Юзепа смутился при этих словах Карабаша и робко протянул мне руку. Он был высок ростом, худощав, мечтательное выражение больших черных глаз делало их печальными. Рукава серого пиджака были коротки — он вырос из него. Бектур пришел без головного убора. Густые волосы заменяли кепку.

Встал я утром рано, в шестом часу. Пошел к речке на окраину села. Она катит свои воды от ледников и так спешит, будто горы послали ее с какой-то важной, не терпящей отлагательства вестью к морю, словно она вестовой этих синих хребтов. Кто знает, сколько веков так несется эта речушка! Но она не скудеет, не знает конца, течет стремительно, звонко и проносит сквозь горы песню о бесконечности, о радости весеннего утра, о радости высоты. Речушки нет на картах мира, но что ей до этого? Она весело делает свое дело — течет.

Умывшись ледяной водой, я пошел обратно. Кругом все в зелени — поля, сады, хлеба.

Идти к учительнице было еще рано.

Во дворе бухгалтерского дома я присел на толстое бревно.

— С добрым утром, агай!

— А-а, здравствуй, Бектур!

Хотя накануне мы беседовали на киргизском языке, сейчас Бектур приветствовал и говорил по-русски. Я понял, в чем дело. Ему хотелось показать, что он хорошо знает русский язык. Это льстило ему, доставляло радость. Заметно было, как старательно, с каким удовольствием он произносил русские слова:

— Матери уже хорошо, — сказал Бектур, — совсем хорошо, идемте к нам. Она просила прийти.

— Ладно, милый Бектур. Сейчас пойдем, надо же хоть спасибо хозяевам сказать.

В эту минуту вышел к нам сам Карабаш. Я собрался поблагодарить их с женой за гостеприимство и уйти, но они и слушать не хотели.

— Нет, нет, — протестовал бухгалтер, — так стыдно

будет. Такого закону нету. Болбойт, никак нельзя, болбойт досум. Посидеть надо, покушать надо. Потом пойдешь. А не так — я обижусь, хозяйка моя обидится, дети мои обидятся. Ты уже наш хлеб ел, нашу воду пил, под нашей крышей спал. Мы уже друзья. Такой у нас закон. Жарабайт, байке, никак жарабайт!

На этом я кончил бы разговор о доме радушного словоохотливого бухгалтера, но никак не могу обойти его детей — девочку Кулипу и мальчика Асанбека. Ей было пять лет, а ему — три с половиной годика. Вначале детишки стеснялись подойти ко мне, а через час мы уже стали друзьями. Они, перебивая друг друга, рассказывали мне о том, что больше всего интересовало их.

— А у нас маленький волк был, — доложил Асанбек.

— Да, — перебила его девочка, — волчонок у нас жил. Его поймал дядя Рыскул. Да. У него большое ружье есть и борода есть, усы длинные есть. Он волков стрелять ходит.

— Ну-у? А где же теперь ваш волчонок?

— Увезли его далеко-далеко, — ответили хором ребята, — во Фрунзе увезли.

— Вот это здорово!

— А ты во Фрунзе был? — спросил я у малыша.

— Ага, был.

— Когда?

— Завтра был. Кино видел, много машин видел.

— Ой, ой, ой! — удивился я.

— А у нас маленький овчик есть. Сын нашей большой овцы, — заявил Асанбек, радостно размахивая руками.

— А я скоро в школу пойду, — сказала Кулипа.

— Я тоже пойду. Пойду, пойду! — захлопал в ладоши мальчик. — Папе-маме пятерки буду приносить. В школе есть пятерки, много есть.

Мы расхохотались. Мальчик явно представлял себе пятерки в виде яблок или конфет.

— Вырасту, шофером буду, — не унимался Асанбек.

— Хорошо, сынок, хорошо, — прервал его отец.

Между болтовней ребят и лепетом горной воды было что-то общее.

— Мама, мама! — закричала девочка и побежала в другую комнату. Косички, как плетки, болтались на спине. Асанбек рукавом вытер нос и, подтягивая штанишки, тоже побежал за сестренкой.

А отец вынул из мундштука потухший окурочек сигарет-

ки и, растирая его пальцами, долго смотрел вслед детям.

— Вот они какие! Да... но вот, понимаешь, на земле как-то все беспокойно. Если снова война будет, много бед будет, много страданий будет. Я с войны хромым вернулся. Но это еще ничего. Если опять война будет — детишкам очень тяжело будет...

Поблагодарив Тсобаевых за радушие, я направился к учительнице Кельгеновой. Карабаш и жена вышли провожать нас с Бектуром. В середине двора грелся на солнце серый теленок с большой лысиной на лбу. За нами из компаты выскочил маленький Асанбек босиком и без шапки. Он снова подтянул штанишки и бросился к теленку. Тот задрал хвост, поднял голову и выбежал на улицу. Мальчик воинственно крикнул: «Э-э!» и пустился за веселым теленком.

Я рос в горах, но все же не мог в это майское утро не удивиться картине, так внезапно открывшейся моим глазам. Горы, словно только что созданные, сверкали так близко, что казалось, протянешь руку и можно коснуться снега. Над хребтами не было даже одинокого, заблудившегося облачка. Синее небо и белые вершины. Тогда мне пришло в голову, что Бетховен должен был очень любить горы: на них похожа его музыка, в ней разлит их воздух, она дышит их высотой.

Мы с Бектуром шли не спеша, разговаривая. Они с матерью жили в южном конце села, еще ближе к горам, чем Тообаев. Крытый камышом дом, аккуратный дворик с деревянной оградой, небольшой сад. Все было сделано на манер русских и украинцев из соседних колхозов.

Бектур открыл калитку, и мы вошли во двор. Аим сидела на солнышке, читала. Наверное, за дни болезни скоковалась по свежему воздуху. Мы вежливо пожали руки друг другу. Рука ее была маленькая, тонкая и сухая. На вид учительнице можно было дать лет сорок. Гладко зачесанные назад волосы были тугим узлом завязаны на затылке, лицо — с прямыми чертами и строгим выражением.

Отсутствие всего кричащего в одежде, простота, спокойствие, отмеченное даже некоторой торжественностью, неторопливость в разговоре, скупость жестов — все говорило, что Аим является именно той женщиной, какой в моем понимании и должна быть учительница. Примерно такое представление я сохранил и о своих учительницах.

Яблони цвели, согретые майским солнцем. Незаметно росла трава. Кукушка находилась где-то близко. Воробьи праздновали весну. Синее небо над аилом было похоже на лесное озеро в летний полдень, в безветрие, когда ничто не шелохнется и волны замирают.

Аим вспоминала пережитое. Она рассказывала о своей жизни спокойно, тихим, ровным голосом, изредка улыбалась. Воспоминания медленно вели ее по тем нешироким тропам жизни, которыми пришлось ей идти.

— Думаю, что я была одной из первых киргизок, получивших педагогическое образование. Тогда, в начале тридцатых годов, мы, киргизки, с трудом вырывались на учебу. Да и учиться нам было нелегко. Я ходила в школу против воли отца. Он не хотел, чтобы дети учились. Учитель Иманкул часто спорил с ним. Он говорил: «Ты не замечаешь, как идет время, не понимаешь, куда оно ведет. Быков и коней легко можно лишиться, а полученных знаний — никогда».

Аим покачала головой, улыбнулась и продолжала:

— После окончания техникума я вернулась в свой аил. Первый урок я провела в той же школе, где сама маленькой девочкой узнала первую букву. Пока я вела урок, мать ходила во дворе школы. Так она волновалась за меня. Да, мне кажется, что все это было очень давно. Много воды с тех пор утекло. Много изменилось в жизни. Все мы пережили много. Муж был способным человеком, хорошим учителем. Мы с ним вместе в техникуме учились. Потом работали. Все было хорошо. У нас родился сын. Мы были очень счастливы. Долго выбирали имя, все гадали, кем он будет. Тепло было в нашем доме. Но пришла война. Весной тысяча девятьсот сорок второго года Темирбек ушел на фронт. Был такой же, как сегодня, ясный день. С тех пор мы не видели его, не слышали его голоса... У него все было впереди. Он почти ничего не успел сделать. Все свои способности унес с собой. Серый костюм, сорочка, туфли и кепка Темирбека до сих пор лежат в чемодане. Когда сын был помешше, часто спрашивал: «Мама, скоро мой папа придет?»

Мальчик не знал о гибели отца. Скрывала. Мне жутко становилось от его вопросов. Бектур ждал папу, но не дождался. Да и теперь он проснется иногда утром и говорит, что отца во сне видел, разговаривал с ним. Еще тяжелее мне становится. Меня как-то утешает то, что мальчик

похож на Темирбека. Очень похож. Те же плечи, походка, голос.

Кукушки уже не было слышно, но сытые воробьи продолжали галдеть. Нагретая солнцем трава казалась знойпой.

Голос Аим все так же спокойно и ровню вел рассказ о человеческом трудолюбии и трагедии войны. Мимо пролетела ласточка, в клюве принесла былинку. Маленькая птичка трудилась спокойно и мудро. Без этого немыслима ее жизнь. Она будет работать без усталости, сделает гнездо, потом выведет птенцов. Те откроют глазенки на мир, залитый солнцем и полным пьянящего аромата трав. Мать станет заботливо кормить птенцов. Они вырастут и будут также мудро вить гнезда, терпеливо сидеть на теплых яичках, выводить своих птенцов, потом кормить их.

Мы с Аим молча следили за хлопотами ласточки и думали об одном и том же — о трудолюбии, древнем, как мир, и не знающем старости. Благословенны твои хлопоты, пташка!

— Из беседы с вами я понял, Аим Кельгеновна, что вы носите свою девичью фамилию, — сказал я, — как фамилия мужа?

— Турсунбеков. Темирбек Турсунбеков. Он погиб в Севастополе весной тысяча девятьсот сорок четвертого года. Больше всего любил сына и не вернулся к нему. В труднейшие мои дни я стала слагать песни о своем горе и своих надеждах. Это стало для меня большой поддержкой и опорой. До этого я не знала, что песня так может поддерживать человека.

Аим замолчала.

— Знаете, — сказал я, — что мне вспомнилось? Под Мелитополем мы прочитали в газете стихотворение. В нем говорилось, что не все, кто идет в ночной бой, вернутся, не все увидят свои очаги, но и за тех, что падут в эту ночь, пусть будут жить те, которые трудным путем войны дойдут до победы... Многие из нас переписали эти стихи и не раз повторяли строчки, обращенные к друзьям, идущим ночью в бой:

И если закатится моя звезда,
Пусть ваши звезды озаряют ночь!..

ДОМ
И МИР
(СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ)

СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ

1

Родился я 1 ноября 1917 года в старинном балкарском ауле Верхний Чегем, затерянном в верховьях сурового и красивого Чегемского ущелья, на границе Балкарии со Сванетией. Предки наши жили здесь издавна. Мой отец, Шува, как и дед Хаджиби, был скотоводом и охотником. Моя мать, Узенрхап, происходила из аула Жуунгу, расположенного высоко под облаками, среди зеленых гор в одном из разветвлений того же Чегемского ущелья. В детстве я бывал там и некоторое время жил в ауле матери. Я помню, что туда по узенькому ущелью не могла подняться даже воловья арба. Из города и долины все необходимое привозили сюда только на лошадях, мулах и осликах. Здесь на зеленом склоне горы находились два аула — Нижний и Верхний Жуунгу. Во втором жили в основном родичи моей матери — Бечеловы, люди спокойные, не в пример Кулиевым — горячим паездникам и метким стрелкам, большим любителям оружия. Бечеловы в большинстве своем были работающие люди. Стада их паслись на зеленых пастбищах над аулом, где летним днем по нагретой солнцем траве скользили тени облаков и орлов. Там я впервые со своими двоюродными братьями ловил лошадей и скакал на них.

Теперь этих аулов по существу уже нет. Сейчас там стойбища пастухов. Проезжая в Верхний Чегем, я часто вижу горы Жуунгу, летом зеленые, зимой белые от снега, вижу речку, которая, как в моем детстве, бежит вниз по

узкому ущелью, вижу тропинку, по которой я мальчиком поднимался в аул матери и спускался оттуда верхом на маленькой лошадке. По этой же тропе везли мою мать замуж в Верхний Чегем — к моему отцу. Когда я приезжаю в Чегемское ущелье, меня обступают воспоминания. От них и сладостно и горько. Мне здесь дорог каждый камень, дерево, тропинка, родник. Здесь проходили дорогие мне люди — мой отец, моя мать, братья, которых я больше никогда не увижу. Каждый раз мне кажется, что следы от их ног остались навек на этих тропах, словно их не могли смыть дожди многих лет. Здесь я впервые увидел снег на горе и дождь над отцовской саклей, облака над дорогой, звезды над аулом, лунный свет на скалах, рассвет в окне, закат на белых хребтах, похожий на цвет зрелого кизила, будто сказочный великан залил снега красным вином. Здесь на коленях матери, прижавшись к ее теплой груди, я засыпал счастливым детским сном. Все у меня отсюда — жизнь и песня. Чегем — мое начало, мой исток. Здесь я сложил первый свой стих, сложу и последний.

Люди моего рода, Кулиевы, были узденями — свободными горцами. Это значит — они не служили никому и им не служил никто, жили своим трудом.

Верхний Чегем со всех сторон обступают высокие горы и разноцветные скалы. Под аулом с юга на север мчится река Чегем, а с запада на восток с гор Илькарги несется речка Жилги — приток Чегема. Сакли отца и его братьев находились в некотором отдалении от аула, на берегу Жилги, прямо у темно-рыжих, очень мощных скал, и представляли собой замкнутый ансамбль с единым двором и воротами. В одной из дедовских саклей, что возле ворот, сохранилась даже башня с бойницей. Врагов у жителей гор было достаточно, и жизнь их вынуждала быть не только пахарями и пастухами, но и воинами одновременно. Мои родичи выбрали это место, должно быть, потому, что отсюда удобно и близко было ходить на охоту, легче дотащить убитую дичь. Они жили среди скал и были замечательными скалолазами и меткими стрелками. Может быть, до сих пор я единственный из Кулиевых не признаю охоту. Убивать животных ради забавы, как это часто делается ныне, я считаю злым делом. И сейчас охота любимое дело моих племянников.

Быть богатыми Кулиевы не могли — земля наша скудная, но, видимо, и особой нужды тоже не знали.

Мои первые детские впечатления связаны с суровым обликом взметнувшихся к облакам скал, белизной снега на вершинах и склонах. Весной и летом внизу зеленели луга, деревья и огороды, а на горах белел снег. Такими остались в моих глазах навсегда утра, полдни, вечера в Чегеме. Мое детство до сих пор приходит ко мне во сне с лошадьми, мулами, осликами. Потому они так часто встречаются в моих книгах. И острое чувство белизны снега осталось у меня с тех дней. На равнине снег исчезает весной, и до следующей зимы равнинные жители не видят его. А у нас лето и зима не расстаются никогда. Горцы постоянно видят белизну вершин. Горские мальчики обычно, едва начав ходить, просили посадить их на ослика. С этого начиналась их самостоятельная жизнь. Так было и со мной.

Первая жена моего отца умерла, оставив ему четырех сыновей и двух дочерей. Моя мать была его второй женой. Она родила отцу дочь и двух сыновей. Старше меня мальчик умер совсем маленьким еще до моего рождения. Семья была большая, и жить, мне думается, было нелегко. Но отец — энергичный, смелый, волевой человек, видимо, не очень унывал и не боялся трудностей существования. Это подтверждала мать, об этом говорили мне братья отца, все наши родичи.

В горы пришла гражданская война. Мой отец, конечно, не был революционером. Но его не могли не заинтересовать и увлечь лозунги Октябрьской революции о том, что земля будет принадлежать всем крестьянам, люди станут равноправными, не будет богатых и бедных. К тому же Шува был горячим, увлекающимся человеком. Мой отец и его племянник Такуш Кулиев пошли сражаться в ряды горских партизан против белоказаков Дегзиша, когда те ворвались в Чегемское ущелье. После тяжелых боев партизанам пришлось временно отступить за горы — в Сванетию. В пути Такуш погиб, настигнутый снежным обвалом, а Шува заболел тифом и вскоре умер. Это было в девятнадцатом году. Мне было тогда два года. Отца, конечно, не помню. Я никогда не видел его даже на фотографиях. Их у него не было. Когда мой старший сын Эльдар был маленьким, он меня спрашивал, каким был дедушка. Но я и сам знал его только по рассказам матери и близких. Мальчик просил показать фотографию. Я невольно обманул сына — показал ему портрет осетинского поэта Коста Хета-

гурова в черкеске и с кинжалом. Мне больше ничего не оставалось.

Когда умер отец, мы с сестрой, которая старше меня года на три, остались с матерью. Понятно, как нелегка была наша жизнь. Мама вечерами часто плакала, сидя с нами у очага. Может быть, драматизм моих стихов отсюда и берет свое начало. Мать была работающей крестьянкой. Она сумела нас вырастить, послать в школу, несмотря на все трудности. Ее доброта, терпеливость и трудолюбие стали первым значительным жизненным уроком для меня. Она умерла в 1963 году. Вот тогда-то я, сорокапятилетний мужчина, почувствовал себя пасторским сиротой.

Как и полагалось в горах, я совсем маленьким пас овец, коров, телят, возил дрова на ослике и на воловьей арбе, косил сено, пахал — до семнадцати лет делал все, что делает крестьянин в горах. Мать всегда жалела, что мне, такому еще маленькому, приходилось работать слишком много. Но теперь я понимаю, что оно было к лучшему. Это закалило меня надолго, научило уважать работающих людей, навсегда связало с землей, подготовило для более трудных дел и времен. Я рад тому, что рос среди чегемских крестьян, этих по-своему мудрых и трудолюбивых людей. Они были моими первыми учителями жизни. Еще мальчиком я ездил верхом замечательно. Меня сажали на необъезженную лошадь без седла, и я объезжал ее. Не было случая, чтоб я упал. Меня прозвали «Шкура коня».

Так я рос в горах, окруженный умевшими работать горцами и заботами матери. В 1926 году один из старых коммунистов повел меня, взяв за рукав, в только что открывшуюся школу аула Нижний Чегем. Я впервые увидел книжки. Получил букварь с красивыми картинками и тетрадки. Это было замечательно. Мои тогдашние чувства я старался выразить в «Горской поэме о Ленине». Зимой я учился, а летом занимался крестьянским трудом. Русскому языку нас обучал старый учитель Борис Игнатьевич, пожилой милый человек в чеховском пенсне. Слова благодарности ему читатель найдет в той же «Горской поэме» и в более раннем моем стихотворении «Учитель Борис Игнатьевич». Но тогда я не понимал, каким благом станут для меня его уроки, не знал, что русский язык откроет мне свои несметные сокровища и я приобщусь к великой русской литературе — от Пушкина до Твардовского, от Тол-

стого до Паустовского. Об этом в моей «Горской поэме» сказано:

А годы шли, как ливни по хребтам
Идут и переваливают горы.
И в новых школах открывались нам
Иного мира солнечные створы.

И в первом классе, праздником даря,
Мне дал учитель книгу и тетрадки.
И даже в снах картинки букваря
Рассматривал, листая по порядку.

О книга книг! Утеха из утех!
В душе моей она жива навечно,
Всех книг открытей и красивей всех.
Я ей навек признателен сердечно.

О первый день литого сентября,
Парча чинар и холодок ракиты,
Лет паутинок первых! С букваря
Все книги мира предо мной открыты.

Простор дорог открылся вместе с ним.
По тем путям, как озаренья миги,
Летели в мир из каменных тесни
Мои стихи и собственные книги.

Борис Игнатьевич! От души моей,
Открытой миру Вашей доброй силой,
Я этот стих, как песню соловей,
Оставляю вам над вашею могилой.

Я любил петь с детства, жил в атмосфере народной песни и сказки. Пели чабаны, косари, каменотесы, всадники в пути, девушки, копающие огород. Я был маленьким ашугом, пел своим товарищам и взрослым девушкам, да и на свадьбах тамада, усадив меня рядом с собой, просил петь. И теперь, когда я знаком с образцами мировой поэзии, все равно народная лирика остается для меня дорогой и непо-стижимо прекрасной. Думаю, что она дала мне много. Создателей многих горских песен считаю великими безымянными поэтами. Слагать стихи я начал рано — лет с десяти. А в семнадцать печатался. Об этом сейчас сожалею. Не надо так рано выступать в печати. Это вредно. Учась в нальчикском техникуме, я заполнял толстые тетради стихами. Они казались мне замечательными. Если не печатали, обижался. Наверное, не со мной одним так происходило. А стихи мои, разумеется, в подавляющем большинстве, были слабые, несамостоятельные.

Мне не было и восемнадцать лет, когда я приехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Луначарского (ГИТИС). Быть артистом я не собирался. К тому времени уже окончательно решил стать поэтом — твердо, без сомнений верил в свои способности, в свою звезду. Я тогда несколько не боялся слова «поэт», не понимая трудного и глубочайшего его смысла. Нынешних сомнений у меня тогда не было и не могло быть. Читал я, правда, уже много, русский язык знал прилично. Моими любимыми поэтами в ту пору стали Лермонтов и Есенин. Собственно говоря, и до сих пор остаюсь верным этой любви. Пристрастие к Лермонтову одобряли, за Есенина корили. Теперь у меня, конечно, гораздо больше любимых поэтов. Образцом поэта считаю Пушкина, хотя по-прежнему люблю и Лермонтова.

Думаю, что мое поступление в ГИТИС было удачей. По своим склонностям я мог учиться только в гуманитарном учебном заведении. А другого института с таким широким профилем, где бы изучались все области искусства и культуры, не было. Там, например, я прошел курс истории мировой музыки и живописи. Для меня это было откровением. Нам преподавали лучшие профессора и деятели искусства. Запомнились забота и внимание директора института Анны Никитичны Фурмановой. Я ведь писал и одно время совсем собрался уйти в Литературный институт, который в то время был вечерним. Но Анна Никитична уговорила меня, объяснив, что для моего культурного развития занятия в ГИТИСе гораздо полезнее. И правильно сделала. При этом она разрешила не ходить на те занятия, которые меня не интересовали, такие, как ритмика, танец, сценическое движение, чтобы я мог посещать и Литинститут. Учась в ГИТИСе, я смотрел все лучшие спектакли московских театров, посещал концерты, выставки живописи.

В годы занятий в Москве я перевел на балкарский язык три пьесы — «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Прзделки Скапена» Мольера, «Бронепоезд» Вс. Иванова. Их с успехом ставил наш театр, хотя, мне думается, переводы мои были далеко не совершенны. Недавно я перевел «Отелло». Это, наверное, сделано уже лучше.

Артистом я не стал. Вернувшись в Нальчик, год пре-

подавал литературу в институте. Весной 1940 года вышла моя первая книга стихов «Здравствуй, утро!». Теперь в ней больше всего мне нравится название. От него не отказываюсь и сейчас. От многих же стихов сборника с удовольствием отказался бы, да сделанного не воротить. Рукопись моя лежала в издательстве три года. Ее бурно обсуждали в Союзе писателей республики еще летом 1937 года. При всей слабости, риторичности многих стихов, видимо, были в ней вещи, которые несли какую-то непривычную для балкарской поэзии тех лет новизну. Должно быть, поэтому споры были столь долгими. Помнится, некоторые мои старшие товарищи протестовали как раз против тех сторон моей работы, которые я старался развивать в дальнейшем и стараюсь сейчас. Мне хотелось назвать радостное радостным, горькое горьким, передать свои ощущения эмоционально и образно. И сейчас удастся это мне в какой-то степени с трудом, а тогда лишь в редких случаях мог я добиться художественности в более или менее серьезном ее понимании. Именно эти стихи и не принимались. Были горькие, несправедливые упреки и обвинения. Мои критики ругали меня, к сожалению, не за то, что надо было критиковать беспощадно — за присутствие в моих стихах жалкой риторики. Этого никто вовремя не подсказал мне, пока я сам не добрался ощупью до истины и с горечью понял свои заблуждения. Я слишком много декламировал вместо того, чтобы говорить просто, как положено нормальному человеку. Мне тогда казалось, что чем громче говоришь, тем речь становится эмоциональней, а стихотворец более гражданским поэтом. В этом отношении я не был одинок. В те годы очень многих одолевала риторика и славословие. Это было нашим несчастьем. А над несчастьем стыдно смеяться. Только потом я понял, как просто говорила моя мать.

Несмотря на незрелость стихов, написанных до 1940 года, все же среди них есть вещи, которые дороги мне. В зрелые годы я написал немало стихотворений, продолжающих линию тогдашних моих находок. Я имею в виду «Песенку горной речушки», «Песенку мальчика, едущего на ослике», «Снежок», «Во дворе» и ряд других. Справедливости ради должен отметить, что такие стихи не находились в русле поэзии того времени и я, как автор их, в те годы был почти одинок в балкарской поэзии. Потому-то и нападали на меня некоторые из моих товарищей. Но я рад

тому, что написал эти стихи. Они оправдали мои поиски тех лет и стали как бы истоком всей дальнейшей моей работы, связав ее со всем мне родным в жизни, с фольклором, а также с традициями русской и общеевропейской поэзии.

Каждый литератор имеет свою меру для всего. И пусть останутся на совести моих критиков тех лет все беспочвенные требования. Нас рассудило время.

Как бы хорошо ты ни знал другие языки и достижения литератур других народов, главным являются образцы, созданные на родном языке. Их в нашей молодой балкарской литературе почти не имелось. Можно было опираться только на народную поэзию. Правда, еще жил наш прославленный в горах поэт Кязим Мечиев. Его и сейчас я считаю гениальным человеком и одним из самых крупных поэтов всего Кавказа, равным по таланту Важа Пшавела. Он мог бы помочь мне во многом. Но до 1938 года он почти не печатался, его произведения мне были мало известны. Жил он в далеком ауле. Впервые я увидел его только в предвоенные годы. Когда же я узнал его поэзию ближе, он стал моим учителем на всю жизнь. Я многим обязан ему, его замечательной по образности, сжатости, драматизму и правдивости поэзии, его мудрости и человечности. Он ведь еще задолго до моего рождения писал: «Мир — это такое горькое море, чьи только корабли в нем не тонули!» Все великие и малые поэты писали о молодости, но все равно Кязим Мечиев оставил о ней неповторимые строки, стоящие в одном ряду с лучшими образцами мировой лирики.

Молодость, ты была стрелою лука,
Я выпустил тебя.
За какую гору ты перелетела,
О какую ударилась скалу?

Молодость, ты была похожа
На шею весеннего фазана.
Или ты была той ланью,
Которую подстрелил я сам?

(Перевод подстрочный)

Таким же прекрасным остается для меня и его стихотворение о сером камне, которое Кязим написал в Дамаске в 1910 году — в дни своих скитаний по Арабскому Востоку. Приведу его тоже целиком, потому что я говорю о своих истоках.

Серый камень сорвался со скалы,
С гулом в темную бездну упал.
Ему вечно лежать в этой тьме,
Никогда не вернуться к родной скале.

Боже! Я молю тебя на заре,
Я молю тебя на закате:
Хоть в серый камень меня преврати,
Но верни к родному очагу!..

(Перевод подстрочный)

Наши молодые поэты в предвоенные годы в основном занимались абстрактной декламацией. А Кязим умел конкретно говорить о том, чем он жил, что его окружало, чем жили его соседи-аульчане, его многострадальный народ. Он умел выражать родную природу, суровую и прекрасную, неповторимый облик своей земли. Он писал конкретные стихи о своем кувшине, благословив труд мастеров, о своей собаке, корове, о воробье, писал об одинокой иве у горной речушки, об ослике, на натруженной спине которого открылась рана. Кязим беседовал со старостью и смертью. Писал о своей сакле, у очага которой он много лет слагал стихи. Во всем этом было много человечности и поэзии. Он создал трагические поэмы о бедствиях родного народа и о любви — «Раненый тур», «Бужигит». Мечиев видел и выражал мир как большой поэт, как истинный художник. Он стал учителем для меня и как личность и как поэт наравне с другими крупнейшими разноязычными мастерами нашего времени — такими, как Гарсиа Лорка, Пастернак, Твардовский, Тихонов, Леонидзе, Чиковани.

Из произведений родной поэзии довоенного времени в моей судьбе сыграло положительную роль и стихотворение «Кавказ» единоплеменника со мной поэта карачаевца Исы Каракетова. В этом стихотворении была та художественность, которая отсутствовала во множестве других рифмованных строк. Его до сих пор считаю одним из лучших в нашей поэзии. Оно пластично и написано замечательным живописным языком. Рано погибший на фронте поэт, к сожалению, не успел написать ничего равного своему «Кавказу».

В конце июня 1940 года, приняв экзамен у студентов, всем поставив «отлично» и «хорошо», подарив им по экземпляру первой своей книги, я уехал в Красную Армию. Между прочим, комиссия ни словом не возразила против поставленных мной высоких оценок. Я радовался.

Студенты тоже. Я был молод, здоров и счастлив этим, несмотря на то что, как и многие, чувствовал все нарастающую угрозу войны. Об этом я писал в своем только что выпущенном сборнике.

Тогда мы не могли представить себе размеры предстоящих испытаний и бедствий. Мы в тот вечер никак не думали, что одни из нас погибнут на фронте, а другие через пять лет встретятся так далеко от родных гор... Не вернулись с фронта и многие из моих студентов. Как хорошо, что я ставил им высокие оценки. Они хорошо учились. Я уверен, что они также хорошо сражались на фронте, как учились. Но там оценки ставились без меня.

3

Уверенный в том, что я счастлив, крепок и нигде не пропаду, я ехал на военную службу в Заполярье, где летом ночь совсем не наступала. А я, привыкший к темным южным ночам, чувствовал себя как-то странно. Попал в пехотный полк. Это меня огорчило. Мне хотелось быть кавалеристом. Но через некоторое время изменил свое решение и попросился в парашютную часть.

Меня отправили в город Пушкин (бывшее Царское село). Там я учился прыгать с трамплина и вышки. Затем нас повезли в летние лагеря 201-й парашютно-десантной бригады имени С. М. Кирова. Там ясным августовским днем я впервые совершил прыжок с тяжелого бомбардировщика «ТБ-3». А потом прыгал с разных самолетов, с разной высоты — летом, весной, осенью, зимой — во всякую погоду. Эта трудная и опасная служба мне нравилась. Вместе со мной служили замечательные ребята — сильные, смелые, грамотные, хотя и несколько избалованные своим особым положением. Врачом в части был дагестанский горец Абусаид Исаев. Мы дружили. Абусаид был моим слушателем. Зная кумыкский язык, он прекрасно понимал мои стихи. Возможности писать у меня были. Командование части, в том числе командир бригады генерал Безуглый и комиссар Киреев, относилось ко мне хорошо. Ведь я был единственным членом Союза писателей СССР из всех, кто служил в этой замечательной бригаде за всю ее историю.

О гибели моего товарища — врача Абусаида — я узнал в чебоксарском госпитале из рассказа Николая Тихонова «Дети гор», напечатанного, кажется, в газете «Красная

звезда» за 1942 год. Служба военных парашютистов была не на шутку опасная. Говоря словами Лермонтова — «немногие вернулись с поля!».

К весне 1941 года особенно обострилось тревожное предчувствие войны. В мае нашу бригаду направили в Латвию. Мы оказались в городе Даугавпилсе (Двинск). Там еще острее чувствовалась накаленность атмосферы. Мы тренировались, учились, начали заниматься немецким языком. Лагерь наш находился в лесу у небольшого озера. Помню, 21 июня я лежал на берегу озера и читал трагедию Самуила Галкина «Бар Кохба», напечатанную в журнале. А на следующий день столкнулся с войной лицом к лицу, воочию увидел ее жуткий лик. Фашисты нещадно бомбили город и аэродром. Наши самолеты не поднялись — говорили, что не было горючего. Склады с запасами одежды и продовольствия приказано было жечь. Мне привелось принимать участие в этом невеселом деле. Все вокруг было охвачено огнем. Советские войска отступали из Литвы. Двум группам парашютистов-подрывников приказали готовить взрыв двух чугунных мостов через Западную Двину. По одному из них ходили поезда, по другому — остальной транспорт и пешеходы. Мосты были большие и находились друг от друга не так далеко. Говорили, что буржуазная Латвия строила их пятнадцать лет. Я оказался в той группе, которой предстояло взорвать железнодорожный мост. Мы заложили тысячу килограммов взрывчатки. Приказано было взорвать мост в тот момент, когда головные танки врага вступят на него.

Фашисты бомбили день и ночь. Казалось, что горят камни и вода реки, но мосты стояли. Гитлеровцы берегли их для себя. В таком аду мы ждали более суток. Зеленая страна Латвия с ее маленькими хуторами в перелесках полюбилась мне. И как больно было видеть ее в огне и дыму! А урожай хлебов в то лето был редкостным. Я помню смертельные бои в высокой ржи, мокрой от дождя и крови. Мы ждали у моста появления фашистских танков. Самым тягостным было видеть не только отступавшие войска, но и беженцев-стариков, детей, девушек с опухшими босыми ногами, с растрепанными волосами, видеть их обезумевшие глаза. Это было великое человеческое горе. Такое невозможно забыть.

Наконец показались немецкие танки. Они шли, на ходу обстреливая город. Мы все ждали, выполняя приказ. Го-

ловные танки вступили на мост. И он был взорван мгновенно. К нам подбежал боец-пехотинец, он плакал и кричал: «Что вы наделали! Мой друг на мосту остался!» Этот крик слышится мне до сих пор. И теперь мне видятся клубы дыма, куски металла и одинокий боец, бежавший с винтовкой в руках и вещмешком за спиной. Выполнив приказ, мы шли через горящий город в лес, к своим. Чудом уцелела вся наша группа.

Отступая к старой границе, мы участвовали в беспрерывных жесточайших боях, не прекращавшихся ни днем, ни ночью. Наша бригада была самой боеспособной и отборной кадровой частью. Сражалась она действительно насмерть, с большой отвагой, нападала ночами на штабы гитлеровцев, громила их. Многие наши товарищи погибли в тех боях за Латвию, сильно поредели ряды замечательной бригады отважных парашютистов. Горько было видеть гибель друзей, стыдно было перед населением за наше отступление. Мы ведь совершенно другим представляли себе начало войны. Но все оказалось иначе. Перед войной мы пели слишком радужные, слишком самоуверенные песни. Но авторы их, видимо, плохо представляли себе предстоящую войну...

Умение учиться на пережитом — неценимая вещь. Нам, литераторам, очень полезно помнить это.

В первые дни войны было не до стихов. Но все равно мне как-то удалось еще в Латвии написать два стихотворения. Я послал их в газету. Они были горьки, как и переживаемые дни и события. Нашу бригаду после того, как она прошла с боями Латвию, отправили в Ивановскую область на переформирование. Мы расположились в прекрасном сосновом бору. У меня уже было больше возможности думать и писать. Бригада стала корпусом, который находился в резерве Ставки Главного командования. Мы испытывали новый вид парашютов. Если до этого минимум высоты прыжков составлял тысячу метров, то теперь прыгали с высоты двести пятьдесят — триста. Это обеспечивало кучность посадки. Было очень опасно — земля находилась слишком близко. Если сколько-нибудь задерживалось раскрытие парашюта, грозила гибель.

Первого октября 1941 года нас подняла боевая тревога. Ранним утром весь наш корпус самолетами направили к городу Орлу, который уже успела занять танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. Брянский фронт был

прорван фашистами, и они рвались к Туле и Москве. В сумке моей лежал томик избранных произведений Лермонтова. В самолете я вытащил книгу и смотрел на портрет поэта. Это утешало меня и связывало со всем мне дорогим, с моим родным Кавказом, поддерживало меня. Мы летели. Внизу паслись коровы, овцы. Отступали наши наземные войска. Беженцы уходили на север.

День был очень тяжелым. Когда наши самолеты приблизились к Орлу, нас яростно атаковали немецкие истребители. Наших не было видно. Внизу за городом горели аэродромы. Били вражеские зенитки. Я оказался с группой, которая приземлилась севернее города. Мы собрались и, окопавшись, заняли оборону. Перед нами была поставлена задача — задержать немцев до подхода свежих сил советских войск, не пускать фашистов дальше — к Туле и Москве.

Перед вечером подоспела танковая бригада генерала Катукова. Мы сели на танки и десантом двинулись к Орлу. От пыли невозможно было узнать лица сидевших рядом товарищей. Фашистские истребители низко реяли над нами. Наши истребители не показывались. Многие из наших ребят были ранены и убиты по дороге. Оставшиеся в строю, дойдя до окраин Орла, вступили в бой с немцами, оттеснили фашистов, несмотря на их превосходящие силы. Ночью шел непрерывный бой. Трудно было понять — где свои и где враг. Танки Гудериана рвались на север. Советские парашютисты вместе с танкистами стояли насмерть. Пришло утро. Наши части не отступили ни на шаг. Поле было усеяно трупами и подбитыми танками. Группа наших десантников, приземлившаяся в самом городе, была окружена танками и уничтожена. Еще в Прибалтике попадавших в их руки десантников гитлеровцы сразу расстреливали на месте, называя диверсантами. Об этом мы знали. Тяжелые бои у Орла продолжались несколько дней.

После Орла я лежал в чебоксарском госпитале. Снова писал. Связался с Союзом писателей СССР. С лета сорок второго года уже начали переводиться на русский язык мои военные стихи. Они печатались в газетах «Правда», «Красная звезда», «Литература и искусство», в журналах «Знамя», «Красноармеец», «Огонек», «Дружба народов», часто передавались по радио: делались отдельные мои передачи; мне сообщали из Москвы, и я слушал их в госпитале.

В 1942 году особенно тяжело я переживал наступление гитлеровских орд на Кавказе и оккупацию родной Кабардино-Балкарии. Знать, что на вершине Эльбруса реет флаг со свастикой — было невыносимо. Я писал об этом Фадееву, просил оказать содействие в направлении меня на Кавказский фронт. Он ответил, чтобы пока я не думал об этом и лечился, присылал начальству госпиталя телеграммы, спрашивал о моем здоровье, просил проявлять максимум внимания. Я был признателен А. А. Фадееву, зная, однако, что я, молодой литератор, еще ничего особенного не сделал.

Выписавшись из госпиталя, я работал в запасной стрелковой бригаде заместителем политрука роты, а затем лектором. А ранней осенью слег снова. В начале ноября пришли телеграммы от Политического управления Красной Армии и Фадеева, чтобы меня направили в их распоряжение.

В десятых числах ноября 1942 года я впервые приехал в военную Москву. Сразу же с Казанского вокзала отправился на улицу Воровского. Пошел к Фадееву. Он был ласков со мной. Сказал много приятного о моих стихах. Позаботился о моем устройстве в столице.

Кроме прочего, Александр Александрович сообщил мне, что он уже договорился с А. С. Щербаковым — в то время начальником Политуправления Красной Армии, и я длительное время буду в Москве, что я включен в список писателей, которые должны быть демобилизованы. Приводить сказанное Фадеевым о моих стихах не буду. Я отрицательно отношусь к тому, что нередко писатели в воспоминаниях цитируют лестные для них слова или письма знаменитых людей. Поэтому ничьи высказывания, касающиеся меня, будь то мнение Фадеева, Пастернака или Твардовского, цитировать не стану.

Александр Фадеев тогда казался нам очень ясным, но он фигура сложная в психологическом, морально-этическом и творческом планах. Таких людей нельзя характеризовать вскользь, мимоходом. Именно поэтому, понимая сложность его положения и обстоятельств, в которых он находился, я не имею права в моей краткой автобиографии касаться иных сторон его деятельности и личности, кроме его отношения лично ко мне и к моей работе. С чистой совестью могу сказать, что Фадеев относился ко мне очень внимательно. Об этом достаточно убедительно свидетель-

ствуют его заботы о моей судьбе в годы войны. Через несколько дней после моего приезда в Москву он распорядился, чтобы организовали мой творческий вечер. На нем среди других литераторов присутствовали Фадеев, Пастернак, Асеев, Самед Вургун, Перец Маркиш, Мамед Рагим. Переводы моих стихов читали известные мастера — Вера Звягинцева, Михаил Зенкевич, Мария Петровых, Дмитрий Кедрин. Мне была оказана честь. Это я понимал.

Разговор идет об отношении ко мне, совсем молодому тогда литератору малочисленного народа. И такой разговор не является пустяшным. Он подчеркивает одну из сторон многогранного характера выдающегося советского писателя, руководителя литературных сил страны в течение многих лет...

В дни пребывания в Москве я много раз выступал по радио, на вечерах в разных аудиториях и воинских частях.

Фадеев уговаривал меня демобилизоваться. Он хотел, чтобы я уцелел. В это дело включилась и Елена Дмитриевна Стасова, организовавшая первые переводы моих стихов на европейские языки. Я был благодарен этой умной женщине, которая работала при Ленине секретарем ЦК ВКП(б). Я бродил с ней по заснеженным улицам Москвы и удивлялся ее словам, обращенным ко мне. Она переоценивала меня. Я ведь был очень молод и не имел права считать себя настоящим поэтом, знал, что ничего серьезного мною не сделано. Но эти крупные люди были добры и внимательны ко мне. Не говоря уже о Стасовой, я тогда не понимал, почему так хорошо относится ко мне Фадеев, хотя и чувствовал, что чем-то я дорог и близок ему. Теперь, прочитав его записные книжки, я понял причину его внимания. Он был слишком хорошего мнения обо мне.

Поблагодарив Стасову и Фадеева за заботу, я отказался от демобилизации. Я не мог, не имел права считать себя лучше тех, кто сражался и погибал. Их так же ждали дома матери, как моя в Чегемском ущелье. На этот счет у меня тогда были твердые убеждения. К тому времени я уже видел многое и многое испытал. Быть парашютистом я уже не мог, но вернуться на фронт был способен. Тогда Фадеев принял другое решение. Он договорился, что я поеду на фронт военным корреспондентом. Решили, что я вместе с Константином Симоновым, также принимавшим участие в моей судьбе, отправлюсь на Кавказ-

ский фронт корреспондентом газеты «Красная звезда». Перед этим я поехал на несколько дней в Чебоксары, в госпиталь. Из-за тяжелого положения с транспортом вернуться к сроку не сумел. Симонов один уехал в Тбилиси.

4

Перед 1943 повым годом я уехал на Сталинградский фронт, войска которого уже наступали. В моей полевой сумке лежал пакет от Политуправления Красной Армии и характеристика Союза писателей. Их я вручил в Сталинграде начальнику Политуправления фронта. Меня направили в газету 51-й армии — «Сын отечества». И я уже скакал по зимним степям, догоняя наступающие войска. Редактор газеты С. Жуков и его заместитель, бывший редактор «Харьковского рабочего», З. Гильбух были рады моему приезду. Они знали мои стихи по центральной прессе. Но, честно говоря, мне, бывшему боевому парашютисту, сначала не понравилась работа в газете, она показалась мне скучной и незначительной. У меня не было никакого журналистского опыта. Я стал нарушать дисциплину военных корреспондентов — ходил в атаки, не имея на это права, к назначенному сроку не возвращался с передовой в редакцию. Бывали случаи, когда я забывал, что моя первая обязанность — посылать в газету нужные ей материалы, а не ходить в атаки. Каждому положено свое. Я как-то не думал о подобных вещах. Помню такой случай в Донбассе. Необходимо было взять «языка». Долго не удавалось. И его взяли как раз на том участке фронта, где я находился. Но я ничего об этом не сообщил в редакцию. Вместо этого воевал. Такого уж никак не мог переварить опытный газетчик Гильбух. Он, должно быть, уже не рад был, что к ним приехал такой сумасбродный стихотворец. И был прав. Дело дошло даже до того, что однажды, когда я вернулся с передовой, пробыв там втрое больше положенного, мы с Гильбухом серьезно поссорились и оба схватились за пистолеты. В этот момент зашел редактор Семен Осипович Жуков. Он нас разнял. Ругал своего заместителя, а не меня, хотя я и провинился перед начальством. Удивляюсь до сих пор, почему он никогда меня не корил, не наказывал, имея на это право. Он был умный и хороший человек. Позже

я набрался опыта в новой для меня деятельности и даже заслужил реабилитацию со стороны Гильбуха. Мы с ним снова стали приятелями, и так уже продолжалось до конца. Да и в самом начале он ценил мои корреспонденции. Особенно ему понравился очерк «Руки убийцы».

В «Сыне отечества» я встретился с моим земляком — кабардинским поэтом Алимом Кешоковым. Это было приятно для меня в те тяжелые дни. В той же газете работал Вениамин Цезаревич Гоффеншефер, которого я знал еще до войны как литературного критика. Теперь с ним, как и с Кешоковым, мы были вместе, делились своими радостными или горькими мыслями. Там же я познакомился с замечательным журналистом, умным и хорошим человеком Сергеем Зыковым. Общение с таким образованным и высоко культурным человеком, знатоком литературы, как Гоффеншефер, нам с Кешоковым было очень полезно. Мы полюбили его. Я многим обязан Вениамину Цезаревичу. Он нередко переводил для газеты мои стихи, написанные на родном языке, редактировал те из них, которые я писал по-русски.

С газетой «Сын отечества» я прошел по многим военным дорогам, участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Донбасса, Левобережной Украины, был свидетелем и участником упорнейших боев в районе Мелитополя — там, где шло кровопролитное сражение за Крымский перешийек. На небольшом участке было сосредоточено много войск. Туда мы приехали с Алимом Кешоковым. Дул сильный ветер, суховей. Освободив Мелитополь, советские войска продвигались к Перекопу и Сивашу. Пыль стояла на дорогах. Это было в конце октября. Возвращались беженцы со своим скарбом. Я наблюдал много горького и трагического. Но уже видно было лицо победы. Встречались толпы пленных. В боях за Мелитополь мы видели настоящее господство нашей авиации в воздухе. Советские танки наносили врагу сокрушительные удары. Все неузнаваемо изменилось по сравнению с начальным периодом войны. Через Аскания-Нова я поехал сперва к Перекопу, а оттуда на Сиваш. Перешел его осенней ночью с первыми подразделениями. Бойцы шли по грудь в воде, неся боеприпасы, противотанковые ружья, тянули легкие пушки по воде и топи три с половиной километра. Моста еще не было. Ни танки, ни тяжелые орудия перейти Сиваш не могли. Все же наши войска заняли плацдарм. Это была драматическая

и грандиозная картина. Когда я думаю, что человек способен перенести самые большие трудности, каждый раз мне вспоминается Сиваш и особенно саперы. Какой это был громадный труд! Какие это были люди!

Так продолжалось пять месяцев — до начала апреля, когда развернулось наступление за освобождение Крыма. За эти пять месяцев я часто ездил на передовую — то на Перекоп, то на Сиваш, лазил по Турецкому валу. В 1943—1944 годах я много писал не только корреспонденций, статей, очерков, но и стихов. Мне кажется, независимо от их художественного уровня, в них чувствуется трагическое мужество того времени. Это я считаю основным их тоном. То, что я видел вокруг и переживал, никак не вязалось с бодрячеством. Мне очень нравятся прекрасные слова Мицкевича: «Какая жизнь — такой пусть будет песня». По моему мнению, и поэзия должна была вбирать в себя ту драматическую атмосферу, в ней должно было жить небывалое мужество людей, очень хотевших жить, но сражавшихся и погибавших за свою родину. Тут всякая ложь и фальшь звучали отвратительным кощунством. Немало и таких рифмованных строк появилось в годы войны. Делатели бездарных виршей находятся всегда. Зато были написаны «Василий Теркин» А. Твардовского, ленинградские стихи О. Берггольц, «Киров с нами» Н. Тихонова, лучшие стихи А. Суркова и К. Симонова. Трагическая правда учит углубленному отношению к жизни, стойкости и нравственной чистоте. Примерно такими чувствами жил я, когда писал свои циклы «Перекоп» и «Сиваш», в которых впервые за время войны прорвались в мои вещи эпические мотивы.

В конце марта дождливым днем, получив очередное задание от редакции, я отправился на передовую. Прежде чем перейти через Сиваш, мы заехали на полевую почту. Мне вручили письмо. Я сразу узнал почерк поэта Керима Старова, хотя внизу на конверте значилась фамилия «Османов» и неизвестный мне адрес. Еще не раскрыв письма, я понял, что случилась беда...

Алим Кешоков, Гоффеншефер и другие мои товарищи старались поддерживать меня. Они понимали мое горе. Накануне наступления я с группой корреспондентов снова перешел Сиваш. Мои товарищи остались на большом плацдарме, я перешел через один из рукавов Сиваша на полуостров Тейтюбе, где за дни обороны бывал не раз. На рас-

свете началось наступление. После мощного артиллерийского обстрела позиций противника на врага пошла пехота. Я тоже пошел в бой, перейдя озеро, взял ручной пулемет убитого пулеметчика. Когда гитлеровцы были выбиты из окопов, наши пехотинцы стали гнать их дальше. Я поднялся на холм и бил из пулемета по фашистам. Тогда я мало думал об опасности.

Шли бои в Симферополе. Я прибыл туда ночью одним из первых корреспондентов. На второй день встретился с моими товарищами. В одном из крымских селений наконец я получил письмо от матери и сестер. Они уже были в Северном Казахстане.

Продолжалось наступление на Севастополь. Кешоков и я целый день находились с одной пулеметной ротой. Пули сыпались на землю с низкорослых деревьев, как град. Это было на Макензиевых горах, недалеко от Севастополя. Утром следующего дня я был ранен. Кешоков и Зыков отвезли меня в симферопольский госпиталь. Так я расстался с «Сыном отечества», вышел из строя. Через несколько дней в нашей маленькой офицерской палате неожиданно появился командующий 51-й армией генерал Крейзер. Я удивился. Он мне всегда нравился. Был молод, строен, сдержан. Я лежал в гипсе, не мог встать. Командующий, подойдя к моей койке, сказал, что привез мне орден Отечественной войны II степени, которым я награжден. Я сказал генералу, что мой народ переселенец, моя мать и близкие тоже. И, может быть, я теперь не имею права на орден. Крейзер ответил, что я был представлен к награде за мои личные заслуги. Он добавил: «От имени Президиума Верховного Совета СССР вручаю Вам орден и поздравляю Вас. Желаю скорого выздоровления». Я приподнял голову и ответил: «Служу Советскому Союзу».

В начале весны я был принят в члены Коммунистической партии. Секретарь парткомиссии привез мне в госпиталь партбилет.

5

В Симферопольском госпитале я пролежал месяца два. Потом меня отправили в Кисловодск. Утром рано санитарный поезд остановился в Пятигорске. Я увидел белый Эльбрус! В кисловодском госпитале лежал до конца октября. Из Союза писателей СССР не раз приходили за-

просы о моем здоровье. Тогда председателем Правления был Николай Тихонов. В госпитале я много читал. Достоевский, например, был прочитан целиком. Писал стихи. Родное Чегемское ущелье находилось совсем недалеко. Но там уже не было моей матери. Выписавшись, я поехал в Нальчик. Здесь я встретился с некоторыми старыми товарищами. Они отнеслись ко мне с участием, заботливо. Рана ноги еще не зажила, ходил на перевязку по знакомым улицам, опираясь на палочку. Я часто бывал в гостях у кабардинских крестьян. У них тоже находил сочувствие и заботу, хотя время было трудное во всех отношениях. Поехал в свое Чегемское ущелье. Пробыл там дней семь. На стенах домов читал надписи на балкарском языке: «Смерь фашизму!», «Не пропустим фашистских убийц в родные горы!», «Да здравствует Советская родина!»

К концу декабря из нальчикских госпиталей выписалась группа инвалидов-балкарцев, приехали и из других мест. Собрав всех, я уже хотел ехать в Баку, а оттуда в Среднюю Азию.

Но в конце декабря 1944 года пришла телеграмма от Тихонова. Он предупреждал, чтобы я никуда из Нальчика не выезжал до получения следующей его телеграммы. Через день Николай Семенович сообщил мне, что литфонд выслал деньги и чтобы я немедленно выехал в Москву. Денег я не просил и, честно говоря, хотел поблагодарить Николая Семеновича и отказаться от поездки. Но мне категорически возразили мои товарищи. К Тихонову у горцев было отношение особое. Мои друзья сказали, что раз Николай Семенович считает это нужным, надо ехать. Так и было решено. 31 декабря я выехал в Москву. Снова явился на улицу Воровского, пошел к Тихонову. Он сообщил мне, что в самые высшие инстанции послано ходатайство обо мне.

Примерно через месяц Н. С. Тихонов вызвал меня и сказал, что мне разрешено жить, где хочу (за исключением Москвы и Ленинграда). Попросив Николая Семеновича разрешить мне подумать и прийти к нему на следующий день, я сел в электричку и поехал в подмосковное село Черкизово — к Дмитрию Кедрину. Я рассказал ему все, добавив, что сам твердо решил ехать в Среднюю Азию — к своим. Дмитрий Борисович сразу же сказал: «Правильно!» На том и решили в бревенчатом домике, где я провел много вечеров, дружески беседуя и читая стихи

с этим милым, честным, талантливым человеком. Там же Кедрин написал мне прекрасные стихи, которые теперь знают многие.

В назначенный час я пришел к Тихонову, сказал о своем решении. Он спросил:

— Хорошо ли подумал?

— Да, — ответил я.

— Потом не пожалеешь?

— Нет, что бы ни случилось!

Я снова обратился к Н. С. Тихонову с просьбой помочь получить разрешение перевезти мать, сестер и других ближайших родственников из Северного Казахстана, где они не переносили холода, во Фрунзенскую область, в Киргизию. И это было сделано. В то бедственное для меня время Николай Семенович очень помог мне, этим еще раз доказав верность своей давней любви к Кавказу, к его народам и горам.

Прожив в Москве более трех месяцев, в середине апреля 1945 года я уехал в Среднюю Азию. На Казанском вокзале меня провожали друзья. Среди них был и Кедрин. Я стоял уже на подножках вагона, а Митя говорил:

— Береги себя!

Мы видели друг друга в последний раз. Через несколько месяцев он погиб.

Во Фрунзе я приехал поздно вечером. Утром увидел горы. Они были рядом, как и в Нальчике. Я подумал: хорошо, что хоть не разлучился с горами. Пусть не Кавказские, но горы! Зеленый Фрунзе понравился мне. На улицах было много стройных тополей. У меня в кармане лежало письмо Николая Тихонова председателю Правления Союза писателей Киргизии. В нем Николай Семенович просил, чтобы меня обеспечили работой и жильем. Перед отъездом из Москвы друзья советовали мне обратиться также и к поэту Аалы Токомбаеву. Встреча с ним была мне приятна.

Вскоре я был принят на службу в Союз писателей. Работал. Писал для себя.

Балкарский и киргизский языки, как тюркские, близки. Но в похожих языках нередко одни и те же слова имеют разные значения. Этим и затрудняется полное освоение языка, похожего на твой родной. Сначала я не осмеливался браться за перевод с киргизского на русский. Меня уговорил известный романист Тугельбай Сыдыкбеков. Рослый

и спокойный Тугельбай отнесся ко мне хорошо, поддерживал, выручал. Через полгода я стал выполнять подстрочники стихов и прозы. Мне очень помогал «Киргизско-русский словарь» профессора Юдахина. Спустя два года я уже совсем хорошо знал киргизский язык. С писателями говорил только по-киргизски. Бросил службу. Жил на литературный заработок. Вначале мне много помогал ныне покойный писатель, известный в Киргизии переводчик Узак Абдукаимов. В первый период моей работы он переводил даже вместе со мной, чтобы поддержать меня, хотя от этого он не имел никакой выгоды. Так могут поступать только такие бескорыстные, как Узак, люди. Потому они и паываются хорошими.

Жизнь еще свела меня и сдружила с одним из лучших поэтов Средней Азии нового времени Алыкулом Осмоновым. К несчастью, он умер рано. Его поэзия правилась мне своей самобытной образностью, новизной, верностью жизни родного народа, облику своей земли.

6

Во Фрунзе я переводил много, написал большое число статей и очерков. Я писал эту газетную прозу по-русски и должен сказать, что редакторы местных русских газет относились ко мне хорошо. Я даже имел удостоверение спецкорреспондента газеты «Советская Киргизия». Я был в дружеских отношениях и с большинством русских литераторов, работавших в Киргизии. Среди них были даровитые и милые люди: Сергей Фиксин, Николай Удалов, Якуб Земляк, Елена Орловская, Вениамин Горячих, Борис Орлов. Особенно много помощи в моей фрунзенской жизни и литературной работе оказала Елена Дмитриевна Орловская, человек значительной культуры, журналистка и переводчица, настоящая русская интеллигентка.

Я работал чрезвычайно много. «О чем жалеть?» — сказал Пушкин. Довольно долгое время я работал председателем Русской секции Союза писателей, был консультантом, членом редколлегии русского журнала. Лучшие литераторы Киргизии относились ко мне замечательно, ценили мою работу. Одно время я переводил лермонтовского «Демопа» для себя, чтобы учиться.

Человечность неистребима и непобедима. Человечество одичало бы без милосердия. Как прекрасна поговорка:

«Мир не без добрых людей!» Отсюда идет основной тон моих книг «Раненый камень», «Мир дому твоему!», «Кизилловый отсвет». Поэзия рождается из пережитого, как искра из кремня, из убеждения, тесно связанного с опытом. Люди всегда умели трудиться и сражаться.

В Средней Азии, при всей занятости, я немало писал. Писал не только горькие стихи, но и живописно радостные о благе существования («Говорю с луной», «Говорю с дождем», «Родной язык», «Я пришел с гор» и другие). Писал о стойкости и мужестве. Такими были, в частности, «Охотникам, заблудившимся в ущельях», «Партизаны в ущелье», «Рисунок к заглавию», «Над книгой горских песен», «Ночью, когда шел снег». Этим я поддерживал себя, закалял дух, защищал свое человеческое достоинство. Лучшей вещью того периода считаю «Стихи, написанные в день рождения». В них я как бы выразил весь круг своих переживаний тех лет. Произведения киргизского периода составили вторую книгу двухтомного издания, осуществленного на родном языке в 1958 году. Некоторые критики во мне видят мудрого человека и литератора. Они ошибаются. Единственной моей мудростью было то, что я продолжал упорно учиться писать, несмотря ни на какие барьеры и трудности. Потом я убедился в том, что сделанное никогда не пропадает. Как трудно быть мудрым! Мне это не удавалось. Сожаления о наших заблуждениях всю жизнь сопровождают нас.

Я поехал на Второй съезд писателей СССР. После десяти лет снова увидел Москву.

Для преодоления всех трудностей человеку необходимо прежде всего здоровье. Я это понял, к сожалению, не сразу. Нередко бывает так, что мы самое необходимое начинаем понимать, когда уже поздно. Людям все дается через трудный опыт. Творческая зрелость тоже. Я счастлив тем, что в тяжелых условиях не махнул рукой на жизнь, не разуверился в ней. Мне оставались дорогими снежные вершины и примятая трава у дороги, поэзия Пушкина и музыка Бетховена. Я никогда не забывал о том, что не зря Прометей похитил огонь для людей, а в том, что порой на земле горят дома, Титан не виноват. Как хорошо, что никогда я не проклинал самую жизнь и не считал ее ничемной. Это один из центральных мотивов всего мной написанного. О моем отношении к жизни в трудные для меня времена достаточно веским свидетельством являются те же «Стихи,

написанные в день рождения». Под ними стоит год 1949. Я старался не говорить жалких слов, унижающих достоинство человека.

В Средней Азии я начал поэмы «Огонь» и «Завещание». Закончил их на Кавказе. Они вошли в мою книгу поэм «Зеленые чинары». «Завещание» я отношу к лучшим своим вещам. О поэмах я заговорил, чтобы сказать про «Горскую поэму о Ленине». Я не мог не написать ее. Я не старался идти по пути Маяковского и других поэтов, писавших поэмы о Ленине. Я имел иные задачи. Мне хотелось рассказать о Владимире Ильиче языком моей земли, предельно просто и ясно, рассказать о великом вожде Революции. Может быть, теперь я это сделал бы лучше, но все равно рад, что написал такую поэму.

До сих пор я не касался очень важного вопроса в жизни каждого человека — отношения к женщинам, моих семейных дел. Они у меня долго были сложными. Всякое было. Но все равно я всегда оставался благодарным женщинам, как и жизни. Хотя они порой причиняли мне боль, но чаще дарили радость. Это я в разные годы старался выразить и в стихах. Женщина — одно из непостижимых и загадочных явлений жизни. Я постоянно считаю, что женщина выше меня, она была моей матерью, вскормила человечество. А что касается поэзии, то она и женщина никогда не расстанутся. Женщина не давала остыть очагу мировой лирики, ей мы обязаны шедеврами Пушкина и Петрарки, Тютчева и Лорки, Хафиза и Блока, Есенина и Пастернака.

После всяких драм в моих отношениях с женщинами, ранней весной 1951 года я женился на молодой девушке — горянке из Ингушетии Маке Дахкильговой, только что окончившей Педагогический институт. Отец ее был одним из интереснейших горцев, мужественным и благородным человеком. В первую мировую войну он был офицером русской армии, служил в Дикой дивизии, сражался на разных фронтах. Уже пожилым человеком пошел на фронт в Великую Отечественную войну и погиб на Ленинградском фронте. Читая его письма к жене с фронта, я удивлялся его грамотности и силе духа. Магомет-Султан стал для меня настоящим героем. Он был таким подлинным горцем, каких хорошо знал я с детства. Она, красивая, лучшим образом выражала женскую сторону сущности Кавказа. Я смотрел в ее глаза, и в них вставал передо мною родной Кавказ. Когда я познакомил ее с Борисом

Пастернаком, он сказал о Маке: «Это же кавказская фреска!»

Женитьба вернула меня к более упорядоченной жизни. А это тогда для меня было очень важно. Мы жили в маленьком домике в центре Фрунзе. На нашем крохотном участке стояло большое тутовое дерево. Вокруг него мы сажали кукурузу и подсолнух, чтобы создать видимость кавказского двора. Это было хорошо. Летом я спал под деревом. Там же работал днем, постоянно видя зелень кукурузы и желтизну подсолнуха, как в детстве на огороде матери в Чегеме! У нас родился первый сын (теперь их трое), и жизнь стала у нас более размеренной.

Во Фрунзе обычно я читал много. То, что не мог достать на месте, присылали приятели из Москвы. Так я получил сочинения Бунина — приложение к «Ниве», — добротнo переплетенные в три тома, «Героические жизни» Романа Роллана, монографию Грамбара о Врубеле с прекрасными репродукциями и многие другие. Меня всегда выручали мои товарищи. Поэтому я верю в дружбу людей. Без людей могут жить только волки! Одним из многих писателей, близких мне тогда, был Роман Роллан. Его трагический героизм стал необходимым для меня, как музыка Бетховена и Грига. То же самое могу сказать и о Стефане Цвейге.

Совсем с другой стороны был дорог, как что-то очень родное, Чехов. В те годы я дважды перечитывал его собрание сочинений. Кроме великих русских поэтов, моими постоянными собеседниками стали Мицкевич, Шевченко, Петефи, Лорка, Словацкий, Пшавела. А из композиторов особенно два разных и великих — Бетховен и Шопен.

Музыка и живопись играли и продолжают играть в моей жизни не меньшую роль, чем поэзия. У меня были великие друзья. Они вели меня за руку в трудные дни моей жизни.

Слова я увидел Москву. Поехал на хорошо знакомую улицу Воровского. Там застал Тихонова. Он, конечно, был рад моему возвращению. Я положил на стол перед Николаем Семеновичем большой том моих стихов. Тихонов тут же позвонил в издательство «Советский писатель». Книга моя вышла под названием «Горы». Сам Николай

Семенович перевел ряд стихотворений. В том же 1957 году издательство «Молодая гвардия» выпустило мою книгу «Хлеб и роза». Еще до этого мои стихи были опубликованы Константином Симоновым в журнале «Новый мир» за 1955 год. А в «Дружбе народов» — в 1956 году.

Утром третьего дня моего пребывания в Москве раздался телефонный звонок в номере гостиницы. Я взял трубку.

— Это Кайсын Кулиев?

— Да, — ответил я.

Вдруг совершенно неожиданно для меня:

— С вами говорит Пастернак.

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

— Я узнал, что вы здесь. Приезжайте к нам в Переделкино сегодня. Будете обедать у нас.

Я обрадовался и растерялся. Еще с 1942 года мне было известно мнение Пастернака обо мне. Но, приехав в Москву, как-то постеснялся позвонить ему. А после его звонка поехал в Переделкино. Был солнечный день. Начало июня. Увидев меня, идущего вдоль ограды, Борис Леонидович быстрыми шагами пошел навстречу. Он у калитки пожал мне руку и обнял меня. Был приглашен и Владимир Луговской. Мы обедали. Потом Пастернак читал нам куски из «Автобиографии» и два перевода из Рильке. При всей его любви к этому поэту, он очень мало из него перевел. Луговской читал отрывки из книги «Середина века», которая еще не была издана. У меня в тот день было такое чувство, будто я попал в сказочный лес, где гудели никогда мною не виданные сосны. Сам я, разумеется, отказался читать. В тот день под переделкинскими соснами мы говорили о Гарсиа Лорке и Есенине. Пастернак любил их. Он обычно называл меня кавказским Есениным. Почему — не знаю.

Поэзия Пастернака была мне дорога с тех пор, как я стал взрослым. Я не мог не чувствовать такие строки:

Приходи по ночам
В синеве ледника от Тамары...

Или:

И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

Еще перед войной я был уверен, что подобные вещи в свой ранний период могут создавать только редкие

поэты. Я не мог думать, что Пастернак примет такое участие в моей судьбе. А он писал мне, присылал книги с такими автографами, которые мог делать только он один. В своих письмах он учил меня чести и достоинству. Я постоянно чувствовал на своем плече его руку. Его голос доходил до меня в моей среднеазиатской дали, был опорой и поддержкой. Я хорошо знал и понимал благородные традиции русской интеллигенции поддерживать представителей культуры малочисленных народов. Если я продолжал учиться писать и вынес многие тяготы, то в этом огромная доля стараний Бориса Пастернака, паряду со всеми замечательными людьми, которых мне посылала судьба.

Мне очень повезло. Я пользовался незаслуженно хорошим отношением ко мне самой выдающейся части интеллигенции нашей страны. О некоторых я уже говорил. Не могу не сказать о редкостном доброжелательном отношении ко мне Александра Твардовского. Для меня он — великий русский поэт наших дней. Глубина, с какой его поэзия выражает народную жизнь, и небывалая ее естественность, простота и свобода несравненны. Это мог бы сказать я о Твардовском, если бы даже ничего, кроме «Василия Теркина» и «Дома у дороги», не знал из его вещей. Чем старше я становлюсь, тем больше постигаю могучую силу и мудрую народность его творчества. Не будет открытием, если я скажу, что ни в прозе, ни в стихах ничего равного «Василию Теркину» и «Дому у дороги» об Отечественной войне не написано. Серьезное отношение Твардовского к моей работе стало для меня нечаянной радостью. Это тоже я не мог предвидеть в те годы, когда писал только для себя. Недаром я подчеркивал, что судьба, при всей ее суровости, была милостива ко мне. Теперь я говорю себе, что в тяжелые дни стоило не опускать рук, не отрекаться от жизни и усилий, стоило верить в смысл бытия. Это поучительный урок не только для меня одного. Из поэтов Кавказа нашего времени мне были очень дороги два разных и прекрасных мастера — Георгий Леонидзе и Симон Чиковани. Их дружеское отношение было моей радостью, общение с ними стало благом, а их смерть — большой болью и горем для меня.

Своей дружбой одарили меня еще такие талантливые люди, как Ярослав Смеляков, Ираклий Андроников, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Михаил Дудин, Давид Кугультинов, Михаил Луконин, Алим Кешоков, Константин Ван-

шенкин, Реваз Маргиани, Ираклий и Грыгол Абашидзе.

У меня особая признательность тем поэтам, которые переводили и переводят мои вещи на русский язык, невероятно расширив круг моих читателей. Это Семен Липкин, Вера Звягинцева, Наум Гребнев, Яков Козловский, Олег Чухонцев. Они делают это с любовью ко мне и с уважением к нашему народу, к его культуре.

В начале июля 1956 года я выехал из Москвы на свою родину, которую не видел одиннадцать лет. Поезд подходил к Нальчику. Перед нашими глазами возникли балкарские горы. Я снова встретился с вечной мощью хребтов Кавказа. Говорил пятилетнему Эльдару:

— Смотри, сынок, Балкария в облаках! Вот она, наша родная земля, земля отцов!

А у самого щеки были мокры от слез. На второй день мы поехали в Чегемское ущелье. Молчали скалы. Молчал и я. Мы без слов понимали друг друга. Я без слов благодарил справедливость и разум.

Снова, глядя на родные горы, на вечную белизну их вершин, я думал о том, как хорошо, когда сбываются надежды...

Когда ты родился, как говорится, в рубашке и не знал никаких потрясений и бед, которые пережили миллионы людей, то можно сказать, что самые суровые стороны жизни тебе не известны. А это не так часто бывало с людьми в наш сложный век. Давно и верно сказано: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Людям полезна только правда, будь она житейская, историческая или творческая. И искусство сильно только ею, она всегда остается его стихией, как свет и тень, как радость и боль. Учиться можно только на правде.

Советская власть освободила нас от векового гнета, дала нам чудо из чудес — грамоту, открыла нам, детям малочисленных народов, путь к культуре человечества, это говорит об ее силе и несокрушимости, о мощи ленинских идей. Это так потому, что мы остались верными родной Советской власти, делу Ленина и Партии. Действия отдельных людей мы не путали с идеалами коммунизма и делали свое дело, трудились во имя Советской Родины. Мне кажется, что о трудностях, через которые шла наша страна и советский народ, каждый раз надо говорить, ибо бесконечно ценны победы, взятые в трудностях, они делают честь нашим людям, возвышают их, свидетельствуют о ве-

личии их духа, о стойкости, достоинстве и героизме. Легкомыслие в жизни и украшательство в искусстве никому и никогда не делали чести, не приносили пользы.

Я считаю счастьем для себя, что работал, веря в Советскую Родину, в справедливость и силу идей партии великого Ленина, в светлые идеалы коммунизма.

Кроме того, я полагаю, что мы никогда не должны думать, что идем к коммунизму по дороге, усыпанной цветами. Это было бы для литератора вредной и непростительной ошибкой. Большие цели и дела всегда требуют большой смелости и правдивости.

По возвращении из Средней Азии я был хорошо принят в Москве и в республике. Я был избран депутатом Верховного Совета СССР. За эти же годы вышло в свет много моих книг на родном и русском языках. Но особенно приятно мне русское двухтомное издание моих стихов и поэм, осуществленное издательством «Художественная литература» в 1970 году. Это значительное событие в жизни литератора, пишущего на языке малочисленного народа.

Я объездил почти всю нашу страну. Нет, пожалуй, такой республики, где бы я не был. Ездить мне нравится. Хочу подчеркнуть, что я не только приезжал в разные республики и с радостью видел красоту каждой земли, с благодарностью ел хлеб, пил вино, но и писал о культуре и литературе многих народов. Так было, к примеру, с Грузией, Арменией, Таджикистаном, Казахстаном, Туркменией, не говоря уже о России. Уважение к культуре разных народов, интерес к ним у меня в крови, и я считаю это благом и радостью для себя. Сейчас я работаю над книгой в прозе, где будет рассказано о поэзии и искусстве многих народов страны и мира. Всякую национальную замкнутость и ограниченность считаю неприемлемыми для себя и вообще для художника нашего времени. Я уверен в том, что все ценное в культуре человечества должно быть достоянием всех народов.

Мне также приходилось побывать в странах Азии и Европы. И это было полезно для меня и для моей работы. Я люблю свой дом и мир.

Здесь я пытался рассказать не только о своей жизни, но и высказать мои взгляды на творчество. А впрочем, лучшим определением творческой поэзии и лучшей автобиографией художника являются его произведения.

1966—1971

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 7

1. Свет братства

Масштабом столетий 10

Два голоса 20

Книга 30

2. Свет добра

Свет братства 36

Признание 40

Учитель Пушкина 48

А парус все белеет 53

Народный поэт России 71

Перечитывая Фета 77

Огонек в тумане 87

Уроки Тютчева 92

Великий мастер 105

3. С солнцем в крови

С солнцем в крови 108

Мое слово о Шолохове 111

Любовь и боль Сергея 115

Есенина 115

Годы вдохновения 131

Народный поэт 143

Строитель и жизнелюб 165

Памяти друга	171
Я машу ему зеленой веточкой кизила	180

4. Так растет и дерево

Так растет и дерево	184
Бессмертный голос	198
Наанет Кучак — великий лирик	206

5. Моя Грузия

Моя Грузия	218	
	223	Песнь земной красоте
	230	Подобный молнии
	235	Обнаженное сердце
	237	Песня зеленого дерева
	242	Чуденый кахетинец
	249	Поэзия высокой земли
	254	Лычический певец

6. Глубокие корни

Песни горцев	260
Ашуг	287
Талант и мудрость	290
Я рад, что знал его	299
Талант и мастерство	302
Мы с ним чейдецы	305
Наш побратим	314
Восхождение таланта	323
Лицо поэта	327
Глубина	335
Мудрость и сердечность	341
Степной Прометей	344
Глубокие корни	347
О Зульфийи и ее поэзии	351
Корневые связи	361
Земная песня	364
Живой родник	366
Степная муза	368
Поэт Якутии	370

7. Поэт и культура

За большую, как жизнь, поэзию!	374
Литература — дело всей нашей жизни	377
Поэт и культура	381
У каждого народа — свой голос	389
Традиции и поиски нового	394
Каждый язык — это целый мир	401
Кязим Мечиев	
и восточная поэзия	404
Сказки и горы	415
Поэт как личность	420
Песня	425

8. Дом и мир

Страницы автобиографии	432
------------------------	-----